

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Арзамас

12+

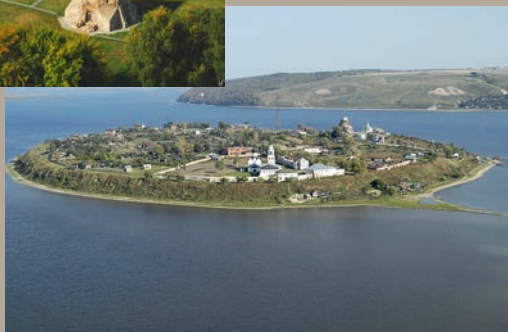
ТАТАРСТАН



№2 (23)



ИЮНЬ
2015





Они сражались за Родину. Фото Николая Туганова

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Аргамак

ТАТАРСТАН

Основан в августе 2009 года

*Главный редактор
Алешков Николай Петрович*

№ 2(23) • ИЮНЬ • 2015

***Живые приходят оплакивать мёртвых.
Берёза кручинится, словно вдова...
Как странно, что после дождей пулёмётных
Не выросла в поле стальная трава.***

Анатолий Богданович, стр. 199

ЭТОТ НОМЕР ЖУРНАЛА «АРГАМАК. ТАТАРСТАН» ПОСВЯЩЁН ВЕЛИКОМУ СОБЫТИЮ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ – 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ. НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ САМИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КОТОРЫХ, К СОЖАЛЕНИЮ, УЖЕ НЕТ С НАМИ, А ТАКЖЕ НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДЫ, ИХ ДЕТЕЙ, ВНУКОВ И ПРАВНУКОВ.



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Василенко Светлана Владимировна – первый секретарь
Правления Союза российских писателей;

Ларионова Татьяна Петровна – исполнительный директор
республиканского фонда «Возрождение» (Татарстан);

Зарипов Айрат Ринатович – руководитель
республиканского агентства по печати
и массовым коммуникациям «Татмедиа»;

Руденко Гульзада Ракиповна – генеральный директор Елабужского
государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника;

Суворов Виктор Семёнович – ректор Набережночелнинского государственного
торгово-технологического института.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

А. Н. Бабаев – председатель попечительского Совета Русской православной церкви
в Набережных Челнах, член Союза российских писателей (Набережные Челны);

Н. Н. Беляев – член Союза российских писателей (Казань);

Н. М. Валеев – доктор филологических наук,
член Союза писателей России (Казань);

Н. А. Вердеревская – кандидат филологических наук,
член Союза российских писателей (Елабуга);

В. Н. Гофман – протоиерей, член Союза писателей России
(Нижний Новгород);

В. А. Ермаков – заслуженный работник культуры РФ,
член Союза писателей России (Орёл);

И. В. Лимонова – член Союза писателей СССР (Москва);

Д. Е. Кан – член Союза писателей России (Новокуйбышевск);

С. Д. Кузнецихин – член Союза российских писателей (Красноярск);

С. Е. Михеенков – член Союза писателей России (Таруса);

Н. В. Переяслов – секретарь Союза писателей России (Москва);

Н. Б. Рачков – член правления Союза писателей России
(Тосно, Ленинградская обл.);

Р. Ш. Сарчин – кандидат филологических наук,
член Союза российских писателей (Казань);

В. П. Хамидуллина – член Союза российских писателей (Набережные Челны);

М. А. Чванов – президент Международного
Аксаковского фонда, член Союза писателей России (Уфа).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-58009 от 08 мая 2014 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Заместители главного редактора – Александр Воронин,
Любовь Сивко

Дизайнер-верстальщик – Виталий Павлов

Художник – Ольга Белова-Недовизий



ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ

ЛИТЕРНЫЙ ЭШЕЛОН

Майским салютом расцвёл небосклон,
Славя весну и Победу...
Литерный в небе идёт эшелон –
Павшие воины едут.

Через разливы бурлящей весны,
Через вселенские кущи
Павшие воины едут с войны
К нашим потомкам грядущим.

Мимо крылечка родного села,
Мимо заводов и пашен
Всех их в один эшелон собрала
Память священная наша.

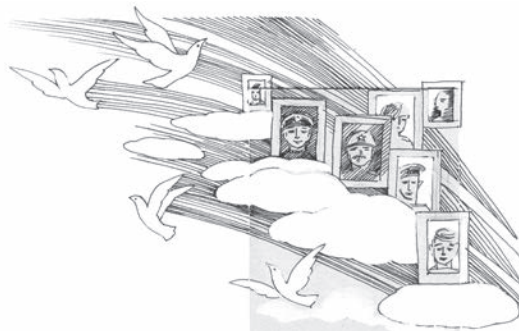
Сполохи мирной рассветной зари
К горним возносятся высям.
В небе весеннем парят сизари,
Как треугольники писем.

Гулом объята небесная даль
Отчей родимой округи.
Солнце надраено, словно медаль
«За боевые заслуги».

Головы воинов снежно белы,
Лица светлы и бесстрашны...
Вот они – русской Победы орлы,
Соколы Родины нашей!

Им колокольный звучит перезвон,
Славя весну и Победу.
Литерный в небе идёт эшелон –
Павшие воины едут.

К однополчанам своим боевым
Через сраженья и беды
Павшие воины в гости к живым
Едут на Праздник Победы!





ПЁТР МУРАТОВ

ПРО ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ

(рассуждения любителя отечественной истории)

Часто, слишком часто, особенно в последнее время, приходится сталкиваться с разнообразными попытками всяческого принижения нашей великой Победы. «Да не было бы никакой победы, если бы...» И дальше — «ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ»: если бы не суровые зимы, если бы не заградотряды, если бы не ленд-лиз, если бы не Второй фронт... и т. д. и т. п.. И как квинтэссенция подобного нигилизма: «ДА ЗАВАЛИЛИ ТРУПАМИ — ВОТ И ВСЯ «ПОБЕДА».

Один мой знакомый недавно издал книгу (не про войну), где помимо прочего описывает свою поездку в Севастополь. Цитирую: «Вот он — прославленный город-герой. Пешком прошли через Малахов курган. Голая, каменистая, жёлтая от известняка и высохшей редкой травы земля. Мне стыдно было слушать, с какой заученной гордостью экскурсовод рассказывала, как матросы в одних тельняшках в полный рост шли здесь на фашистские пулемёты. Сколько народу здесь полегло. Какой же это героизм, это — отчаяние! Всё-таки герои — это те, кто побеждает прежде всего умом. Обидно за наших. Почему за каждого немца платили по десять наших жизней? Чего-то я не понимаю в этой нашей героической победе».

Я решил: пора отвечать и ему, и ему подобным «умникам». Ведь в конце приведённого абзаца — что ни фраза, то неправда, оскорбление светлой памяти наших фронтовиков — и павших, и пока ещё, слава Богу, здравствующих. Согласен, потери были громадны, согласен, цифра наших потерь с течением времени постоянно росла: сперва говорили о тринадцати миллионах погибших, при Брежнев — о двадцати. В новые времена возникла другая, надеюсь, окончательная цифра — двадцать семь миллионов погибших советских людей. Кстати, в корне неверно и такое часто встречающееся клише: «двадцать семь миллионов наших соотечественников отдали свои жизни за победу над фашизмом».

Но приятель-щелкопёр вёл речь о военных потерях.

Я тоже был на экскурсии на Малаховом кургане, но испытал не стыд за наших матросов, а нечто другое. Допустим, «заученная гордость» — это свойство профессии экскурсовода, не будем судить строго. «В одних тельняшках»? Но ведь тогда не было бронеполитов. «В полный рост»? А как ещё наступают? Ползком? На четвереньках? И что немаловажно, вообще-то шли с оружием в руках, чтоб победить! И победили! Да, народу на Малаховом кургане полегло немало — ключевой форпост, от которого во многом зависела вся Крымская кампания.

Но лично я воспринимаю героизм, как явление, всегда неразрывно связанное с готовностью к самопожертвованию, причём вне зависимости от результатов этого самопожертвования. Героями в равной мере можно считать и защитников Брестской крепости и, справедливости ради, даже Рейхстага. Никто не спорит, побеждать, а тем более «умом», почётно. Немцев в отсутствии ума никто никогда не упрекал, но не они победили, значит, следуя логике моего оппонента, героями не являются, ведь *«всё-таки герои это те, кто побеждают»*. Победили мы, но вроде как тоже не герои, поскольку, опять же следуя логике моего оппонента, с «умом» не дружили. И вообще ему *«обидно за наших»*. Так что ж, выходит, нету героев?

Далее. Я вполне допускаю, что героизм в определённой мере не может не быть связанным с отчаянием, по крайней мере, на войне (есть ещё трудовой героизм). Вот только отчаяние — оно тоже бывает разного толка: отчаяние решительных и отчаяние обречённых. На Малахов курган наши матросы, «скинув чёрные бушлаты», наступали с отчаянием решительных, с отчаянием почти победителей, поскольку тогда уже всё шло к тому, что немцам вскоре придётся оставить и Севастополь, и Крым.

А вот, скажем, самая последняя наступательная операция вермахта в районе озера Балатон в марте 1945 года — это отчаяние обречённых, ведь подсознательно большинство немецких солдат уже понимало: всё напрасно, и поражение неминуемо. Но, тем не менее, шли же они вперёд на наши пулемёты в полный рост, в одних шинельках. Сдаётся только, что нынешним немцам хоть горько и обидно за них, но, уверен, никак не стыдно! Ведь те немецкие солдаты до конца исполнили свой долг, наступая и умирая с отчаянием обречённых. А потому, наверное, всё-таки тоже герои. Хоть и оказались побеждёнными и в том последнем для них провалившемся наступлении и, в целом, в войне. Или *«чего-то я не понимаю»*?

Впрочем, всё это — эмоции. И чтоб попытаться более-менее грамотно ответить на вопрос *«почему за каждого немца платили по десять наших жизней?»* (и действительно ли по десять?), надо обратиться к цифрам военных, а не общих потерь. Далеко ходить не буду, обращусь к Википедии (таблицу сократил, оставил только основных участников Второй мировой войны, которая для нас навсегда останется ещё и Великой Отечественной).

Потери стран вовлечённых в войну

Воюющие страны	Население (на 1939 год)	Мобилизовано солдат	Потери солдат (все причины)	Ранено солдат	Пленные солдаты	Потери мирных жителей (все причины)
Югославия	15 400 000	3 741 000	277 000	600 000	345 000	750 000
США	131 028 000	16 112 566	405 399	652 000	140 000	3 000
Австрия	6 652 700	1 570 000	280 000	730 000	950 000	140 000
Великобритания	47 760 000	5 896 000	286 200	280 000	192 000	92 673
СССР	170 557 093	34 476 700	8 860 400	14 685 593	4 559 000	15 760 000
Китай	517 568 000	17 250 521	2 800 000	7 000 000	750 000	7 200 000
Румыния	19 933 800	2 600 000	550 500	860 000	500 000	500 000
Польша	34 775 700	1 000 000	425 000	580 000	990 000	5 600 000
Финляндия	3 700 000	530 000	82 000	180 000	4 500	1 000
Франция	41 300 000	6 000 000	253 000	280 000	2 673 000	412 000
Германия	69 622 500	17 893 200	5 318 000	6 035 000	10 650 000	1 440 000
Венгрия	9 129 000	1 200 000	300 000	450 000	520 000	270 000
Италия	44 394 000	3 100 000	374 000	350 000	620 000	105 000
Япония	71 380 000	9 700 000	1 940 000	3 600 000	4 500 000	690 000
ВСЕЬ МИР	1 891 650 493	127 953 371	24 437 785	37 477 418	28 740 052	46 733 062

В первую очередь бросается в глаза цифра чудовищных потерь мирного советского населения по сравнению с таковыми у немцев. Однако дружно охаянный разноголосым и разноязыким хором критиканов «бесчеловечный» сталинский режим не ставил задачи уничтожения мирного немецкого населения. Потому-то благодарные немцы до сих пор ухаживают за нашими воинскими кладбищами, не трогают памятники и мемориалы (в отличие от некоторых бывших союзников и даже соратников). Да, насильники, иногда немцы насильствовали, население нередко обиралось, массово вывозились немецкие фабрики и заводы. Случались и убийства нашими озлобленными (столько довелось по-видать!) солдатами мирных жителей, особенно в первые дни вступления на немецкую землю (правда, это быстро и жёстко было пресечено). Но! Не было самого главного: не существовало аналога немецкого плана «Ост» по уничтожению населения оккупированных территорий Германии. Хотя несколько не сомневаюсь: вознамерясь Сталин отомстить немцам по принципу «око за око» — и цифра потерь мирного населения Германии взлетела бы в разы. Но, слава Богу, Иосиф Виссарионович — не людоед Гитлер.

С этим же, кстати, тесно связаны и цифры смертности среди военнопленных, которые я как-то узнал из публикации в «АиФ». В немецком плену сгинули две трети наших пленённых солдат, тогда как в нашем плену немецких военнопленных погибла только треть. Поэтому (см. таблицу) несложно прикинуть, сколько жизней немецких пленников было сохранено из-за более человеческого к ним отношения — более 1 700 000 (Советскому Союзу досталась половина всех немецких военнопленных).

Я — офицер запаса, военное дело изучал на кафедре Казанского университета. Хорошо помню из теории стратегии и тактики, что соотношение потерь обороняющейся и наступающей сторон — 1 к 3, при насыщенной обороне — 1 к 4. Активные наступательные действия по всему восточному фронту Германия вела всего около трёх месяцев (в 1942 году наступала только на юге) против двух лет наступлений по всему фронту советских войск. Да, очень трагично, что колоссальные провалы двух первых месяцев войны, когда одними только пленными Красная Армия потеряла почти четыре миллиона солдат, пришлось «отыгрывать» два года. К тому же, по мере продвижения на запад, линия фронта постоянно сужалась и всё более уплотнялась, эшелонировалась, что значительно увеличивало цифры потерь. Хотя, возможно, не стоило стремиться брать города к «датам», штурмовать Кенигсберг и Берлин или сдвигать в угоду союзникам наступление зимой 1945 года — единого мнения на этот счёт не существует до сих пор.

Далее. На восточном фронте, по подсчётам подавляющего большинства историков, Германия понесла убитыми и пропавшими без вести две трети потерь личного состава, то есть более 3 500 000 против 8 860 400 человек наших потерь. Получается где-то 1 к 2,5 — это даже меньше упомянутого выше теоретического соотношения потерь обороняющейся и наступающей сторон — 1 к 3. И уж совсем никак не 1 к 10! Поэтому на вопрос, «почему военные потери СССР в разы выше, чем у Германии», отвечу просто: ввиду на порядок большего по времени ведения наступательных действий нашей армии. То же и по расстояниям: немцы наступали только от наших западных границ до Волги, а советские войска — в обратном направлении до своих западных границ и далее до Эльбы. Километров эдак на тысячу побольше.

К военным потерям Германии на восточном фронте справедливо прибавить потери её главных союзников: Австрии, Венгрии, Румынии и Финляндии, и аналогично учесть тоже только две трети этих потерь. «Довесок» получается более чем приличный — более 800 000 человек. Причём я не учитываю малочисленные формирования немецких союзников из Югославии (хорватских усташей и части босняков), Чехословакии (словацкая армия использовалась на востоке, хотя толку от неё было мало), Испании (голубые дивизии), Италии, Норвегии (квислингисты) и Франции (гитле-

ровские коллаборационисты). Также опускаю потери Японии. Кстати, в августовскую кампанию 1945 года против японцев наши потери составили чуть более 12 000 человек (потери сравнительно малые, поскольку воевали с умом (без кавычек!), которые в контексте изучения соотношения потерь СССР — Германия следует вычесть.

К тому же формулировка графы «Потери солдат (все причины)» учитывает общие военные потери СССР, но не учитывает, сколько из них приходится на воевавших против нас же предателей из числа бойцов РОА, «туркестанских легионов», формирований прибалтов, западных украинцев, фольксдойч и полицаев. Потери среди этой группы союзников Гитлера оцениваются в районе 100 000 человек. И правильнее было бы эту цифру от потерь СССР отнять, а к общим военным потерям Германии и её союзников, напротив, прибавить.

Что, в итоге, вырисовывается? Фактические потери Германии и её союзников на восточном фронте: 3 545 000 человек собственных военных потерь Германии, плюс потери её активных союзников — 800 000, плюс, скажем так, «прихлебателей» — 100 000. Получается около 4 354 000. От цифры потерь СССР отнимаем потери в войне с Японией — 12 000 солдат и 100 000 «прихлебателей», выходит 8 748 000.

И именно соотношение этих двух цифр — 4 354 000 (Германия и её союзники) и 8 748 000 (СССР) следует сравнивать для определения наличия или отсутствия «ума» при ведении войны. Один к двум! Получается, что при условии теоретически допустимого соотношения потерь обороняющейся и наступающей сторон (1 к 3) и учёта количества времени, проведённого воюющими сторонами в наступательных действиях, соотношение потерь Германии и СССР выглядит вполне достойно для СССР. И это с учётом провальных для нас первых двух месяцев войны, которые привели и к огромному количеству военнопленных и к чудовищным потерям мирного населения и территорий. А, начиная с конца 1942 года, наша армия только побеждала, причём побеждала УМОМ! Вот потому мне и не стыдно за Красную Армию, за воинов-победителей. Я горжусь их подвигом!

Повторюсь ещё раз, если бы отношение к военнопленным противника было подобным немецкому и выразилось бы аналогичным процентом смертности в плену (66% против 33%), то цифра в 1 700 000 сохранённых жизней немецких военнопленных вполне могла бы материализоваться в обратную сторону. Тогда чисто теоретически её тоже можно учесть и прикинуть, насколько бы в этом случае увеличились военные потери Германии. Соотношение военных потерь Германия — СССР и вовсе сократилось бы до 1 к 1,4. Но этого не случилось, что позволяет говорить не только о военной, но и о моральной победе СССР над Германией.

Конечно, любые теоретические допущения и подсчёты потерь выглядят несколько искусственно, но, извините, факты — вещь упрямая.

Не спору, попытки подобных исследований и умозаключений — дилетантские, но, согласитесь, не лишены логики. Логика и горячего желания защитить и восславить наших героев-победителей.

Да здравствует великая Победа!

2015 год



ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

ПЯТЬ ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТСТВА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ Татарстан укрепил позиции лидера. Подведены основные итоги президентской «вахты» Рустама Минниханова, выделено пять ключевых событий.

Срок президентских полномочий Рустама Минниханова истёк 25 марта. За день до этого он встретился с Владимиром Путиным. Президент России назначил Минниханова исполняющим обязанности руководителя республики до выборов в сентябре текущего года.

— Результаты, которые республика демонстрирует в последние годы и под вашим руководством, — одни из лучших в Российской Федерации. И поэтому я буду вас просить исполнять обязанности вплоть до выборов в сентябре текущего года. Надеюсь, что вы темпов, набранных в работе, не упустите, а будете, наоборот, их набирать. Задач много в республике, повторяю, до сих пор они решались весьма успешно. Рассчитываю на такую же работу и в будущем, — обратился Владимир Путин к Рустаму Минниханову.



— Большое спасибо, Владимир Владимирович. Я подготовил небольшой отчёт о нашей пятилетней работе. Говорю о «нашей», потому что мы работали под вашим руководством, и я очень благодарен за доверие, которое оказано. И, конечно, я готов и дальше трудиться во благо нашей страны, нашей республики. На самом деле, многое сделано, предстоит сделать ещё больше, — начал доклад о проделанном и планах на будущее Рустам Минниханов.

УНИВЕРСИАДА И КРУПНЕЙШИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Самым ярким событием последних пяти лет для республики стала Универсиада, которую называют лучшей в истории. К мероприятию построены тысячи километров дорог, возведены транспортные развязки. По-новому жители Татарстана взглянули на спорт. Детские секции заполнены, построенные спортивные объекты не простаивают, открываются фитнес-центры, люди хотят ещё больше велоспортов. Можно с уверенностью заявить, что татарстанцы с диванов и подъездов переориентировались на здоровый образ жизни. В этом году нас ждёт чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2018-м — мировое первенство по футболу. Немного грустно, что мы привыкаем к масштабным мероприятиям и относимся к ним, как к рядовым событиям. Вспомните — лет десять назад мы даже не мечтали попасть в историю.

ДЕМОГРАФИЯ

В Татарстане впервые за постсоветское время преодолён демографический кризис. 2014 год вообще стал рекордным, на свет появились 57 263 малыша — на десять тысяч больше, чем в 2009-м. Стали бы семьи заводить детей, если бы у них не было условий — начиная от хорошей медицины и заканчивая квартирами, детскими садами и школами? Вряд ли. В республике за три года отремонтировано 698 фельдшерско-акушерских пунктов, построено более двухсот новых. Для того, чтобы не опустели сёла и деревни, строятся клубы. Как грибы после дождя растут детские сады, в этом году построят ещё семьдесят три, программа капремонта позволит создать дополнительные группы в уже существующих. За два года капитально отремонтировали сто шестьдесят общеобразовательных школ и семь коррекционных. В этом году ещё сто тридцать пять учебных заведений планируется обновить. Десятки тысяч семей переехали в новые квартиры по программам «социальная ипотека» и «доступное жильё молодой семье».

ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОПАРКИ И ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

В Татарстане созданы две особые экономические зоны: «Алабуга» и «Иннополис». Работает технополис «Химград», несколько промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, где в жизнь помогают воплотить самые смелые идеи. Татарстан остаётся лидером среди регионов России по привлечению иностранных инвестиций. За девять месяцев прошлого года инвесторы вложили в республику более четырёхсот миллионов долларов. Для сравнения: четыре года назад вливания недотягивали и до \$100 миллионов. За счёт иностранных денег в республике намерены развивать промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, медицину, образование, науку, внутренний туризм.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Подать заявление в загс, записаться к врачу, встать в очередь в детский сад или получить справку из Регпалаты — для этого не надо сидеть в очередях. Решать бы-

товые вопросы помогает портал госуслуг. Информационными технологиями могут воспользоваться даже бабушки, которые с Интернетом на «вы». Татарстан одним из первых в России начал пользоваться преимуществами «Электронного правительства». Инициатором был Рустам Минниханов — большой поклонник технологий, которые ускоряют и упрощают работу. Мало кто знает, но у «Электронного правительства» есть ещё и внутренний контур. Письма между министерствами и ведомствами, которые раньше неделями застревают в канцеляриях, теперь обрабатываются за считанные минуты. «Был в отъезде, поэтому не видел документы» для чиновника теперь не оправдание — получить их можно по мобильнику, находясь в любой точке мира, и тут же поставить электронную подпись.

ТУРИЗМ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРА

Более 2,5 миллионов человек посетили Казань в 2014 году. Город на пятом месте в России по количеству принимаемых туристов. Впереди Москва, Питер и курорты Краснодарского края и Крыма. Туристов интересует необыкновенное для других уголков страны сочетание двух конфессий, а также исторический центр города, который преобразился за последние годы. Рустам Минниханов лично выходит на пешие прогулки по центру, чтобы увидеть, в каком состоянии находятся старинные здания, и тут же дать указания подчинённым. Зданиям, которые ещё пять лет назад тихо доживали свой век, нашли инвесторов и реконструировали — теперь это памятники архитектуры. Преобразились Свяжск и Болгар, последний внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, такая же работа будет проделана и по острову-граду. В этом году начнётся восстановление парков и скверов. В каком направлении будет идти республика дальше? На этот вопрос даёт ответ «Стратегия-2030». Документ, разработанный экспертами Леонтьевского центра, затрагивает вопросы социально-экономического развития Татарстана на ближайшие пятнадцать лет. Центральной ценностью Стратегии является человек. Формирование и накопление человеческого капитала, создание условий, при которых он востребован, обустройство комфортного пространства — вот три приоритетных направления развития Татарстана. Текст Стратегии вынесен на общественное обсуждение на сайте tatarstan2030.ru.

КОМПЕТЕНТНО

Минтимер Шаймиев, Государственный советник РТ:

— Пять лет назад мы показали всей стране пример цивилизованной передачи власти. После моего ухода Рустам Минниханов, наш президент, крепко взял и несёт наше знамя. Мы все свидетели, как республика ещё больше и лучше созидает. Рустам Минниханов прошёл трудовой путь сына нашего народа и прекрасный жизненный путь. Он показал себя и до этого, и за первый срок президентства. У него есть много перспективных задумок и, главное, есть решимость, чтобы они претворялись в жизнь. Ноша непростая, но мы делаем на вас ставку. Вам — выдержки, терпения, здоровья, удачи! Мы вас поддержим.

*Минтимер Шаймиев — Рустаму Минниханову
на церемонии «Благотворитель года».*

Андрей Большаков, завкафедрой конфликтологии философского факультета КФУ, доктор юридических наук:

— Что касается итогов работы на посту президента, то Рустам Минниханов проявил себя как ярый технократ, и эта линия продолжается. Развитие экономики, инновации, привлечение инвестиций, заключение контрактов — это на первом плане.

Минниханов, на мой взгляд, является целостной натурой, за пять лет он превратился в фигуру, которая решает и вопросы историко-культурного наследия, и миграции, и религии. Он умелый, компетентный руководитель, и даже люди, которые придерживались революционных взглядов, как Олеся Балтусова, например, были приняты на государственную службу и стали союзниками, начали приносить пользу государству и обществу.

Андрей Тузиков, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ), доктор социологических наук:

— Главная тонкость в том, что руководитель региона должен быть не только политиком, но и хозяйственником. Рустам Минниханов пришёл на пост президента сильным хозяйственником и остаётся им. Несмотря на новые экономические реалии, в республике обеспечена стабильность и идёт развитие. Построен завод углепластика и «ТАНЕКО», создаются технопарки, идёт развитие наукоёмких производств, мы слезаем с нефтяной иглы. Инвестиционная привлекательность региона опять же связана с его экономической и политической стабильностью. За этим стоит глобальная работа руководителя, её просто не видно, и кажется, что мы живём так, потому что нам повезло.

Дарья Турцева

НЕРАВНОДУШНЫЕ К ИСТОРИИ

В Казани прошло торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана.

Праздничная церемония в честь первого юбилея прошла в театре им. В. И. Кавалова. В фойе — фотографии, рассказывающие о том, как на протяжении пяти лет менялись две татарстанские святыни — Болгар и Свияжск. Как из руин поднимались древние храмы. Восстанавливали, реставрировали и строили сорок девять объектов.

— Фонд «Возрождение» уникален тем, что смог объединить усилия и скооперировать действия самых разных организаций и людей, создать эффективный механизм, работающий на высоком доверии и при высоких результатах. Благодаря этому за небольшой срок удалось провести беспрецедентную по объёму работу, — отметил временно исполняющий обязанности Президента Татарстана Рустам Минниханов.

Татарстан — регион с особой миссией. Здесь хранят многовековые традиции межнационального и межконфессионального мира. Братские отношения между представителями различных народов на протяжении столетий служили основой стабильности, залогом благополучия и мощным фактором процветания нашего региона. Сила республики — в сохранении её обычаев и культуры при постоянном движении вперёд.

Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ был создан первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Рустам Минниханов поздравил председателя попечительского совета фонда с первым юбилеем и достижением значительных результатов.

— Взявшись за одновременное восстановление памятников исламской и православной культуры, вы, уважаемый Минтимер Шарипович, стали лидером духовного обновления общества. Ваш личный авторитет, опыт руководителя государственного масштаба и безграничная человечность стали основой успеха, — слова, обращённые



Рустамом Миннихановым к Государственному советнику республики, зал подхватил дружными аплодисментами.

Благодаря возрождению исторических памятников, Татарстан становится привлекательным не только в России, но и для зарубежных стран. За эти пять лет поток туристов, посетивших обе татарстанские святыни, резко вырос. В прошлом году в древнем мусульманском городе побывали двести восемьдесят пять тысяч человек. Из них две тысячи — это иностранцы. Остров-град принял более ста восьмидесяти тысяч гостей. Это в три раза больше, чем было в 2010 году. Благодаря развитию туризма, Спасский и Зеленодольский районы республики активно развиваются, открылись новые рабочие места.

Но, пожалуй, главным достижением пятилетней работы фонда стало включение Болгара в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Президент назвал это событие «долгожданной и очень дорогой победой» не только для нашей республики, но и для всей страны. Россия в течение девяти лет не имела здесь номинантов. Это открывает для нас новые перспективы и даёт хорошие возможности по продвижению в список ЮНЕСКО и острова-града Свияжск, уверен Рустам Минниханов. Эта работа уже активно ведётся.

— Фонд «Возрождение» объединил всех, кто неравнодушен к нашей истории и культурному наследию. С первых дней он получил поддержку президента Владимира Владимировича Путина. Сегодня возрождение исторического наследия Татарстана — общегосударственная задача, — заявил лидер республики.

Фонду удалось привлечь федеральные и республиканские средства, деньги целевых программ. Провели берегоукрепительные работы в Свияжске, обеспечили водные подходы к музеям-заповедникам, построили дороги, новые дома, проложили коммуникации. Сегодня свияжцы-новосёлы не нарадуются — в каждом доме теперь водопровод, газ, канализация.

Но особые слова благодарности — благотворителям. Проект по восстановлению памятников республики стал поистине всенародным делом. Помогали все: республи-

канские министерства и ведомства, предприятия, российские и зарубежные инвесторы, банки, бизнесмены и обычные татарстанцы самых разных профессий, национальностей, вероисповеданий и возрастов. Самому старшему благотворителю — сто три года, а самой младшей — нет и пяти.

— Безусловно, мы не останавливаемся на достигнутом. Нам ещё многое предстоит сделать. Необходимо осуществить определённые работы у речных вокзалов. Очень нужно построить гостиницу в Болгаре. Выполнить обустройство входной группы к Свяжску, — перечислил новые задачи фонда Рустам Минниханов.

В планах также создать экспозицию тюркско-татарской письменности под открытым небом в Болгаре и открыть уникальный музей археологии дерева в Свяжске.

— Пришло время духовного возрождения и его обретения. Мы это не на словах, а на деле реализовали, и сегодня об этом можем сказать с определённой гордостью со всех трибун. Хочу выразить огромную благодарность всем за это. Проект по восстановлению памятников в Татарстане стал всенародным. Я не перестаю говорить: когда делается от души и для души, то это всегда находит поддержку! — заявил Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Василя Шириова

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» ТАТАРСТАНА

Первого мая в Болгарском музее-заповеднике открыли новый экскурсионный сезон 2015 года. В этот солнечный праздничный день гостей на древней болгарской земле встречали глашатаи, которые всех приглашали на встречу с историческими персонажами — Петром I и Екатериной II, а также мифологическими «Ханом» и «Ханбикой». Эти царственные особы обратились к прибывшим с приветствием — в лучших традициях русской и болгаро-татарской культур.

Для тех, кто приехал в Болгар, сотрудники музея-заповедника организовали экскурсии по Музею болгарской цивилизации в речном вокзале, Памятного знака в честь принятия ислама волжскими болгарями в 922 году, Дома лекаря и Болгарского городища. На территории заповедника работали интерактивная площадка исторической реконструкции, ярмарка народно-художественных промыслов, ремесленные мастерские. В Доме лекаря гостей угощали целебным травяным чаем из местных сборов.

Одной из первых экскурсионных групп в новом сезоне 2015 года Древний Болгар посетили пензенские дети, которым родители организовали туристическую поездку, — в качестве подарка на выпускной начальных классов. Всем ребятам в нашем музее понравилось, и многие сказали, что хотели бы в дальнейшем побывать здесь ещё.

ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ВСТУПАЕТ В НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ

Сегодня уже трудно представить, что всего пять лет назад ничего этого в Болгаре попросту не было. Тогда Минтимер Шарипович Шаймиев, отказавшись баллотироваться на новый президентский срок, выступил с инициативой по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свяжск. Став Государственным советником РТ, он возглавил попечительский совет фонда «Возрождение». И результаты просто фантастические — Болгар включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, туристический поток за такой короткий срок вырос в три раза и за прошлый год достиг почти трёхсот тысяч человек.

И вот теперь, когда мемориальные памятники болгарской архитектуры в основном восстановлены, настало время заняться уровнем предоставляемых услуг.

Ведь основные туристические потоки до этого пролагали в Казань, а в Болгар, если и приезжали экскурсионные автобусы, то все достопримечательности музея-заповедника туристам приходилось осматривать чуть ли не бегом — буквально за половину дня. Многим, особенно мусульманским паломникам, это представляется недостаточным.

И вот, опять по инициативе фонда «Возрождение», татарстанские нефтяники решили финансировать строительство в Болгаре новых «Белых палат» — современного банного комплекса образца XIV века с большой гостиницей класса люкс.

Накануне открытия экскурсионного сезона, 27 апреля, состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание комплекса, в которой приняли участие временно исполняющий обязанности Президента Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, генеральный директор ОАО «Татнефть» Наиль Маганов и генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, а также представители международных гостиничных сетей Marriott International и Accor Group в России — Иван Кисеев и Алексис Фейя.

К мемориальному камню почётные гости прикрепили тюркские символы, которые, как говорится в пресс-релизе, издавна связывали с началом строительства. Так, Рустам Минниханов водрузил на камень монету, символизирующую процветание, Минтимер Шаймиев прицепил к камню черепаху — символ вечности. Главе «Татнефти» досталась змея — олицетворение защиты, а руководителю «ТАИФа» — изображение рыбы как воплощение устойчивости и стабильности.

— За пять лет древний Болгар приобрёл совершенно другой статус, для российских и зарубежных туристов он становится одним из самых привлекательных мест, за эти годы туристический поток вырос в три раза, — отметил на торжественной закладке камня Рустам Минниханов. — Если остров-град Свияжск находится рядом с Казанью, где у нас, благодаря проведению Универсиады-2013 и подготовке к нынешнему чемпионату мира по водным видам спорта, уже сложилась хорошая гостиничная инфраструктура, то святое для мусульман место — Болгар ничего этого пока не имеет. Строительство гостиничного комплекса сделает древний город более привлекательным и доступным. У меня огромные надежды на наши крупные компании. Почему Татарстан готов сегодня реализовать такие крупные проекты? Потому что имеет свою форму развития, и наши флагманы экономики работают на свой регион, а владеет ими либо республика совместно, либо наши инвесторы. Когда я и Минтимер Шарипович обратились к руководителям «Татнефти» и «ТАИФа», они, конечно же, в один голос подтвердили желание инвестировать в проект серьёзные финансовые ресурсы. Потому что понимают, что вложения не пропадут. При том, что и другим инвесторам не поздно принять участие в реализации проекта, например, облагородить озеро или детские зоны...

Как подчеркнул врио Президента РТ, новый комплекс будет доступен как для VIP-персон, так и для обычных посетителей. Рустам Нургалеевич даже обещал как-нибудь сходить в баню, что называется, в порядке общей очереди — вместе с обычными татарстанцами.

Закладка камня официальными лицами прошла на берегу Волги, на достаточном удалении от охраняемого ЮНЕСКО зоны объекта Всемирного наследия, за пределами исторического вала, служащего границей исторической части древнего городища, с его восточной стороны. Согласно утверждённому проекту, внешне комплекс, рассчитанный на 292 посетителя, напоминает белоснежный дворец в арабском стиле высотой в три-четыре этажа и вмещает сто двадцать один стандартный номер, семнадцать улучшенных, шесть VIP-люксов и одни апартаменты. В комплекс входят также

ресторан на триста посадочных мест, бассейн, бильярдный зал, SPA-зона с тренажёрным залом. Фасад отделают каркалиным камнем. За основным гостиничным корпусом разместится банный комплекс, а также автостоянка на двести двадцать машин. Площадь застройки — 5,8 тысяч квадратных метров, при этом общая площадь комплекса превышает пятнадцать гектаров. Здесь планируют проложить по кругу двухкилометровую велосипедную дорожку, разместить прогулочную зону — с детским городком, спортивными площадками и беседками.

На территории гостиничного комплекса планируется также проводить различные официальные и торжественные мероприятия. Для этих целей будет предусмотрен и конференц-зал, в котором можно будет проводить крупные международные форумы.

Как подчеркнул в своём выступлении на церемонии закладки памятного камня Председатель Попечительского совета фонда «Возрождение», Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, в средневековом Болгаре было до двадцати бань.

— Они в мусульманском мире особо почитаемы, потому что воплощают в себе чистоту тела и духовность человека, — отметил Минтимер Шарипович. — Бани на Востоке с давних времён почитались как средство достижения чистоты и опрятности, которые как добродетели были освящены обычаями и религией. Поэтому за основу строящегося комплекса был взят проект древних «Белых палат», руины которых сохранились в историческом городище. Образец болгарских зданий XIV века, построенных по типу восточных бань, свидетельствует о хорошо развитой строительной технике наших предков и высоком уровне благоустройства города. И на новом витке исторического развития мы возрождаем эти культурные традиции.

Новый комплекс будет работать под международным брендом. И в этом направлении поиски партнёров уже ведутся. Так, на следующий после закладки камня день, уже в Казанском Кремле, Минтимер Шаймиев принял представителей международных гостиничных сетей Marriott International и Accor Group. Встречи проводились с целью определения системы управления гостиничным комплексом в Болгаре. В ходе встречи директор по развитию Marriott в России и СНГ Иван Кисеев и управляющий партнёр «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов ознакомили участников встречи с деятельностью своих компаний в России. Побывав в Болгаре и осмотрев место строительства, отельеры ближе ознакомились с проектом комплекса и озвучили свои предложения по организации его управления.

Позже Минтимер Шаймиев встретился с заместителем директора по развитию Хотелсервис в России, Грузии и СНГ Accor Group Алексисом Фейей, который поделился впечатлениями от посещения древнего города Булгар и рассказал об опыте работы сети Accor Group в Татарстане. В консультативных встречах принимали участие также заместитель Председателя Госсовета Татарстана, исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, председатель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов, генеральный директор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в своём выступлении отметил, что старт масштабного проекта начинается в сложное для нашей страны экономическое время, несмотря на это, по мнению председателя Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», строительство гостиницы займёт не больше двух лет.

— Я надеюсь, совсем скоро все мы будем принимать участие в церемонии открытия этого комплекса. В древний город Булгар, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, съезжаются мусульмане всей планеты. И за один день посмотреть все памятники и ознакомиться с историей священного места практически невозмож-

но. Поэтому создание данного гостиничного комплекса продиктовано временем. Он даст возможность туристам приезжать сюда на более длительный срок, развивать событийный туризм, проводить корпоративные мероприятия, организовать семейный отдых. Кроме того, будут созданы новые рабочие места для жителей Спасского муниципального района.

ВОЛЖСКИЕ ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Каждая тысяча туристов создаёт тринадцать рабочих мест, вот почему республика нацелена на рост к 2020 года въездного туризма с двух до четырёх миллионов человек. Об этом заявил председатель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов в ходе интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online».

— За этот год мы стали развивать на территории Татарстана туристические инвестиционные площадки. Так, сформировали заявку на включение острова-града Свияжск в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма, — сообщил Сергей Евгеньевич. — Заявка прошла все стадии конкурсного отбора, и в этом году мы ждём распоряжения федерального агентства по туризму о распределении финансирования. Планируем получить девяносто семь миллионов рублей на дноуглубительные работы около Свияжска, чтобы к причалу острова-града могли подходить большие теплоходы.

Четыре проекта туристско-рекреационных кластеров в акватории Волги и Камы — Камско-Устьинском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском и Спасском районах — суммарно оцениваются в 1,7 миллиарда рублей. Реализация их предполагается на основе государственно-частного партнёрства, на основе механизма федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма, где до 30 процентов стоимости проекта финансируется из федерального бюджета на инфраструктуру — газ, дороги, вода, энергоснабжение. Каждый из кластеров состоит из нескольких объектов, связанных между собой. К примеру, Камско-Устьинский будет ориентирован на рыбаков. В него войдут рыбацкая деревня, туристическая агроферма для снабжения продуктами, центр проката технических средств летнего и зимнего варианта, а также марина для подхода яхт и катеров. Верхнеуслонский кластер планируется примерно в таком же формате, но более высокого уровня. Он рассчитан на казанцев и гостей столицы Татарстана, которые хотят один-два дня провести на яхтах, и помимо гостиницы с рестораном включает в себя смотровые площадки на Волгу, откуда открываются потрясающие виды.

Рыбно-Слободской кластер основан на парусной школе и предназначен для детского тематического туризма, корпоративного заказчика, проведения различных семинаров и тренингов. Там также будет агроферма и отдельные дома для проживания родителей, дети которых проживают в комплексе.

Наконец, рекреационный кластер в Спасском районе ориентирован на обслуживание туристического потока, который направляется в древний город Болгар. С постройкой крупного гостиничного комплекса туристы смогут приезжать сюда не только летом, но и в другие сезоны. А поскольку к новому комплексу близко подходит лес, там можно развивать и экологический туризм — пешие прогулки, а также лыжные и велосипедные.

Госкомитет РТ по туризму также обращает внимание, что в последнее время массовый характер начинает приобретать автомобильный туризм по российским регионам. Специалисты отмечают, что наиболее комфортный радиус автотуризма не превышает тысячи километров. Учитывая это, госкомитет совместно с туристско-

информационным центром Казани и лигой караванеров России создали в прошлом году автопутеводитель по Татарстану. И теперь нам особо приятно отметить, что этот путеводитель занял первое место в финале всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший автомобильный маршрут».

Практически мы предоставляем гостям Татарстана пособие, как интересно провести пять-шесть дней у нас в республике, путешествуя на автомобиле. В нём указаны GPS-координаты всех достопримечательностей, полезные контакты, адреса сайтов, примерная ценовая политика, заказ экскурсовода, адреса автосервисов и заправок. Этот путеводитель имеется в печатном виде и в электронном, а скоро его выложат на туристическом портале Татарстана.

Господдержка инициатив со стороны представителей туристической индустрии уже приносит результаты. Так, в августе 2014 года была реализована идея проведения фестиваля исторической реконструкции «Великий Болгар». На него съехались около двухсот реконструкторов из тридцати регионов России, Казахстана и Франции. Костюмы и амуниция, обустройство стана и быт воинов — всё соответствовало периоду XIII — XV веков. Бои на копьях и мечах с участием исторических клубов привлекли большое внимание — за два дня фестиваль посетили более четырнадцать тысяч человек! В итоге, фестиваль завоевал первое место в номинации «Лучший проект исторической направленности в 2014 году» на национальной туристской премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2014. И в этом году, как обещают организаторы, на него могут съехаться ещё больше участников и зрителей.

По мнению генерального директора Казанского туристско-информационного центра Натальи Абрамович, включённому в Список всемирного наследия ЮНЕСКО древнему городу Болгар гостиничный комплекс необходим для большего развития, потому что отсутствие средств размещения тормозит увеличение туристического потока.



— Болгар вышел за рамки маршрута одного дня, туристам можно оставаться здесь и на два дня, и больше. Прекрасные волжские дали и сама природа способствуют созданию в окрестностях охраняемой зоны пеших туристических маршрутов. Это сделает поездку не только культурно-познавательной, но обеспечит отдых на природе и свежем воздухе.

Когда построят функциональный гостинично-развлекательный комплекс, можно будет предлагать туристам из других регионов более интересные и длительные маршруты.

— С каждым годом число паломников в Болгаре увеличивается на несколько тысяч, — сказал «Реальному времени» президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Ренат Залютдинов. — Кроме того, событийный туризм приходит в регион. И сегодня существует большая потребность в строительстве подобного комплекса. Несомненно, туристические агентства отмечают увеличение запросов на посещение Булгара — и не только с однодневной поездкой, а возможностью пробыть там дольше. Паломникам нужно успеть посмотреть и исторические памятники, и саму священную местность, и удовлетворить духовную потребность в полной мере. А туристам нужно предложить варианты активного и культурного отдыха, посещение традиционных восточных бань.

Потенциал Болгар как туристического бренда с каждым годом будет возрастать. И возведение нового туристического комплекса станет новым этапом на этом пути.

*Ирина Сергеева, по материалам
республиканских интернет-изданий.*



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ВЕНЕДИКТ СТАНЦЕВ



АПРЕЛЬСКАЯ БАЛЛАДА

* * *

Труднее всего писать о самых близких людях. Станцев Венедикт Тимофеевич был для меня именно таким...

Мы познакомились в апреле 1981 года. Именно Станцев первым разглядел тогда во мне, молодом старлее, поэтическое дарование, протянул руку помощи и поддержки. Не секрет, что в советское время (как и в досоветское и постсоветское) всегда кто-то из старших (на этом и строится преемственность литературы) опекает, курирует, берёт своеобразное шефство над начинающим литератором. В армии это идёт от лермонтовского «дядьки». Таким «дядькой» в восьмидесятые стал для меня Венедикт Тимофеевич. Его опека выражалась не только во внимательном прочтении моих тогдашних опусов, но и в рекомендации на областное совещание молодых писателей 1982 года, где я оказался в его семинаре. Семинар рекомендовал мои стихи для публикации. Венедикт Тимофеевич писал к ним добрые напутственные слова, в которых была и такая существенная фраза: «На смену нам – фронтовым поэтам – приходят поэты современной армии».

А потом меня перевели служить в Пермь. Туда, как д'Артаньян к де Тревилю, я поехал с письмом Венедикта Тимофеевича к его другу, фронтовику Николаю Фёдоровичу Домовитову. С доброй подачи Станцева Николай Фёдорович стал в 1991 году одним из тех, кто рекомендовал меня для приёма в члены Союза писателей СССР.

Несмотря на расстояние (а после Перми я служил в Челябинске), отношения со Станцевым не прервались, мы переписывались. Когда в 1995-м я вернулся в Екатеринбург, вместе с Венедиктом Тимофеевичем мы были членами правления областной писательской организации. Именно благодаря ему и другим нашим фронтовикам и созрела идея создания Ассоциации писателей Урала, объединяющей расколовшиеся в 1991 году союзы писателей. Венедикт Тимофеевич горячо поддерживал идею Ассоциации, активно участвовал в проводимых нами мероприятиях, в том числе во всеуральском совещании молодых писателей в Тагиле в 2001 году. Было много творческих встреч, выступлений перед воинами и студентами, школьниками и ветеранами. Он великолепно читал свои стихи, в совершенстве владел аудиторией. Не могу обойтись без метафоры – был в таких поездках, выступлениях, как безоткатная десантная пушка: точно и без промаха попадал в цель, умел достучаться и до детей, и до стариков. Про женскую аудиторию вообще не говорю... Женщины всегда были от него без ума. Недаром же все поэты Урала наизусть знают станцевское: «Когда поэт перестаёт влюбляться, Он и поэтом быть перестаёт». Да и сегодня, когда мне приходится читать стихи моего учителя, я каждый

раз убеждаюсь: вышибают они слезу и у прошедшего пекло войны солдата, и у юной красавицы... Это и есть тот самый «катарсис», о котором так любят говорить эстеты.

В жизни же Станцев был человеком наискромнейшим. Никогда не посылал свои стихи в Москву. Хотя он был членом Союза писателей с 1964 года и на Урале считался поэтом известным, первая публикация его в журнале «Наш современник» появилась только в 2007 году и то с моей подачи. Кстати, главный редактор журнала, известный поэт и публицист Станислав Куняев очень высоко оценил стихи Венедикта Тимофеевича, его знаменитое:

*Под Москвой, в ноябре,
Миномётным накрытый,
Я лежал на стерне
Не живой, не убитый...*

Самая трудная часть этих воспоминаний — последние годы жизни Деда. Тяжёлая болезнь приковала к постели, лишила подвижности, круга общения... Но именно это время стало для наших отношений (это, конечно, моё видение) самым открытым, сокровенным и дорогим: как шелуха отлетело всё наносное... Несколько раз Венедикт Тимофеевич просил меня записать (руки его уже не слушались, а подаренным нами с тюменским писателем Сашей Кравцовым диктофоном он так и не научился пользоваться) новые стихи. Представляю, как трудно ему было сохранять, повторяя раз за разом, эти строчки. Наверное, отсутствие возможности писать тоже приблизило его уход...

Ушёл из жизни верный солдат русской поэзии Венедикт Тимофеевич Станцев мужественно и достойно. Это случилось в 2009 году. Нам, его ученикам, друзьям и однополчанам по поэтическому строю, нести дальше знамя, выпавшее из его рук.

Александр Кердан

1

Мы шли по колено в воде,
с трудом поднимая ноги,
мы — это всё,
что осталось от роты.
Лейтенант Костромин
сатанински ругался в бога
и в гроб, и в войну,
и в треклятое это болото.
Он шагал впереди,
переполненный злобой
и мстью, и ругань его
громыхала средь сосен.
Ещё до рассвета
нас было без малого двести,
а после рассвета
осталось всего сорок восемь.
Вернее, не шли мы — плелись,

окружённые талой водою,
студёной водой,
погибая от жажды.
Хотя бы глоток,
один бы глоток после боя,
но каждый терпел
и судьбу проклинал свою каждый.
В этом диком болоте
бой свирепствовал двое суток,
тысячи тел
вода едва прикрывала...
Наконец-то земля!
Мы упали, теряя рассудок,—
и сердце пропало,
и белого света не стало.
Я свалился под старую ель...

Шёл сорок второй,
Был месяц апрель...

2

Речка — узкая-узкая.
 Хрупкие льдины
 плывут, похрустывая.
 Речка чистая-чистая —
 без кровиночки,
 по берегам —
 пушистые хворостиночки:
 Пьёт из речки сама весна:
 «Ах, как вода вкусна...»
 Зовёт, зовёт нас синь-река:
 «У меня вода голуба, сладка,
 вы устали в последнем бою,
 я вас умою и напою...»
 Ах, ты речка, речка —
 доброе сердечко,
 мы бы душою
 к тебе прильнули,
 мы бы губами
 к тебе прильнули,
 да не пускают
 немецкие пули.
 Речка узкая-узкая,
 наша речка — русская.
 Ах ты речка, речка,
 трава-повитель...

Шёл сорок второй,
 Был месяц апрель...

3

Лейтенант Костромин
 командует:
 «Вперёд!»
 Лейтенант командует,
 а цепь не встаёт.
 До речки шагов
 не более ста,
 но стрельба из-за речки
 очень густа,
 и речная вода
 холоднее льда,
 и патронов — в обрез,
 и сил — в обрез,
 и жить хочется позарез.
 Лейтенант Костромин
 снова кричит:
 «Вперёд!»

Лейтенант кричит,
 а цепь не встаёт.
 Лейтенант в упор
 на меня глядит:
 «Ты комсорг,
 вставай и веди!...»
 Я не зову никого,
 не веду,
 я просто встаю
 и к речке иду,
 думаю грустно:
 «Ну что, боец,
 вот и тебе —
 геройский конец...»
 А пули звенят,
 а пули грозят,
 а пули приказывают:
 «На-з-з-з-з-ад!»
 А я уже в речку
 по пояс вхожу,
 винтовку, подсумки
 повыше держу.
 Вода уже льётся
 за воротник,
 всё тело моё,
 как безумный крик,
 я будто глотаю
 лёд из огня,
 будто вбивают
 гвозди в меня.
 Еле вползаю
 на берег крутой,
 затвор у винтовки
 тугой-претугой.
 И слева — палят,
 и справа — палят...
 Да сколько же силы
 у наших ребят?!
 Речка давно
 где-то там, за спиной,
 опять в меня входят
 жажда и зной...
 Боже, забыл я
 из речки напиток...
 Лейтенант Костромин
 кричит:
 «Закрепиться!»
 Я лежу под берёзой
 без воды и без хлеба,

пар от меня
тихо уходит в небо...
А где-то трезвонит,
трезвонит капель...

Шёл сорок второй,
Был месяц апрель...

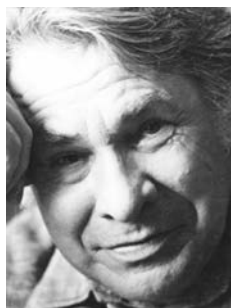
4

Без штыка на фронте –
не прожить,
он может всё –
напарник верный:
колоть и бить,
вскрывать консервы
и перемерзлый хлеб крошить.
Прости, берёза!
Штык вонзился в ствол,

Из раны сок холодный
брызнул,
и был тот сок –
посланцем жизни,
и был тот сок,
как хлеб на стол.
Мне берёза
матерью была,
а я её –
грудным младенцем.
Я пил,
и крепло моё сердце,
и сила юная росла.
Вот так, в канун вишнёвого цветенья,
я отмечал свой день рожденья.
Ах, двадцать, ах, двадцать,
годок золотой...

Был месяц апрель,
Шёл сорок второй...





От редакции. 15 января 2015 года исполнилось 90 лет со дня рождения замечательного русского писателя Евгения Ивановича Носова, лауреата Государственной премии РСФСР, премии Александра Солженицына, Героя Социалистического Труда, участника войны, кавалера многих орденов и медалей, академика Российской словесности, ушедшего от нас в 2002 году.

Евгения Дмитриевна Спасская и сын писателя Евгений Евгеньевич прислали к нам в редакцию этот рассказ. Лучшего подарка в год великой Победы для всех читателей «Аргамака» и быть не может. В русскую классику давно вошли и «Увятские шлемоносцы», и «Красное вино победы», и «Шопен, соната номер два». В этот же ряд можно поставить и «Памятную медаль». Военная проза Евгения Ивановича Носова, солдата-фронтовика, писателя-мастера, умеющего владеть всеми богатствами русского языка, должна остаться в сердцах и в памяти потомков.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ

В канун дня Победы Пётр Иванович Костюков — по-расхожему Петрован — получил из района повестку с предписанием явиться тогда-то к таким-то ноль-ноль по поводу воинской награды.

— Это которая-то будет? — повертел бумажку Петрован. — Сёмая не то восьмая? Уж и со счёту сбился... — нечаянно приврал он.

— А тебе чего? Знай вешай да блести! — разумно рассудила почтарка Пашута, одной ногой подпиравшая велосипед у калитки.

«Когда и успела этак-то загореть, обветриться: лицо узкое, тёмное, новгородского письма, подкрашенные губы — те и то светлее самого лика. Свежая ещё, а ведь ей, поди, уже под семьдесят», — просто так подумалось Петровану.

— Не себе, так внукам-правнукам потеха. Да и сам когда тряхнёшь при случае, — как бы уговаривая, весело прибавила Пашута, как привыкла, объезжая околоток, помимо почтового дела — старого утешить, малому нос утереть. — Пляши, давай!

— Этак никаких грудей не хватит, — мучился смущением Петрован. — Аж пиджак на перекокс пошёл: пуговицы с петлями не стали сходиться. — Хватит бы... Я ведь только одну неделю и побыл под Старой Руссой. А они всё вручают и вручают... Вон Герасим, тот до самого Берлина дошёл, на ристаге расписался — на него и вешали б...

— Вешать-то не на кого: плохой стал Герасим. Его теперь всякая граммуля долу тянет. — Пашута поправила алый шарфик, продёрнутый серебряной нитью, забрала

его за ворот куртки. — Давеча была я у него: сам не вышел, внучка выбежала, за повестку расписалась. Говорит: лежит дедушка, не встаёт.

— Ну да, ну да... — запнулся Петрован. — Стало быть, Герасима тоже согнуло... Дак ить он аж два раза навьлет прострелянный. В грудях и доси свистит. А ежли закурит, дак курево вроде из-под рубахи выходит. Весь дырявый. Бывало, засмеётся: через меня оса наскрость пролазит...

— Небось, шуткует, — усмехнулась Пашута.. — Дак и у тебя звон какой рубец — во весь лоб. Как и живой только... И на руке пальцев нету, даже кукиш не сложишь.

— Э-э, девка! — отмахнулся Петрован. — Кабы б я руку в самом логове повредил, это б совсем иная разность. А то вроде как у тёщи на огороде. В том-то и досада.

— Ну, да теперь какая разница? Кровушка-то всё равно полита?

— Тебе, может, и без разницы, а мне и доси обидно...

— Ну, в общем, Пётр Иваныч, поздравляю с наградой!.. — Пашута, собираясь ехать, оттолкнулась от штакетника — Давай, готовь пиво, скликай гостей.

— Ты, может, зайдёшь? — намекнул Петрован, придержав Пашуту за небесную болоньевую куртейку, озарявшую вокруг себя голубым и весенним. — Ты ить первая весть принесла. С тобой и чокнемся!

— Не, парень, — Пашута мотнула вольными, без косынки, кудрями. — Мне сичас нельзя: за рулём я. Ещё ж в Осинки педали крутить.

— А там к кому?

— К Пожневу. Василь Михалычу.

— А Макарёнок живой?

— Это который?

— Ты чё, Макарёнка не знаешь? Он ить тоже из наших, из ветеранских...

— Да кто ж такой — не упомяну?..

— Изба за протокой. Всегда под его окнами гармошка пиликала, народ толокся.

— А! Макарь! Макарь Степаныч! — вспомнила Пашута. — Шавров его фамилия. У меня по спискам — Шавров.

— Ну, тебе — Шавров, а мне — Макарёнок: в одну школу бегали.

— Этого давно нет, дом крест-накрест заколочен. Года два, как нету...

— Уехал куда? У него, кажись, сын в Набережных Челнах.

— Из больницы не вернулся. Стали старый осколок доставать, будто бы мешал, что-то там передавливал, а мужик и не сдюжил... Не пришёл в сознание.

— Дак а Ивашка Хромов?

— Тому медали больше не дают.

— Это почему? — насторожился Петрован.

— А он по электричкам подался. На культе рукав задерёт и — «Подайте минёру Вовке!..»

— Он же Иван, а не Вовка?

— Дак это — участник Великой Отечественной войны, а сокращённо — ВОВ. Ну, а он себя — Вовка. За то и не дают ему медалей. Боятся, что пропьёт. Он же все свои прежние пустил на похмелку.

— Ну и посадили б, раз так.

— Дак вроде не за что: не украл...

— Лучше б украл: всё ж варево на кажный день. И в баню сводили б... А так позор заживо съест.

— Это правда. Видела его на станции: опух, зверем зарос, босый ходит, ногтями по настилу стучит. От меня отвернулся, будто не знает такую.

— Стало быть, в Осинках теперь — ни души?...



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ



ФОТОВЕРНИСАЖ НИКОЛАЯ ТУГАНОВА



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ



ФОТОВЕРНИСАЖ НИКОЛАЯ ТУГАНОВА



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ



ФОТОВЕРНИСАЖ НИКОЛАЯ ТУГАНОВА



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ



— Один Пожнев и остался. Да и тот всё ногу на подушке держит, лопухами обкладывает. Ему б на грязи, да грязи нынче кусаются... Такие дела... таковские... Тот раз, к писятлетию, шестерым повестки возила, а нынче — только одну.

— А в Клещёве — как?

— Туда уже не шлют... — Пашута перекрестила шарфик.

— Да-а, — обречённо заозирался по сторонам Петрован. — Лихо косит нашего брата. Уже к последним рядкам укос подобрался: к двадцать пятому да двадцать шестому году. То спереди меня, то позади вжикнет... А иные раньше моего под стожары убрались.

— А чево хотел? Народ вовсе брошенный. Особенно в деревнях. Я езжу, дак вижу: ни ёду, ни марлички. Здравпункты травой поросли, обрезают туда провода, режут за неуплату телефоны... Что случись — не докричишься... Ну, поехала я, а то не туда мы заговорили. Надо б радоваться: за медалью зовут, а мы... Держись, Пётр Иваныч, не поддавайся лиху... Да собирай гостей... — и Пашута белым курносым кедом порывисто надавила на взведённую педаль.

— Да, Пашка, да, девка... — неопределённо проговорил Петрован и перевёл прищур с мелькавшей кедами почтальонки на разбродно и ленно бредущие в майском небе облака, как бы безвозвратно уносившие в вечность земные дни и мгновения.

В прежние времена из Брусов, где проживал Петрован, за юбилейными медалями отправлялось немало бывалого люду, из коего, если б подровнять носки, можно было выстроить не меньше взвода. Но вот и в Брусы пришёл предел, и теперь из всех уцелел один Петрован, пока пощаждённый лётom времени, поди, из-за того, что был он сух, скрипуч и шершав, как пустырный кузнечик. Несмотря на недочёт пальцев, остался он хваток до всякого дела: тесать, пилить, виртуозничать стамеской, плести грибные кузова, класть легкодымные печи и лежанки и много ещё чего. Но пуще всего отдавался он тракторному делу, которым заболел ещё мальчонком, и два года перед войной провёл прицепщиком. Семь ребячьих шкур спустил на жаре, по августовскому чернопаху, и белых мух вдосталь наглотался из снежных зарядов, а однажды задремал за плугом да чуть было не срушило лемехом, расчищенным добела. Но ничто не отвратило его от трактора, от керосинового пота и натужного рёва и грохота. Даже в свои семьдесят лет он, как прежний Петька Костюк, в неизбывной восьмиклинке с пуговкой на макушке ещё гонял на многопрофильном тягунке: окучивал колхозную, уже Ельцинскую картошку, морил колорадского жука, подбрасывал солому на ферму, бульдозерил на разъезженных дорогах — делал из грязи асфальт и ровноту. Он и теперь бы колесил на своём «Беларусе», понимавшем Петрована с одного кивка, если бы колхоз не распался на дольщиков, из коих кто-то однажды ночью выкрал из того «Беларуса» ещё тёплое сердце — чиненный-перечиненный движок, а на прокеросиненном сиденьи оставил крутую лепёху с огуречными семечками...

Тем же вечером Петрован велел жене Ньюше истопить баньку и, пока та носила в котёл воду и шебуршала берестой, налаживая пал, он, стащив рубаху и приладив на поленнице косяк битого зеркала, обстоятельно и придиричиво обстриг покороचे отпущенную было на волю не шибко дружную бородёнку, а заодно и укоротил лешачьи брови, уже начавшие застить белый свет.

— А ну, глянь, ровно ли? — представился он жене, вскинув подбородок.

Нюша, крупная, рукастая женщина, ухватила Петрована за сухонькие остряковые плечи и повертела туда-сюда, сощуренно отстранясь и сведя губы дудочкой.

— Ну, чего? Нигде не торчит?

— Вылитый царь Николай! — усмешливо одобрила Нюша. — Чуток бы росточку и — в самый раз на престол!..

— Ладно тебе! — не принял похвалу Петрован. — Всё шуткуешь. А мне на люди идти. Глянь заодно, как там плешка: далече ль расползлась? Мне ить не видно. И зеркало никак не наведу — пляшет всё...

— А тебе какая разница? Всё одно в картузе пойдёшь...

— Оно-то так... — задумчиво потупился Петрован. — Дак бесова печать и под картузом своё берёт, человека изводит. А ить ещё недавно со сна расчесать не мог. А? Нюш? Ужли забыла? И у тебя какая коса была — сущее перевясло! Куда всё девалось...

— Туда и девалось... — Нюша шутливо взъерошила лёгкую седень на детской голове своего суженого и поддала ладошкой под зад, по пустым дряблым штанам... — В чём пойдёшь-то: в сапогах али в плетёнках? На дворе уже обсохло, можно и в плетёнках: эвон сколь пёхать — умаешься, ноги в сапогах набьёшь... Оне теперь и вовсе негожи. Сколь им годов-то? Боле полста минуло? Ты в них ишо аж с войны вернулся.

— А чего им сдеется? — Петрован ещё раз взглянул на себя, стриженного, в косое зеркальце. — Я в них только на чево важное. Однава в году, а то и реже. Даже подковки целы. Бывало, и за два, и за три года ничего такого, чтоб в сапогах... Правда, последний раз не так давно обувал. Той осенью, на Покрове — в Ряшнице Сингачёва хоронили, одногодка. Наград — куда больше мово, двенадцать мальчиков несли... Из карабинов палили. Раз да другой, да третий... Да-а... А больше никуда не хаживал, всё чаще в кедах да плетёнках. Теперь дак и на похороны не зовут: дорого стало. Приезжего человека надо ж приветить, угол ему определить, опять же и поужинать, и позавтракать. Допреж так-то было, а теперь не стало, ближними обходятся. Сколь уж за последнее время нашего полку отошло, а я про иных и не знаю. Радио молчит, небось, проволока соржавела, а газет не читаю — опять же накладно... Ты, Нюша, вот чего... Помажь-ка сапоги деготьком, а я, когда помоюсь, в тёплой баньке повешу на ночь, они и помягчают, расправят слежалые колдобья. Только голяшки не пудри: кирзу удабривать бесполезно.

После бани, неспешной и расслабляющей, Петрован надел всё чистое, запашистое, отутюженное, прибавившее ему довольства и ещё большего умиротворения, и так, в исподнем, с незавязанными тесёмками на груди и с распушённой головой и округлой ежовой бородкой, похожий на равноапостольного святого — разлюбезного целителя Пантелеймона, с запихнутой за спину подушкой, чтоб ненароком не продуло, не задело задремавший с пару радикулит, пил с Нюшей крутой чай из разговорчивого самовара, в точности отражавшего одной стороной всю его, Петрованову, белизну и заоблачность, тогда как другим боком цветасто пестрел новым Нюшиным халатом. Чаёвничали перед окном, распахнутым в майский румяный вечер с золотой полоской над дальним лесом, в завтрашний Велик День, коим в этой избе уже более полувека считалось Девятое мая.

Петрован в таких случаях требовал себе блюдце, придававшее чаепитию особую неспешность и значимость. Испив и накрыв чашку, он сладостно утирался красно размереженным рушничком, им же обмахивался, будто веером, и добродушно говорил что-либо обычно молчавшей Нюше:

— Вот ты давеча: картуз да картуз... Да не картуз вовсе! Не картуз, а фуражка. Фураж-ка! Сколь тебе говорить? У картуза околыш просто так, штоб на ушах держался, глаза не застил. А у фуражки околыш со значением. Чтоб издаля было видать, кто перед тобой, в каком войсковом служении. Допустим, идёт тебе навстречу чин с красным околышем, кто таков, а? Ну-ка, скажи...

Нюша делает вид, будто не расслышала вопроса, принимается подкладывать Петровану засахаренную клюкву.

— Нет, ты скажи, скажи, не увиливай, — начальственно твердел голосом Петрован... — Кто таков в красном околыше?

— А-а, подь ты! Ничего я вашава не знаю.

— погоди, сразу и не знаю... Я ж тебе про всё это рассказывал...

— Забыла я за ненадобностью.

— Ну, вот тебе — за ненадобностью. А ежли я тебе встречусь, то в каком околыше?

— А ляд ево знает...

— Запомни: в чёрном я буду. В чёрном!

— А пошто — в чёрном-то? Али ты хуже всех?

— Танкист я, вот пошто. Танкисты чёрные околыши носят. А ещё — артиллеристы. Потому как техника. Сталь да чугун, дым да копоть. Тут красное или зелёное не к лицу. А чёрное — в самый раз. Это по праздникам. А так, по будням, я в шлеме должен быть. Дак на войне и ходили только в одних шлемах. А фуражек и не было, не успевали получать, потому как праздников не случалось: всё бои да ремонты. Рваную гусеницу закувалдишь — фриktion полетел... Сходил в атаку — башню заклинило... Да оно зимой фуражка и не по делу: уши только морозить. А ветром сдует, дак потом сколь по снегу бежать за ней...

Когда ходики хлопнули дверцей после одиннадцатого кукования, Ньюша окончательно изнемогла и, не убрав посуды, хватая притолоки и простенки, тучно квохча и булькая чаем, убрела в свою каморку. Петрован, вобравший в себя столько банного и самоварного тепла и благодати, потом долго онемело остывал и приходил в себя, сонливо, уморно слушая, как постанывал и побряхтывал старый оседающий дом, а в сухом сосновом стояке, с виду крепком и надёжном, мелко строчила невидимая крошечная козява, прогрызая себе новый ход и изводя сердцевину стояка, опору дома в мучную праховину. И лишь когда усталая кукушка вяло оповестила час ночи, Петрован спустил ноги в стоявшие у подножья стула разлатые, надрезанные в голяшках домашние валенки и белым привидением беззвучно прошёл к глухому самодельному шифоньеру, всё ещё угарно отдающему тяжёлым смоляным лаком. Из его глубины он извлёк свой специальный наградной пиджак и неся его выше себя, через горницу, зацепил крюком вешалки за лобный вырост лосиной лопатины, приколоченной меж горничных окон.

Пиджак был куплен намеренно из тёмного сукна, чтобы лучше виделись чеканные знаки поощрений. При этом Петрован руководствовался не мелким тщеславием, дескать, глядите, какой я герой, а вековым крестьянским почтением ко всему, что свидетельствовало бы о российской истории, её поворотах и разворотах, участником которых он чувствовал себя теперь только через этот свой пиджак, лунно отсвечивающий медалями, к которому и Ньюша тоже относилась уважительно и даже побаивалась его важной и отутюженной солидности, что, впрочем, не помешало ей набить рукава и внутренние карманы терпкой огородной полыньё — от моли. На левой его стороне висело семь медалей: четыре в верхнем ряду, три — в нижнем. Казалось, Петрована приглашали на завтра только затем, чтобы окончательно заполнить нижний ряд недостающей медалью.

По правде сказать, эти знаки на левой стороне уже давно не вызывали у него полного удовлетворения: он испытывал чувство какой-то непричастности к их торжественному побренькиванию и блеску и, когда вынужден был надевать этот свой парад, то ходил на два румба недоразвёрнуто левым плечом, обременённым ликующей тяжестью медалей. Наверно, причиной такой неуверенности явилось то, что среди его наград не было за оборону Москвы, Сталинграда, Кавказа, Одессы или Севастополя, так же как не было и за взятие Вены, Будапешта или Праги и тем бо-

лее Берлина. Ничего этого Петрован не оборонял и не брал, потому как никогда не был в тех городах и странах. Просто все его медали имели юбилейный статус, то есть считались не боевыми, а лишь «по случаю» и «в ознаменование», что и заставляло Петрована носить их как бы бочком, с застенчивой отрешённостью. К тому же, как говорили иногда между собой старые солдаты, наградного кругляша, заменившего все остальные знаки внимания и побрякушки, с годами становилось лишковато, а его звон всё дробней и чешуйчатей, что вовсе не прибавляло славы и твёрдости в поступи, а только вызывало снисходительные улыбки заматеревших внуков.

Это всё — на левой стороне бравого пиджака, тогда как на противоположной, у края лацкана, где-то ниже ключицы, одиноко обозначалась тёмной эмалью «Красная звезда», ничем не приукрашенная, без взблесков и сияний, в своём простом естестве больше похожая на солдатскую шапочную эмблему, нежели на боевой орден, долженствовавший вызывать у зрящих незаурядность свершённого. А между тем сей одинокий знак, некогда почему-то отнесённый статусом на пустую левую сторону, Петровану был дороже и родственней всех остальных семи, издававших главный звон при параде. Порой, взглянув на него, Петрован всё ещё испытывал внезапный сердечный толчок, горячо обжигающий подрёберье, наверное, оттого, что воочию ощущал в бордовой, как бы загустелой пятиконцовой заливке ордена собственную спёкшуюся кровь, в которую, казалось, и теперь можно было макнуть палец... Однако всё своё наградное хозяйство Петрован блюл и содержал в надлежащем порядке, никакой чеканке не отдавал предпочтения, а каждую обстоятельно протирал обмакнутой в соду льняной тряпицей, давая просохнуть, и затем уж принимался гонять бархоткой. После такой процедуры, совершаемой в полном одиночестве глубокой ночи или когда никого нет дома, Петрован помещал каждую воссиявшую награду в целлофановый пакетик от сигарет. Приходящиеся весьма кстати пакетики он заведомо собирал и в такой оболочке оставлял медали висеть на пиджаке до очередного выхода.

И вот завтра на рассвете он натянет остро пахнущие сапоги, пройдёт в них туда-сюда, примеряясь к неблизкой ходьбе, потом, поплескавшись под кухонным ручком-чурюканом, обрядится в лётную комсоставскую рубашу в чётких квадратах лёжки, привезённую племянником аж из самой Москвы для таких вот случаев, разберёт на две стороны остатки своего русокудрия: поменьше — на правый висок, побольше — на проступившее темечко, непослушный пробор смочит с руки чайной заваркой и, оглядев себя в зеркале, подведёт некий итог: «Не сказать, што герой, но уже и не лешай». И лишь перед самым выходом торжественно и бережно наденет всегда готовый, отутюженный пиджак, ожидающий его на лосином роге, снимет с медалей целлофановые сигаретные обёртки, энергично, до звука воссиявшей бронзы одёрнет его полы и на всю дорогу построжает лицом, помеченным над левой бровью багровым шрамом.

Дорога в район не длинная, но бестолковая. Прежде, при Советах, мимо Брусов раза четыре за день пробегал ПАЗик: полчаса — и там. Пока картошка варится, можно было смотаться за комсой и хлебом. Нынче автобусик куда-то подевался, и приходится сначала вёрст пять пёхать в обратную от района сторону, а потом уж — на электричке. Да и то: электричка приходит не в город, а на станцию, от которой ещё топтать и топтать до центра. Или гони ещё два рубля за вокзальный автобус. Правда, с Петрована, особенно когда он весь в медалях, не брали ни копейки.

Петрован при такой крутине не успел в одночасье справиться со своими делами и воротился домой аж на другой день.

Он вошёл в родные Брусы, устало опав плечами, перехлёстнутый прямо по медалям пеньковым шнурком с бубликами, которые в последнюю минуту купил в элек-

тричке. От пыли его надетярённые сапоги сделались похожими на серые валенки, и шоркал он ими нетвёрдо, с подволоком, как в старых разлзатых пимах. Фуражку с чёрным околышем он нёс в руке, а вместо вчерашнего пробора на голове трепетал спутанный ковылёр, светлым нимбом серебрившийся против солнца.

Первыми, ещё у околицы, встретились ребяташки, Колюнок и Олежка, весь день выглядывавшие его на дороге.

— Дядь Петрован, — канючили они, семена обочь. — Получил медалю? А, дядь Петрован?

— Подьте вы... — продолжал брести Петрован.

— Покажь, а?

— Эки репы!

— Пока-а-ажь. Хоть издаля...

— Ну, чё? — остановился, наконец, Петрован. — Чё показывать-то? Ну, вот она... — Петрован выколупнул из-под деревянно загремевших бубликов яркий, совсем новый бронзовый кругляш с каким-то дядькой, одной только головой во всю окружность... — Вот она...

Колюнок и Олежка вытянулись молодыми петушками, затаённо примолкли.

— Хоро-о-шая! — едино признали они. — Эко блестит!

— Блестит-то она блестит... — сокрушился Петрован. — Да... как вам сказать, ребяташки... Не моя она...

— Как — не твоя? — вроде как испугался Колюнок.

— Ты её нашёл? — раскрыл рот и Олежка.

— А-а... — трёхпало махнул Петрован и, заломив несколько бубликов, насыпал румяного крошева в чёрных маковых мушках в подставленные ладошки. — Давай, мыши, грызите... Вам этого не понять...

Над его избой струилось бездымное прозрачное маревце, пахло печёным. Это началось, что Нюша, дожидаясь его с наградой, истопила печь и напекла шанег. Но домой он однако ж не пошёл, а, минув ещё три избы, свернул к четвёртой, Герасимовой.

Немогота хозяина удержала его жену Евдоху выставлять зимние рамы, а потому в избе накопилась испарина, запотелые окна тускло, заплаканно глядели на волю. К духу упревших щей, заполнявшему жильё по самые матицы, примешивался пронырливый, как буравец, запах валерьянки — от Герасима, из его каморы.

— Ляжит... Ох, ляжи-ит!.. — сразу заголосила согбенная, встрёпанная Евдоха, увидев на пороге Петрована. — Проходи, проходи к нему, касатик. То-то буде радый! А то никто ничево... Слова днями не слышит. Одна я... Ну, да я ж ему чё путного скажу-то?... Очертела, поди... Хуже скрипа колодезного... Вот ждал-ждал внуков — по головке погладить, а и те по чужим городам... Кабысь не себе рожали... Наказание господне... Проходи, проходи, Петя...

— Кто там пришё-ёл?.. — квёло донеслось из-за горничной глубы, следом послышался сухой свистящий кашель и долгий изнурённый стон.

— Иди, не бойся, — подбодрила Евдоха.

Сняв с себя бублики, Петрован обладил виски и, невольно приподняв плечи, как бы крадучись, ступил в горничный проём. Слабо мерцавший в углу святой Николай приветно покивал ему огненным острячком лампы, и тот ответно осенил себя торопливой щепотью, отчего на его груди тонкой звонцой загомонили медали, услышанные однако Герасимом.

— Да кто там? Петрован... ты, что ли?

— Да я, я... Кому ж ещё...

— Чё дак... путаешься? Ай ход забыл?

— Дақ иду. Вот он я!..

В мерклом, безоконном застенке Герасим дожидался его в своей кровати, нетерпеливо приподнявшись на локте. Он был в исподней рубахе, бледно-жёлт иссохшим лицом, оснеженным на скулях и подбородке сивой недельной небритостью. Петрован неловко поддел под Герасима руки, обнял его, как если бы то был мешок с чем-то, и, сам сбившись с дыхания, поздравил с ветеранским праздником.

— А рази не завтра? — усомнился Герасим, обессиленно отвалиясь на подушку.

— Не, братка. Сёдни аккурат девятое число. В районе прям на домах написано. И флаги кругом...

— Ага... Может, и так... А я лежу тут, в застенке... Только мухи и гундят... Деньки стороной обегают, без меня обходятся. Намедни будильник, и тот итить отказался... Вконец своё истикал... Дақ и я тоже...

— Давай посмотрю, — предложил Петрован, ещё умевший ладить часы, правда, не дюже мелкие.

— А-а... — Герасим прикрыл тёмные, отяжелевшие веки. — Теперь и ни к чему... Часом больше, часом меньше... Тут, без окон, всё едино: што день, што ночь... — и, взяв с приставленной тумбочки ложку, позвякал ею по белой эмалевой кружке.

На стук объявилась насторожённая Евдоха.

— Чё тебе?

— Как это — чё? День Победы нонче! Вон и гостыва пришла — Пётр с Иваном. У тя нету ли маленько? От Стёпки, кажись, оставалось?

— Осталось, дақ на дело: когда чё заболит...

— Вот и давай...

— Дақ тебе низя! — воспротивилась Евдоха.

— Ладно — низя. Не твоё дело.

— Как же — не моё? А за скорой помощью кому бечь? К телехвону? Четыре версты до сельсовету. Тот раз побегла, а там — замок, работа кончилась. Благо, Митрохин малый на мотоцикле попался, домчал до станции. Дақ чуть не обмерла рачки сидеть. А он, блудень, как нарочно, — по кочкам да по колюжам... Ужась, чево натерпелась...

— Ладно тебе манёвры делать, зубы заговаривать. Ить же сказано: День Победы! Чево ишо говорить? Тут не можешь, а — надо... Огурчиков-помидорчиков тоже подай...

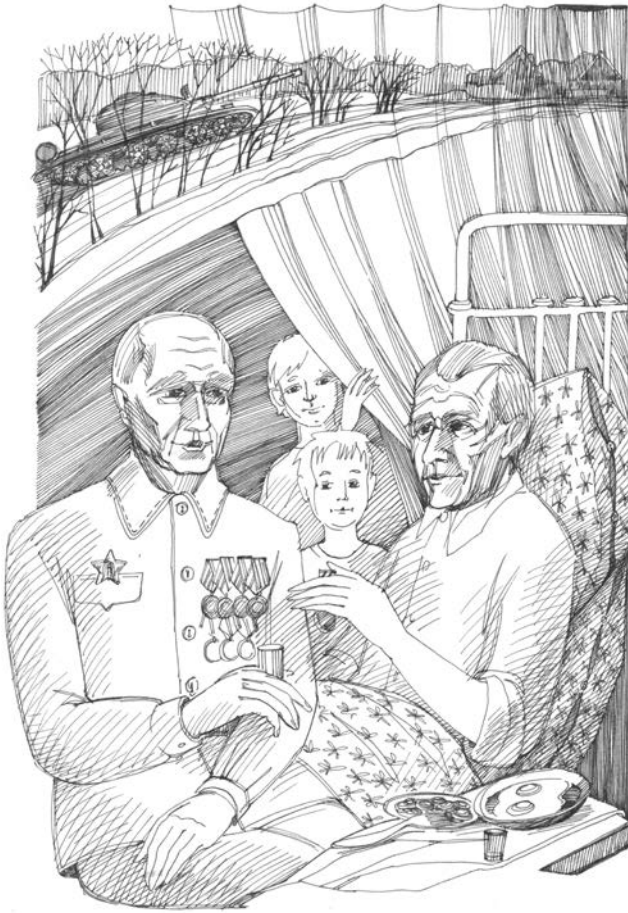
— Май на дворе — какие огурчики?

— Ну чево найдёшь...

— Да чё я найду-то? Али не знаешь? Ждите, картохи наварю. А то вон Петрован ноликов принёс... Целую низку.

Козюлилась-козюлилась баба, а чуть спустя, сгорнув с тумбочки аптечные пузырьки и всё остальное ненужное, принесла миску квашеной капусты, перемешанной с багрянными райскими яблочками, подала в глиняной чашке рыжичков в ноготь, так и оставшихся оранжево-весёлыми еловичками, потом — тёртый хрен, запахом затмивший и квашеную капусту, и бочковые грибки. Уж больше и ставить некуда, но, потеснив посудинки на самую середину тумбочки, Евдоха водрузила жаркую сковороду с шепеляво говорившей глазуньей. И лишь после всего внесла сразу на обеих ладонях, как бы притетешкивая на ходу, бутылку «Стрелецкой степи», располовиненную ещё сыном Степаном, нечаянно нагрянувшим зимой из своих Челнов по случаю командировки.

— Можа, петуха изловить? — предложила Евдоха, недовольно оглядывая в пять минут сотворённый стол. — Всё равно не нужен пока: клухи уже с цыплятками, а яйца и без петуха сгожи... Да я б и зарубила, а только забежал кудысь, гуляка...



— Куда ж с добром! — остановил Петрован бабий пыл. — И так ставить некуда. Вон сколь всего!

Правда, в доме не оказалось хлеба, но Евдоха и тут выкрутилась, не сплеховала, а принесла Петровановы «нолики» и зацепила за шишку Герасимовой кровати.

— Ну, брат... — торжественно вздохнул и не досказал Петрован и, ёрзнув, пододвинулся вместе с табуреткой поближе, половчее. Он осторожно, будто опасную мину, приподнял бутылку и медленно, бережно наклоняя, тонко разлил по шестигранным, на долгих ножках старинным рюмкам, ещё звеневшим, поди, на Герасимовой свадьбе, нечто полынное, взаправду стрелецкое и степное.

— Ну, — повторил Петрован, озабоченно вглядываясь в Герасима. — Вставай давай, што ли... Рано тебе ещё...

— Да где уж... — Полулёжа на правом боку, Герасим дрожливо приподнял свою долгую хрупкую рюмку, похо-

жую на балетную барышню. Задумчиво глядя на золотистый налив вина, охваченного хрустальными гранями, мерцавшими в полусвете каморы, он трудно, одышливо изрёк из своей напряжённой глубины, — што теперь... Я не за себя поднимаю это... Моё всё проехано... Больше хотеть нечево... Я за неприбранные кости... Вот ково жалко...

Отдыхая, он помолчал, подвигал сопящими под рубахой мехами и, умерив дыхание, тихо продолжил:

— Перед глазами стоит... Упал в болотину и затих... Мимо пробежали, прочавкали сапогами — не до нево... День лежит, неделю... Никово... Вот и воньца пошла... Муха норовит под каску, к распахнутому рту... Потом села ворона, шастает по спине туда-сюда: ищет мяснова... Набрела на кровавую дырку в шинели, долбит, рвёт сукно, злится, отгоняет других ворон... Ночью набредёт кабан, сунется рылом под полу, зачавкает сладко... А там само время съест и сукно, и металл... И забелеет череп под ржавой каской, осыпятся рёбра, подпиравшие шинель... На том месте опять ровно станет... Молодая берёзка проклонется сквозь кострец... А любопытный волчок отопрёт в чашу сапог, чтобы там, в затишке, распознать, што внутри громыкает... Как зовут его, этого солдата, откуда родом — уж никто и никогда не узнает...

— Ну, будя, будя! — Петрован заотмахивался свободной рукой. — Тебе нельзя говорить столько. Эко повело!

— А таких миллионы, — продолжал выговаривать своё Герасим. — Это ж они, не прикрытые землёй, теперь не дают ходу России. С таким неизбывным грехом неведомо, куда идти... Сохнет у народа душа, руки тяжелеют, не находят дела... И земля не станет рожать, пока плуг о солдатские кости скрежещет... Оттого и не знаем имени себе: кто мы? Кто — я? И ты кто, Петра? Зачем мы? И чем землю свою засеяли?

— Ну, всё, Гераска! Давай лучше выпьем! Чтоб всем пухом...

Петрован протянул свою рюмку к Герасимовой и подождал, сочувственно наблюдая, как тот, выпятив губы, будто конь из незнакомой цибарки, короткими движениями заросшего кадыка, принимал победное питьё. И только когда Герасим одолел половину гранёной юбочки и опустил остальное, Петрован испил своё до самого донца.

Хозяин долго лежал навзничь с закрытыми глазами, и тёмные его веки мелко вздрагивали от толчков крови в синих подкожных прожилках.

— Живой? — озаботился Петрован. — Ай, не пошла?

— Да вот слушаю, — как бы издалека отозвался Герасим. — В груди вот как замлело! А в голове — вроде красной ракеты. Махром расцвело...

— Ну, слава те... — расслабился Петрован и враз развеселился:

— Красная ракета — это тебе сигнал: «В атаку!.. За мны-о-ой! Короткими перебежками — пшэ-ё-ол!»

— А-а... — тряхнул жёлтой кистью Герасим. — Тут хотя бы до ветру... А то пришло — в бутылку сикаю... Расскажи лучше, как съездил-то? Медаль получил?

— Да, считай, получил... — как-то нехотя признал Петрован.

— Покажь, чево там напридумывали?

— Да вот... Маршала Жукова дали.

— Жукова?! — оживился Герасим. — Ох, ты...

Петрован высвободил из нижнего ряда новую свою награду и протянул Герасиму. Тот бережно принял её в восковую ямку ладони, поднёс к глазам.

— Он, он! — сразу признал Герасим. — Эт как беркутом глядит! Из всех маршалов — Маршал! А ты што ж ево не по чину-то? На нижнем ряду повесил? Ево надо эвон где, сверху всех медалей. Там, где Ленина вешают.

— Дак она и дадена не по чину... — крутнулся на табуретке Петрован. — Не тому Федоту.

Петрован принял медаль обратно, но не стал вешать на прежнее место, а как ненужную сунул в пиджачный карман.

— Как это — не по чину? Ты чё мелешь?

— Неправильно это... Я и там комиссару говорил, что со мной ошибка какая-то... Не тому медаль выписали... А он только смеётся, по плечу хлопает, дескать, всё правильно, носи на здоровье.

— Дак чё неправильно-то? — опять притворил веки Герасим. — В чём ошибка, не пойму я?

— Ну, как же! У нас совсем другой командующий был. Под Руссой-то... На Северо-Западном. У нас генерал-лейтенант Курочкин, Павел Ляксандрыч. Лысоватенький такой, ростом не шибко штоб, годов сорока, а вовсе не Жуков. Маршал Жуков у вас командовал, на главных направлениях. Потому медаль эта неправильно дадена. Как же её выше всех повешу, ежли она не заслуженная? И так уже сколь надавали...

Герасим оставался лежать с закрытыми глазами, и Петрован, озаботясь, что тот вовсе не слушает его, пустил ещё рьяней объяснять случившееся недоразумение.

— Вот тебе Жуков в самый раз. Ты ж и под Москвой окопничал, и под Сталинградом, и на Курской дуге, а потом Берлин брал... И всё под Жуковым. Эвон сколь прошёл! Чево повидал, насмотрелся... А я чево? Да ничево! Все под Старой Руссой, да под Старой Руссой. Там всё моё направление, весь главный удар...

— Ну, дак тоже, небось, не в карты играли... — не открывая глаз, проговорил Герасим.

— Играть, может, и не играли, окромя разведки. Но, бывало, как занесёт, как заметелит, аж колючей проволоки не видать, поверх заграждений навалит. Передок — што неписанная бумага — нигде ни точки, ни запятой. И вправду, хоть сдавай под дурика. Однако с картами было строго. Заметят при солдате карты или крестик на тельный — сразу в особотдел. Разведчики, те поигрывали — на трофейные сигареты, на немецкие пуговицы. Они картами у немцев разживались. У тех почти у каждого по колоде. И по губной гармошке. Пошвыряют в нашу сторону минами, измарают снег вокруг окопов торфяной жижей и — в тёплую избу кофей пить, под хвениги резаться.

Отчего б и не резаться? На то тебе все условия. Зимуют они на высоких местах — в тёплых сухих блиндажах да избах, русские печи топят, амуницию сушат, спят на двухэтажных топчанах, до подштанников раздеваются. Тут же в снях из выпиленных амбразуров пулемёты торчат, а то и орудия. Культурно! Чего ж так-то не воевать? Ну, а у нас война совсем другая. Болота да низины. На два штыка копнул — вот уж и вода. Какой тебе блиндаж? Приходится не в землю зарываться, а землёй обкладываться... Ну, конечно, в таких условиях ни поспать по-людски, ни посушиться... Мох чуть ли не на шинелках растёт, в стволах за ночь ржавеет. А ежели чего подвезти, то сперва гать кладут, сколь лесу изводят... Одна из этого польза: мины да снаряды часто не взрываются: как уйдёт в хлябь, так и с концами.

Петрован потянулся за бутылкой и, не спрашивая, долил доверху сперва Герасимову посудинку, потом и свою.

— Ну, братка, настал момент, давай ещё по маленькой, по нашей фронтовой!

И неожиданно, жмуря глаза, продолженные лучиками височных морщин, пропел тоненько и приятно:

— Лучше не-е-ету того цве-е-ету, когда яблоня цветёт...

— Нет, парень, — не поддержал компанию Герасим, — боюсь, Евдокия заругает. Она, вишь, то и дело из-за притолоки выглядит...

— А я загорожу, — нашёлся Петрован и, в самом деле, зазвенев медалями, развёл перед Герасимом полы пиджака.

— Ну, тади ладно... — Герасим покорно приподнял рюмку и немного отпил — всё так же сторожко, малыми глотками.

Молча попыряли вилками норовистые неподатливые рыжики, после чего Петрован снова вернулся к своей досаде:

— Не-е, брат, как ни крути, а моя война вышла неудачная. Я даже эту самую, язви её, Старую Руссу не видел. Одни только крыши да церквя. Да и то в биноколь. А так всё мелкие деревеньки, теперь уж и позабывал, какие. Там ведь такая война: сегодня возьмут, а завтра, глядишь, опять отдадут. Так и тягали эту резину. А она — то немца по заднему месту, то нас по тому же. Самый крупный населённый пункт, куда удалось мне войти с боем и где впервые увидел убитых немцев — некая Кудельщина, под ней мы простояли неполную неделю. Её я и считаю своим настоящим крещением. По правде признаться, я не столь с немцами воевал, как со снегом и морозом. Ох и нахлебался завирух, ох и нахлебался! И доси по спине мураши... Наш отдельный танковый батальон, где я был водителем тридцатьчетвёрки, прошёл своим ходом от Москвы, от Люберец, до этой самой Старой Руссы. Да не по прямой, а всё ковельюгами, не по асфальтику, а — чёрт знает по чём. Другой раз гонишь, гонишь впереди себя ком, да и зависнешь днищем.

Гусеницами туда-сюда на весу болтаешь, а машина — ни с места. Это ж сколько сотен вёрст?..

А за бронёй — январь да февраль сорок второго, морозы — под тридцать, снега — как никогда. Не так мороз, как донимал снег. Забивал катки, нарушал обзорность, поедом ел горючку. Особенно доставалось головному танку. Он первым таранил замети, но первым и зависал на сугробах. То и дело набрасывали троса, стаскивали его со снеговых подушек. За сутки прогрызались едва на двадцать вёрст, а в иных местах и того меньше. Из семнадцати танков нашего и так не полного батальона восемь отстали с разными поломками. Да и то: днём по лесам прячемся, а выходим на дорогу только ночью. Ни Боже мой осветить или пыхнуть папироской — такие строгости! Опять же: на днёвку в населённых пунктах останавливаться нельзя, а только в лесных чащах, да и то без костров, без варева. Пища — сухари, мёрзлая тушёнка — ножик не берёт, а то и просто брикеты пшёнки или ячки. Спали на броне под рёгот моторов. Мотор заглохнет — давай подскакивай, пляши чечётку в мёрзлых валенках, а то хана, ноги отморозишь, были у нас такие случаи. Валенки-то вечно сырые: не столько едем, сколь толкаем да копаем. Оно хоть и мороз, а обувка всё одно мокреет, изнутри парится. За всю дорогу ни разу не умывались. Какое умыванье на морозе? Заводская смазка на новых танках, чёрные выхлопы, особенно при буксовке, — всё это за время пути перешло на наши рожи, так что перестали узнавать друг друга. Ты слышишь меня, Герасим? Лежишь, глаза притворены...

— Слышу, — отозвался тот.

— Не худо? А то я разговорился тут...

— Ничего...

— Ага, ага... Доскажу, доскажу... Так вот, два месяца шли мы до передовой. Уж лучше б сразу: пан или пропал. А то нудой, неопределённостью изошли. Добрались до Калинина, а там — заковыка. Какая-то путаница с назначением. Говорили, будто вместо Старой Руссы — под Селижарово. А это совсем на другой фронт. А пока выясняли — нас в лес на полторы недели — опять без дневного шевеления, без костров, на полной сухомятке и спать на броне, на лапнике под брезентом. Потом выяснилось, что надо куда-то под Демянск, душить немцев в котле. Пока ехали — новая переадресовка — под Старую Руссу. И там: только раз-другой пальнём — вот тебе отбой, сниматься, получай новое назначение... Но зато я прошёл такую школу вождения, так набуксовался, навьтаскивался, что и по сей день на тракторах первые места в районе брал. А могу и на танках...

Ну, вот... Наконец, прибыли мы на своё последнее место дислокации, как раз под этой Кудельщиной. В конце концов, после стольких мытарств надо было пожалеть технику — что-то подтянуть, подладить, подрегулировать. Сами уж ладно, как-нибудь перемоглись бы, уже весна скоро: отогреемся, пострижёмся, может, в баньку сходим...

Стали мы на лесной поляне, расчистили снег, танки лапником закидали, приступили к досмотру. Поснимали бронелисты, обнажили моторы, иные взялись за фрикционы, муфты сцепления или разомкнули гусеницы, чтобы заменить повреждённые траки. Мы свой мотор подцепили таль-балкой, отвезли под ближайшую крышу, где есть тепло: надо было кое-что разобрать, подрегулировать, а то что-то тоже стал барахлить. Он-то ведь танку не родной, с самолёта поставлен, «М-семнадцатый». В воздухе он уже отлетал свои две тысячи часов, оттуда его списали, сделали капремонт и передали на танковый завод для дальнейшего использования. Так что получалось: какие тридцатьчвёртки выходили с дизелями, а некоторые, вроде нашего, — с лёгкими сердцами. В общем, тянул он неплохо и заводился с одного тыка, но дюжа оборотистый, чуткий к газку, по старой лётной привычке всё норовил с места в карьер. Только спать на нём хлопотно: не любит малых оборотов, частенько глох... Так что мы не столько спали на жалюзях, сколь отбивали чечёта...

Да... Только так вот изготовили домкраты, кувалды, полиспасты, автогенные баллоны, выставили бронелисты и всё такое прочее, как вот тебе — сам командующий фронтом, Павел Ляксандрыч Курочкин — в белой дублёнке с пуховыми отворотами, бурки — из белого фетра, кожей обшитые, а на голове — смушковая папаха топориком — так и отливает серебром, так и играет чешуйчатыми кучерявками, прямо в маршала просится. С Пал Ляксандрычем всякие генералы, порученцы и адъютанты, тоже все в белом — с неба никакой «фока» не узрит такой маскировки.

Построили нас тут же меж раздетых танков, а мы все — небритые, чумазые, осунулись от недосыпа — никакой бравости. Многие кашляли застарело, а которые даже потеряли голоса и слова как есть вышепётывали. Но Павел Ляксандрыч и таким рад: какие ни есть, а всё ж танкисты. А их-то на забытом Северо-Западе завсегда не хватало. Горячо, отечески поздравил он нас с прибытием на передовую, скоро, дескать, на этом участке можно будет ожидать хороших перемен, и наши войска наконец-то победно войдут в Старую Руссу. В ответ мы кое-как просипели окутанное паром промёрзлое «ура», на которое командующий сочувственно поморщился, но тут же снова ободрился и объявил, что, мол, в знак его личной благодарности в полуверсте отсюда, в деревеньке Ковырзино, для нас будут истоплены бани с берёзовыми вениками и прямо в парилки подадут по фронтовой чарке с куском шпика на сухарике. Так что милости просим, в Ковырзино уже топят сразу несколько бань. Только не все сразу, — посоветовал командующий, — а позкипажно, чтоб был полный порядок. Пока одни моются, другие пусть работают. Дело затягивать нельзя — на войне каждый день дорог... Всем ясно, товарищи?

В ответ мы ещё раз просипели «ура» и подбросили в небо свои просолидоленные шлемы, похожие надохлых кошек.

Ну, что банька и на самом деле состоялась — слово Павла Ляксандрыча оказалось железным. Нашлось и свежее исподнее бельё, которое привезли прямо на ремонтную поляну и раздали поштучно вместе с плоско слежалыми берёзовыми вениками, небось, доставленными с генеральских коптёрок.

Приспела и наша очередь, двинулись мы друг за дружкой по глубокой свежей тропе в это самое Ковырзино, а там, на околице у незамерзающего падуна, обещанные бани уже дымы развели. Дымы кручёные, выше окрестных берёз, бани уже по второму разу топились: прежние клиенты горячую воду начисто повыхлестывали — этак, сердечные, изголодались по теплу! И по стопарю тоже было — всё честь по чести, как обещал комфронта. Ну, само собой, стограммового приветствия оказалось маловато. Братва из соседней баньки отрядила молодца с двумя парами нижнего в деревню, и вот вскорости слышим — рвут крышу оттаявшие голоса:

— Броня крепка, и танки наши быстры...

В те времена блажили прилипшей на всю жизнь песней, под которую тогда проходила вся призывная служба в танковых училищах. Под неё рубали строевым, завтракали — обедали — ужинали, ложились спать, и ребята, ещё не нюхавшие порошу, верили в неё, как в «отче наш».

— У нас в пехоте «Белоруссию» орали... — слабым голосом поделился Герасим.

— Ага, ага... — охотно закивал Петрован. — Ну, конечно, нас сразу и задело такое пение: а что, переглянулись мы, у нашей тридцатьчетвёрки, боевой номер двести шесть, под командованием кубаря Ивана Каткова, уже горевшего под Смоленском, броня хуже, что ли? И наш экипаж, зады и спины в берёзовых листьях, босиком через сугробы ринулся пособлять хорошей правильной песне, которая враз сделалась вдвое раскидистой:

— В строю стоят советские танки-и-сты...

Опосля и мы сбегали на деревню со своим только что полученным вещевым довольствием... В третьей бане мылись и стегались тоже не лыком шитые — те себе «Катюшу» хором врезали... Тут в самый раз заглянул батальонный политрук Куко-реко, тоже нагой и в листьях, прикрывает от бойцов причинное место, а сам пробует давить на тормоза: дескать, полегче, товарищи, чтоб не зашкаливало, а то машины ждут ремонту... А ребята ему: «Всё будет, как в часиках, товарищ старший лейтенант. Завяжи нам глаза, дак мы и вслепую всё сведём и составим».

И пошли экипажники один за другим вылетать из дверей и заныривать в чистейшие первозданные сугробы.

— И-эх... Танки наши быстрые...

Эдак обрадели мы от пару и жару, что и не узрели, как меж тучек промелькнул ихний «фока» — раз да другой — сперва над деревней, а потом и над леском, где мы раскулачили свои танки. После об этом нам местный парнишка рассказывал, уже приученный караулить небо.

Ушлый «фока», должно, всё до тонкостей разглядел и раскумекал. Дымы над банями — это не иначе как праздник в деревне. Однако по свежей тропе, протоптанной из лесу к баням, понял «фока», что это вовсе не русский праздник с куличами и самоварами, а обыкновенная солдатская помывка. Вон и сами солдаты забегали по тропе с белыми подштанниками под мышками. Тут «фока» и сообразил, что ежели на одном конце тропы бани, то на другом должна быть воинская часть. Оставалось только разузнать — какая? И пилот ещё раз отклонил рукоятку штурвала и залёг в плавный вираж над лесом. «Ага, вон в чём дело, — догадался он, — лесная поляна вся в гусеничных следах и еловые ветки почему-то свалены в кучи. Русский Новый год давно прошёл. А кучи-то недавние: на концах — свежие порубки. Тут и гадать нечего, какие игрушки под ветками спрятаны. А ещё недавно три легковушки из этого леса выехали... Кто же по передовой на шик-машинах катается? И глупой немецкой козе понятно — генералы (по-русски: комбриги, комдивы)! Пилот даже подпрыгнул на радостях в узкой гробовой кабине своего «фоккера» и тут же надавил на пупку радиосвязи.

— Так, небось, и было, — заключил Петрован. — А то б откуда было взяться сразу двум тройкам восемьдесят седьмых юнкеров? Один из них откололся и сыпанул по баням, а остальные шершнями набросились на ельник.

Крайнюю баню раскатало по брёвнышкам, даже калильные камни размело, как горох. Правда, та баня была пуста, её топили для Кукареки, но он вышел по своим делам, а потому никого не ушибло, не зацепило, только галифэ повесило на берёзу. Но по чёрным дымам было видно, что в лесу юнкера наделали тарараму. Бежали мы туда кто в чём — в не своих бушлатах, в перепутанных валенках, иные недобритые, с мылом на висках... Вот тебе и «броня крепка»! Снятые бронелисты позакидало аж на болото, в двух машинах горели раскрытые моторы. Хорошо, что мы свой Бэ-семнадцатый на деревню свезли, а то неизвестно, как бы ещё обошлось: кругом дерева горели, роняли огненную хвою, тлеющие ветки...

Людей тоже потеряли: двух ремонтников — уже помытых, набаненных — наповал, а третьему — ногу по самое колено...

А комфронта перед строем говорил: «Днями, помывшись, будем брать Руссу»...

На дворе раздался заполошный крик кочета: видать, Евдоха, дождавшись-таки возвращения блудного петуха, пустилась за ним по дворовым заулкам — победную лапшу готовить. «Што ты? Што ты? — высокоголосо возмущался петух. — Я ничево такова! Ничево такова!...»

Петрован, оборвав рассказ, насторожённо вертел головой, водил ею за криком, потом привстал с табуретки:

- Пойду скажу, чтоб не ловила... Я к тебе на минутку, а она вон на весь аршин...
- Девятое мая, — напомнил Герасим. — Рази не аршин? Прожитое мерять...
- Я всё ж выйду, скажу... — окончательно поднялся Петрован.

Когда он появился на крыльце, Евдоха уже стояла возле поленничной плахи с петухом под мышкой и капустным секачом в руке. Петух в крупно связанной серой одежке, с долгими жёлтыми ногами и бордовым зубчатым гребнем, упавшим на правую бровь, немигающе вызрелся на Петрована большим округлым зраком цвета кетовой икры и, казалось, ждал от него последнего слова.

— На-кось ты, — Евдоха поддала петуха бедром. — Мужичье это дело. А то запыхалась, загонял он меня, скаженный, аж руки трясутся...

— Полно тебе! — вскинул обе руки Петрован, не сходя с крыльца, боясь, что, ежели сойдёт долу, то настырная Евдоха уговорит сечь петуху голову. — Ничего не надо! Никакой лапши! Я заскочил только показать Герасиму медальку. Должны бы дать ему, а вот, вишь, выдали мне. Ошибка вышла... Так что брось, брось, отпусти петуха.

— Дак ить праздник! Ваш, ветеранский! — продолжала тяжело дышать Евдоха. — Положено. Рази я б за ним зазря бегала б, сердце не даёт ходу... По радиву, небось, одни марши...

— Оно верно, — согласно кивнул Петрован и оглядел сплошь синее небо. — Ноне, поди, на Красной площади парад был. Войска в золотых поясах, музыка в тыщу труб... Праздник! Но ты, Евдокия, погляди только: петух ить сам тоже праздник. Душа ликует на него глядеть. Ты только посмотри, какая красота! Это как же природа придумала такое?..

Евдоха с сомнением покосилась на кочета: верно ли красавец?

— А стать-то какая! Как держится, как глядит! Прямо маршал. Вылитый Георгий Константиныч! А ты его секачом хочешь... Какой же после того праздник? Да никакая лапша в рот не полезет...

— А подь ты!.. — отшвырнула секач Евдоха. — Хотела, как лучше...

Она отпустила кочета, и тот, ступив на землю, не побежал стремглав, а, встряхнув свой строгий боевой мундир и как бы осуждающе покосившись на широкую лёзгу капустного рубила, направился к пряслам твёрдой размеренной поступью.

— Всё! Отговорил! — возвратился довольный Петрован. — Какая к ляду лапша? И так закуску ставить некуда. Давай, служивый, под яишанку, а то, поди, вовсе остыла.

— Не-е, друг мой. Я — баста. Хватит, — отрицательно повёл носом Герасим. — Пришёл мой предел.

— Нескладно как-то получается... — поскрёб за ухом Петрован.

— То-то же: хвороба придёт, дак ноги сведёт, а руки заедин свяжет... Весь тебе и склад...

— А ежели короткими перебежками? По чуть-чуть, и опять за кочку?

— Нет, братка, ты беги один, ежели охота, а я с тобой не побежчик...

— Один — и я ни с места, — погрустнел Петрован и отставил от себя рюмку. — Одному — совестно как-то. Будто середь бела дня крадёшь. А с другом — завсегда пожалуйста. И то, чтоб не молчаком. А, Гарась? Слышь? Ну, хоть сколько осилишь...

— Эт, какой! — заскрипел койкой Герасим. — Взаправду — «броня крепка»... Ему так, а он тебе — этак.

— Дак за Победу же! — Петрован сызнава приподнял свою стопку. — Святое дело! Глядишь, оно и полегчает. Вот, в районе мужики говорили, будто нынче на небе новая звезда должна объявиться. Этой вот ночью, которая придёт. Из трёх мест будет видать: с Невы-реки, с поля Куликова, а ещё — с Волги... с южных её мест..Ты там

тоже бывал... И получается святая троица: Александр Невской, Дмитрий Донской и ... Георгий Жуков... Больше некому с Волги быть... А ты противишься, не хочешь...

— Тади давай... — опять заскрипел, привставая Герасим. — Токмо я палец обмакну да пососу... Небось, там засчитается... Моё причастие...

Так и сделали: Герасим, немощно изловчась, омочил заскорузлый мизинец в своей долгой рюмке и, высунув сивый обложенный язык, подождал так раззявленно, пока с конца пальца сронится золотистая капля с острым лучиком нисходявшего дня, тогда как Петрован, будто и взаправду под ракетными всполохами, поспешно, не пригибаясь, единым махом осушил свой припас.

— Как гвоздь заколотил! — похвалил он себя и с бодрейшей испробовал голос, протянул речитативом: «Хороша ты, степ, — степ раздольная, степ стрелецкая, ой да молодецка-а-йя!» А то ещё была «кубанская» — четыре двенадцать стоила. Тоже хорошая, но эта, кажись, получше».

Уважительно приподняв почти порожнюю посудинку, Петрован сощурился на яркую картинку с бравым казаком в папахе, уронившей красное обвершьё на его правое плечо, и спросил как бы у стрелецкого казака:

— Дак чего? Будешь ли про мою войну слушать? Али утомил я тебя совсем?

— Да говори чё-нибудь... — отозвался за казака Герасим. — Говори, а я поотдыхаю...

— Ну, тогда доскажу... — Петрован уважительно поставил бутылку на место. — Мой сказ недолог. Это ежели б ты про свою войну порассказывал, как аж до самого Гитлера дошёл, то, поди, и в неделю не управился б... А я што: трах-бабах — и в дамках. Ну, стало быть, устроил нам немец лесную баню. Прибегаем, а ельник вокруг поляны горит, аж стволы ахают, серый хвойный пепел дыхание застит, сама поляна парной землёй закидана... Давай на уцелевших танках ближние деревья валять, подальше оттащить. Нашу безмоторную машину, да ещё которую без ленивца, на тросах тоже в затишок оттащили. А те три, что уже горели, пытались снегом закидать, да куда там... Потом всю ночь бронелисты искали да на полураздетые танки прилаживали. А ведь нам завтра с рассветом — в наступление, в разведку боем! Сам командующий, когда смотрел батальон, вручил такой приказ командиру боевой группы, к которой мы были приращены. Курочкин отбыл в полной уверенности, что танкисты после баньки и стограммошничка этак завтра навалятся на нежданного врага, а оно, вишь, как получилось: восемь единиц, которые в дороге поломались, так и не дошли до нашей передовой. Дохлое дело — на ходу ломаться: запчасти в лесу не валяются, на деревьях не растут. Каждую бубочку добыть надо, похлопотать, пообивать пороги помпотехов. Да и кто этак вот сразу даст тебе — чужому, ничейному экипажу? А ежели и починят, то больше не отпустят, себе заберут. Потому как танки всем позарез нужны. Так что этих восьмерых ждать было нечего, тем паче — наступало распустье, когда по тверским заволочьям не то что тридцатитонный танк, а никакая собака не проскочит. А из тех девяти штук, которые добрались-таки до места, пятеро втемеж и вышли из строя: двести вторая и двести сёмая выгорели дотла, а у двести пятой — своротило башню, а у десятки Ёжикова порвало гусеницу, срубило правый ленивец. Наша двести шестая, на ту пору безмоторная, тоже оказалась не на ходу. Но командир боевой группы не стал вычёркивать нас из списка живых, а велел отбуксировать на исходную позицию для огневой поддержки разведотряда. Хотя какая к ляду поддержка — у нас в танке оказалось всего шесть снарядов. Обещали доэкипировать по прибытии, да с боепитанием тоже вышел затык.

Наконец-то хмуро забрезжило. Вокруг — серая тишина. На исходном рубеже, за стылой бронёй, хуже, чем до бань, чумазые, ни крохи не спавшие экипажи. Без всякой артподготовки, без единого выстрела, по одной отмашке шапкой, на малых оборотах,

втихую выкатились тридцатьчетвёрки с пехотой по-за башнями. Пошли, пошли по-маленьку. Танки рябые, плохо видные, их ещё в лесу припоросило снежной осыпью. Автоматчики тоже заиндевелые, закиданные гусеничными выбросами. А деревню Кудельщину, куда выдвигалась бронепехотная группа, ту и вовсе не видать за утренней кунжой. Самая левая машина, Лёхи Гомелькова, шла по дороге, ей было полегче, и она дальше всех ушла вперёд. Остальные три направились полем. И вот уже слышались сердитые взрыки моторов. Это означало, что снег глубокий, и на отдельных участках приходилось лбами таранить сугробины. Оно, конечно, не хотелось, чтоб так оборотились движки, надо бы потише, но пока всё обходилось, немец, кажись, ничего не чуял, и та сторона оставалась нема и глуха. Мы выглядывали из своего запряженного танка и обмирали от ожидания: что-то будет, как-то будет...

А было вот как... Ты не спишь, Герасим?

— Не-к...

— А сталося, говорю, вот как... Пока танки барахтались на этих двух километрах — и вовсе рассвело. И увидели мы, как на дороге что-то сверкнуло, и там, где была двести одиннадцатая, подняло облако снега. Когда снег опал, машина оказалась развёрнутой поперёк дороги и никуда не двигалась. Должно, на мощную мину наскочила. Тем же моментом над деревней взнялась малиновая ракета, и по всей полосе деревенской застройки завспыхивали выстрелы, а по снежной целине зачиракали пулемётные и пушечные трассы...

Наш радист Гомельков завертелся на своём сиденьи, принялся дёргать командира за штанину: дескать, чево зря сидим, давай и мы пальнём, наших поддержим. Но Катков, смердя на весь танк цигаркой, только отпихнул Лёхину голову в замусленном шлеме, мол, сиди-помалкивай. А и верно: куда палить-то? Ни хрена ведь не понять, где чего... Просто по деревне — для тарараму? Да снарядов жалко. Их у нас всего-то шесть штук. Может, ещё взаправду понадобятся...

Но в тот раз так и не понадобились, снаряды-то... Катков не успел докурить цигарку, как двести первая занялась огнём. Тут же соседская с ней двести тринадцатая чёрный дым выбросила, и тот пошёл виться клубами, забирать в высоту. Крайняя, правая тридцатьчетвёрка, не помню её номера, начала было сдавать назад, но сама же задом нагребла чуть ли не с овин снега, загородила себе отступление. Давай делать боковые развороты, туда-сюда вертеться, дурья башка. Тут левым бортом и словила боковое попадание. Должно, по самым бакам. Потому как разом полыхнуло, аж снег багрово окрасился... Ну, а десантники... А что десантники? Тех, как воробьёв ветром — ни одного при танках не осталось. А куда девались — леший их знает! Небось, по сугробам залегли. В таких-то снегах разве их увидишь?..

Сдёрнув кепарики, пригнувшись и вобрав головёнки в кузнечиковые плечики, будто в деревенском кинозале, где уже начался показ картины, неслышно пробрались к дверям Герасимовой каморы и присели на пол у притолоки те самые пацанята — Колюнок с Олешкой... Они уже знали по опыту, что ежли Петрован возвращался из района с бубликами через плечо, то непременно начнёт вспоминать про свою жизнь. А нынче ещё и медаль получил — должно быть вовсе занятно. А то, что к началу они приподнились маленько, так это всё тётка Евдокия не пускала, жадина. Растопырившись на крыльце: нет и нет! Дескать, Герасим хворый, неча докучать. Но вот уговорили, уканючили — пустила, но чтоб ни-ни...

— А-а! Братики-кондратики пожаловали! — обернулся Петрован. — Давние мои слухачи! И уже в цыпках! Аккурат приспел час про главную мою баталию поведать. Ну, слушайте, мои хорошие, слушайте. Вот вам сушки для веселья. Сидите да погры-

зывают... Ну, стало быть, через пару дней наконец-то поладили мы со своим мотором, поставили его на место. Я даванул стартер — мотор рывкнул, будто оголодал, хватанул с полутыка! Заглушил, а потом снова даванул, а он — опять враз искру хапнул. А в нём — более шестисот коней! Ого-го! Зверюка какая! Для интересу пнул лбом матёрую ёлку, та — брык вверх кореньями! Сосна пополам изломилась бы, а ёлка завсегда с корнем выворачивается, будто на тебя медведь, задравши лапы, восстал. Правда, не всякую ель опрокинуть можно, но по мотору чую, что наш-то всякую завалит! С тяжёлого бомбардировщика взят, с Тэ-Бэ-первого. Вон какой нахрапистый!

Вот тебе политрук Кукареко — мрачный, глядит под ноги, на серые катанки. Должно, переживал после той неудачной атаки. Дак и заперезживаешь: на тот день никакого батальона уже не было. В наличии одна наша машина осталась. Только-только на собственный ход встала. Да ещё «десятка» в кустах пряталась, ждала: с подбитой снимут ленивец, а на неё поставят... Остальные, ещё «живые» борты, числились в отставших. Но машины сгорели — ладно: не зная ничего, с ходу на рожон сунулись. Главное — ребята не вернулись. Из четырёх экипажей, которые тогда на Кудельщину пошли, а это, считай, шестнадцать человек без десантников, уцелели только трое. Остальные — все истекли кровью в железных коробах, заживо погорели. Их ещё и не хоронили, так в горелых танках и остались. Как их оттуда возьмёшь? Немец пристрелялся, пикнуть не даёт. Теперь уж заберут, когда отобьют Кудельщину.

Кукареко оглядел поваленную ёлку да как заорёт, как заматерится: «А ну, прекратите мне эти штучки — ёлки на передовой валять!» — «Да мы мотор после ремонта малость попробовали...» — объяснился я как механик, ответственный за ходовые механизмы. — «Вот я т-те попробую, мать-перемать! В штрафную захотел? С банями катавасию устроили, дак мало им, они ещё и у немца под носом дерева давай валять!» — «Да мы всево-то одну ёлку...» — «А немцу и одной ёлки достаточно. Он на нас во все бинокли глядит. Вот возьмёт, понимаешь, и накидает «бураков»...»

Бураками у нас метательные мины назывались: хвост у них на обрубленную ботву похож — вылитый бурак!

А политрук всё пинал ёлку валенком: «Понимать же надо: шархнет квадратно по тому месту, где ваша ёлка, падамши, снег взбучила, да и угодит по танку. Вот, пока я тут с вами канителюсь, он, небось, уже наводит свои миномёты. А мина опаснее снаряда, она, подлая, сверху падает. Может аккурат в моторную часть угодить, в самое уязвимое место. А нам ваш танк целым и невредимым позарез нужен: завтра сызнава пойдём на Кудельщину...»

Лёшка Гомельков возьми и хихикни: дескать, один, что ли? Кукареко этак строго посмотрел на Лёху, должно, ему не понравилась эта Лёхина подковырка, и сам спросил Гомелькова: «Что значит — один? Тут что — сплошные дураки командуют? За такие слова, понимаешь... Танковый экипаж один, это верно, но с вами пойдёт десантный батальон лыжников, артналёт сделаем, «катюша» подыграет... А ещё двое азросаней с крупнокалиберными пулемётами. Так что давайте, и чтоб к завтрашнему утру машина была, как часы. И чтоб Кудельщину взять без разговоров!» А Лёха ему:

— Дак у нас шесть штук снарядов только...

— У двести десятой возьмёте. Она всё равно без ленивца никуда не пойдёт. — И позвал командира танка, — Катков! К шестнадцати ноль-ноль в штаб группы на уточнение операции.

В прихожей раздались женские голоса — шумливо, звончато, перескакивая один через другой, как на базаре. Это пришла Петровна Нюша и сразу, с порога, вступила с хозяйкой в словесный колдоворот, из коего можно было различить разве что отдель-

ные слова и понятия: «Вот околотень! Ну, бродень!» — «Да тута, тута...» — «Двое дён, как дома нету» — «Ну, будя тебе... Не под забором ляжит» — «Ищо чево — под забором...» — «Ой, гляжу, на тебе кохта новая? Гдесь таку отхватила?» — «Кой — новая! Понюхай, нахталином разит» — «А как сѣдни куплена!» — «На какие шиши? Пенсию третий месяц не кажут» — «Да ты проходи в горницу-то, проходи, не разбувайся: в мае грязи не бывает» — «Да я на секунд один, своим глазом глянуть, живой ли?» — «Живой, живой!» — «А твой как? Не легшает?» — «Ой, девка, уже и не ходит, видать, к тому всё идёт. Но сѣдни — тьфу, тьфу — вродя ничево тамотка балакают. День Победы справляют» — «Ну, я своему насправляю — мимо дома пробегать!» — «А чево это у тебя под кохтоу-то?» — «Да тут... Вот ждала, думала, придёт, а он, вишь, по гостям...»

Нюша, сопровождаемая Евдохой, заглянув в камору, продолжила начатое ещё в прихожей:

— Ага-а! Вот ты где, голубок! На чужих хлебах устроился! А я, дура, в окна выглядяю: идёт — не идёт. Вот уж сонце к земли пошло, а ево всё нету и нету. Думаю, электричка запаздывает... А он туточки... Медалью похваляется...

Петрован, сбитый со своей главной мысли, ёрзал на табурете, воздевал руки, пытаясь отыскать прореху в потоке Нюшиных попреков, но только виновато косноязычил:

— Дак а мы чего? Мы — ничего... Герасим дак и вовсе...

А Нюша как из жѣлоба:

— Глядела-глядела, да и осенило: не иначе как у Герасима — нынче один он из ветеранцев остался — да мой ишо. Дай, думаю, забегу, проверю, а то душа сронилась. Времена-то какие: кругом одно охайство. Да ежли ишо сам выпимши...

— Да ничего такого... — упорствовал Петрован.

— Как это ничево? А вон, вижу, бублики на верёвке... Твои?..

— Нолики? Ну, мои... Дак это я ребяткам.

— И глаза не на месте, веки не держатся. А ну, глянь на меня, глянь, глянь прямо!

— Дак за какие ляды? Всего-то и дала двадцатку... Кабы б к медали да по стопарику — солдатское дело, а то даже на музыке не сыграли. Иные потом сами складывались — день-то какой! Победа! Но я отошёл: мне на электричку надо было. Так, на вокзале кружку пива по-быстроу — и домой! Вот у Герасима початая была — всего нам и веселья.

— Да я не за то... — Нюша наконец высвободила из-под кофты глиняную миску и, на весу освобождая её от рушника, поставила на свободную табуретку. Миска доверху наполнилась румяными шаньгами, ещё веявшими теплом и сметанным духом подового печева, томлёной картошки и жареного лука. — Я ж их под подушку и кожух сверху... Ну, давайте, пока тёпленькие. Ребятки, Колюшка, Олежка, вы тоже берите, берите...

— Ну, как налетела, сполоху наделала! — мотнул головой Петрован, когда Нюша, наконец, ушла, наказав съесть шаньги, пока теплятся, и не сидеть до звёзд. — Перебила весь наш порядок. На чём-то я прервался, не вспомню...

— Как собрались итить на Кудельцину... — подсказал Олежек.

— А-а! Во-во! — воспрянул Петрован. — Собрались, значит, ждём момента. И вот, как сейчас помню, в шесть ноль-ноль утра, по самой ранней серости, ещё немец не пивал кофею, заговорила наша матушка-артиллерия. Из-за леса, с закрытых позиций враз ударило несколько батарей. В сумеречном небе заковытали первые гаубичные снаряды и объявились беглыми вспышками по всему закравтаку деревни, где у него была нарыта оборона: бах-бабах, бах-бабах! Будто баба половик выколачивает. Тут же мимо нашей тридцатьчетверки, грюкая лыжными палками, пошли десантники в белых халатах — видны только вещмешки да карабины.

Пришло время и нам выступать, пока артиллерия наш мотор заглушает. Но мы не пошли на рожон открытым полем, следом за лыжниками, которых было предписано поддерживать, а на свой нос помчались краем леса влево, вроде как прочь от боевых порядков. В том месте ельник пересекала не шибко великая речушка и убегала к левой околице Кудельщины. Мы с командиром Катковым ещё вчера наведались к её берегам. Речушка бурливо плескалась по промытому камешнику и этой своей прытью не давала заметить себя снегом и схватывать льдом. Вот тогда-то мы и решили: не переться по открытым полевым заснегам и сугробам, а прокрасться к деревне по речному руслу. Было нам на руку и то, что берега речушки застили нас ольхами, раскидистыми ивами, путаным черёмушником и всякой поречной всячиной. Мы, конечно, рисковали: могли залететь в опасный омут или сесть днищем на лобастый валун, и тогда, считай, хана — за порчу военной техники и бегство с поля боя. А мы и на самом деле очутились далеко от того поля, куда ушла наша белая пехота. Там уже гремело вовсю: в полумраке рассвета слхлёстывались, пересекались ихние и наши огненные трассы, вытягивали змеиные шеи осветительные ракеты. А у нас тут — дремотная глухомань, сцепившиеся над головой заснеженные деревья да бег чёрной воды по извилистому камешному руслу, которое порой так закручивалось, что танк повёртывался к передовой своим задом. Мы пробирались с открытыми люками: я себе распахнул, командир — себе. Башню развернули пушкой назад, чтобы не цеплять ею встречные сучья. Встречались и настоящие туннели из веток и снега, куда в полной темноте заныривать было даже страшно-вато. Сверху рушились пласты слежалого снега, разбивались о броню, снежной кашей забивало люки. Но на снежную кутерьму мы не обращали внимания: снег не грозил ни поломкой, ни ушибами. Опаснее было напороться на матёрую дровину. Катков то и дело втягивал голову в люк — уклонялся от хлеставших по башне веток. Иногда такие попадались дурики, что, чуть зазевайся, снесли бы голову, как качан капусты с кочерыжки. В таких случаях Катков постукивал ручкой нагана по башенному железу, дескать, не газуй, полегче, потише... Но стучи не стучи, а газовать приходилось, куда денешься: на крутых извилах реки танк залетал в бочаг, опасно кренился на бок, и тогда в бортовых ящиках гремели, пересыпались гаечные ключи и отвёртки, а мы с пулемётчиком Лёхой задирали валенки от набегавшей в машину воды. Но всё обходилось без чепэ: речушка в здешних местах ещё не набрала глубины — она появится пониже, и только пугала своими суводинками и портомоями, в которых и впрямь деревенские женщины прежде полоскали ребячьи порты. Но всё-таки приходилось натужно выскребаться железом гусениц из заиленных омутов, благо что немец, отвлечённый боем, не слышал моторного рыка. Но и мотор — молодец: ни разу не подвёл — нечихнул, не поперхнулся, а только гневно взывал и расшвыривал голыши.

Каждому про себя было тревожно — куда мы, и что будет, пока, наконец, командир танка Катков не выкрикнул в переговоры:

— Люки з-закрывать! Башню — на место!

— Есть — люки закрыть! — откликнулся я и потянул рычаг стальной плиты, которая запирала выход из танка как раз перед водителем. Следом грохотнула крышка башенного люка. Колко засветилась лампочка-маловольтовка. В полутьме проступили смотровые амбразуры — одна передо мной, оснащённая триплексом, и другая, круглая, едва просунуть палец, — в пулемётной маске перед Лёхой Гомельковым. Сбоку мне стал виден его левый глаз и то, как он напрягся и беспокойно шевелил зелёными камушками роговицы.

— Костюков! — окликнул меня из башни командир. — Давай на берег!

— Есть — на берег! — почему-то обрадовался я, чуя, как эта команда сняла с души гнетущий натяг, который теснил меня, пока мы прорывались по запутанному и за-

снежному руслу. Такое я испытывал при первом рывке плуга, с которым начиналась озимая пахота — самая большая работа в моём довоенном пацанстве. А проще сказать, называлось это: «А-а, была-не была!»

Я выглядел на правом берегу подходящую пологость, надал газку, и машина, вскинувшись, разбрасывая битый лёд, вынесла нас в прогал меж зависшими и оснеженными зарослями.

Оказалось, мы выскочили на берег гораздо дальше, чем рассчитывали пройти, и очутились по-за линией обороны немцев.

— Гляди-и! — сдавленно произнёс Лёха, припавший к пулемётной дырке. — Чего вижу-у!..

Но это же видели и все остальные...

В какой-нибудь сотне метров, позади коровника не то овчарни, с давними обрушениями в кровле, обустроилась немецкая миномётная батарея. Четвёрка «самопалов», круто задрав стволы, вела стрельбу из-за укрытия с аккуратно расчищенных от снега огневых позиций. Между округлыми площадками зияли узкие ходы. Такие же аккуратные, охлопанные лопатками по брустверу траншейки вели к двум ближним измам, где — я теперь сам представлял это воочию — миномётчики отдыхали между стрельбами, пили деревенский самогон под уворованную курицу, отогревались на русской печи, а в наилучшем расположении духа — пиликали на губных гармониках, присланных им в числе новогодних подарков из далёкого и нежно любимого фатерлянда.

Из нашего танка было видно, как прислуга, в белых дублёных шапках с козырьками и войлочных бахилах поверх сапог, неспешно, заученно обслуживала свои орудия, похожие на выдрессированных собак, каждая из которых сидела на круглой плите, будто на коврике, подпёршись расставленными передними лапами. Долгий немец в форменной фуражке с наушниками, должно, офицер, каждый раз поднимал руку в красной варежке и, дождавшись, когда заряжающие предстанут каждый перед своим зверем с тем самым «бураком» с подрезанной ботвой, неистово орал: «Ф-фойер!» и делал резкую отмашку красной вязанкой. Прислуга опускала в каждую пасть по «бураку», и тогда все четыре глотки дружно издавали своё злобное «г-гаф!», сопровождаемое дымными выхлопами.

Немцы наверняка не видели нас, а если и слышали шум мотора, то не обратили на это внимания, приняв его за собственные тыловые передвижения. Они вели себя так, как если бы нас вовсе и не было у них за спиной.

Но мы-то были! Припавши к смотровым щелям, мы жадно и в то же время боязливо глядели из своего танка, затаившегося в прогале чащобника.

Честно признаюсь, было как-то не по себе начинать бой с такой близости. Куда б ни шло — начинать издаля: пока сблизилась бы да огляделась, может, и вошли б в раж. А тут — нос к носу. Вот — они, а вот — мы. Тут — как в ледяную воду... Командиру нашему, Каткову, может, и ничего: он уже побывал под Смоленском, даже горел в своём хлюпеньком Тэ-шестидесятом, а все остальные — и Лёха Гомельков, и заряжающий Матвей Кукин, и я, ничего не видели, кроме полигона, а уж живых немцев — и вовсе. Лёха от волнения даже принялся машинально шарить по карманам насчёт курева, как в переговорной раздался сдавленный до сипа голос командира:

— Кукин! Осколочным — з-заряжай! Гомельков! Смотри там... И — полный вперед! Чтоб ни один не ушёл... Вып-полный!

У меня над головой железно заклацал орудийный замок, и я тут же включил стартер и дал газу. Танк взревел, как бык перед сшибкой, и, окутанный взбитым снегом, ринулся на батарею. Ошарашенные миномётчики так и остались стоять каждый на своём предписанном месте. Ихний офицер даже забыл опустить руку в красной ва-

режке. И только после того, как возле дальнего, четвёртого, миномёта грохнул наш осколочный, а справа от меня долгой очередью полоснул Лёхин пулемёт, немцы по-тараканьи забегали по огненным позициям, ища спасительные щели.

Лобовой удар по торчащему миномёту я даже не почувствовал, а только краем глаза успел схватить, как ствол надломился подобно папиросному окурку. Второй и третий миномёты я не видел вовсе, но, работая фриക്ഷонами, крутил танк то вправо, то влево, чтобы раздавить, смять и растереть в порошок эти пакостные устройства, тогда как Лёха всё лупил и лупил из пулемёта, наводя суматоху и тарарам. Я остервенело утюжил миномётные позиции до той поры, пока не увидел, как откуда-то выскочил и побежал по снежной траншее тот самый ихний офицер, что в красных вязанках.

— Лёха! — закричал я. — Главный фриц убегает... Который в детских варежках... Полосни по нему!

— Где?

— Да вон, в траншее! Вишь, фуражка мелькает!

— Да где, где мелькает-то?

— А-а! — подосадовал я, увидевши, как фриц добежал до избы, вскочил на порог и скрылся в сенях, заперевав за собой дверь.

— Командир! — окликнул я Каткова. — Шарахни по избышке! Там ихний офицер спрятался.

— Снаряда жалко. Уже один истратили...

— Ну, тогда я сам...

Я развернул танк, подстегнул его газком и с разбегу поддел избу левым бортом. Изба морозно завизжала, посыпались стёкла, потом завалилась на бок и осыпала себя снегом и мусором с провалившейся кровли.

— Всё, кранты! — заверил Лёха. Но командир осадил:

— Ладно — за каждым немцем гоняться. Давай вперёд, пока нас не нанюхали. Тогда и будут кранты.

Мы рванули по улице этой самой Кудельщины. Постройки на обе стороны, рубленные в лапу. Под толстым снегом на крышах дома казались приземистыми и мрачноватыми, как лесные сторожки. В тех, что выходили задом в поле, к фронтовой нейтралке, в сараюшках, хлевах и баньках темнели пропиленные амбразуры. Сама же улица была аккуратно расчищена от намети и даже стояли всякие указатели на полосатых столбиках. Видать, немцы чувствовали себя здесь безопасно и собирались оставаться тут надолго, а то и навсегда.

Впрочем, как я узнал потом, это была ещё не Кудельщина, а окраинный посад, превращённый в опорный пункт, охранявший армейские тылы и базы, находившиеся в самой Кудельщине — большом, обжитом немцами селе с казино и кинопередвижкой. Почти всю зиму наши пытались его взять, но всё как-то не получалось. Скорее всего, оттого, что шли в лоб и, как всегда, на авось, что и убедило немцев в их неприступности.

Но зевать по сторонам было некогда, и Лёха, отирая пот, строчил по разбегавшимся немцам, а когда те прятались в избах, я с ходу поддевал углы домишек и те, рушась, заставляли немцев снова выскакивать наружу.

— А-а, гады! — сквозь зубы сосал воздух Лёха. — Не нравицца!

Несколько раз в нас бросали гранаты, эти самые «толкучки» с длинными деревянными ручками — в самый раз картоху толочь. Броня гудела от их разрывов, но держала удары, только закладывало уши, и это пуще обозляло нас. На предельной скорости раздавили второпях выкаченную пушку, потом размазали, как козьяву, какую-то легковую машину, из-под которой высоко взвилось переднее колесо и потом ещё долго

катилось впереди танка, следом опрокинули три крытых грузовика, скопившихся у штабистого дома. Один из них тут же задымился, застыя улицу обильным и плотным дымом. Пока мы освобождали пушку, захватившую в развилку берёзы, дым достал и нас за танковой бронёй. Командир включил башенный вентилятор, а я принялся выводить машину из задымлённого места, потому как дым не только скрывал нас от врага, но и не давал видеть самого врага и того, что он предпринимал.

А между тем немцы решили выдвинуть против нас самоходное орудие. Мы не сразу увидели его. Самоходка пряталась между двумя домами в глубоком капонири. Сверху её прикрывали нависшие ветви старой ракиты, которая служила ещё и вышкой для наблюдателя. Из этой норы самоходка, должно, вела огонь по тем нашим танкам, которые два дня назад остались в снегу после неудачной атаки. Наверно, с этой ракиты корректировщик и оповестил самоходку о нашем появлении на улице, а сам скрылся. Теперь самоходка готовилась расправиться с нашим танком из своей долгой пушки с дырчатым набалдашником. А калибр у неё был подходящий, и лучше не попадаться в её прицел, особенно на таком близком расстоянии. Запоздай мы на пару-тройку минут, так бы и произошло: самоходка успела бы занять выгодную для себя позицию. Но сейчас, чтобы выстрелить в нас, ей надо было сперва вылезти из своего укрытия, потому как её пушка не имела кругового вращения. Но даже если бы она его имела, то всё равно ей помешал бы развернуться ракетный ствол. Так что самоходке пришлось выбираться на свет Божий под дуло нашего орудия, и она яростно взревела и, окутываясь сизыми выхлопами, резко дала задний ход. Но мгновением ранее позади меня снова клацнул оружейный замок, танк дёрнулся откатно, башня наполнилась кислым духом горелого пороха и медным зыком выброшенной гильзы. Это Катков молча влез в самоходку, в её грузный курдюк, вымазанный под зиму белой краской, второй наш снаряд из тех шести, что имелись. Самоходка перестала вычихивать синий дым и снова съехала в своё стойло и только там задымила чёрно и густо...

— А теперь куда? — я снял рукавицы и потёр онемевшие от рычагов пальцы.

— Вперёд, куда же! — сказал Катков. — Как с горючкой?

— На пределе...

— Было же почти целый бак?

— Речка всё выхлестала. Валуны да завалы... А последний раз заправлялись аж в Калинине.

— Может, самоходку подоить? — посоветовал заряжающий Кукин.

— Это всё равно, што чужую кровь залить... — побрезговал Лёха. Он продолжал глядеть в пулёмётный глазок на подбитую самоходку.

— А они на своей «крови», што ли, ездят?.. — съязвил Кукин.

— Подоить бы можно, но не успеем, — засомневался Катков. — Пока разберёмся, где у них краники, то да сё — может рвануть. Вон, вишь, как занялась: я ей, кажется, под самый дых саданул...

— Знать бы, где теперь наши, — проговорил своё заряжающий Кукин. — Дошли до деревни али нет? Слышу — бабахают, а кто? Куда? Хоть бы ракету пустили...

— По ракете тоже не поймаешь...

— Допустим, две красных, одна — зелёная, как дойдут. Пошло-то много...

— Чего теперь... — Лёха почесал под шлемом. — Закурить бы! У кого есть?

— Какие перекуры?! — отрезал Катков. — Погнали, погнали, пока целы. Ещё малость пошуруем...

— Э-эх, лучше бы мы тогда перекурили напоследок! А то што ж... Дальше и говорить нечего...

Едва мы отъехали от самоходки, едва на перекрёстке Катков припал к обзорному перископу, чтобы оглядеться, определиться, где мы находимся, как в башне ужасно грохнуло и так, братцы мои, сверкнуло, будто при коротком замыкании. Тесный короб танка наполнился кислой вонью перекалённого железа. Каким-то смерчем с меня сдёрнуло плотный ребрастый шлем, а в оголённой голове сотворилось такое, будто в неё вкачали несколько атмосфер. Я мигом оглох, ослеп и полетел в тар-тарары, в какую-то темень и собственное отсутствие.

Сколь меня не было на этом свете, я не знал и до сих пор не знаю. А когда всё-таки очнулся, то, напрягшись, попытался узнать — жив ли ещё кто-нибудь. Но мне никто не ответил: небось, голос мой не имел звука и потому не был услышан.

Я принялся ощупывать себя, чтобы понять своё положение: что осталось цело, а чего уже нет... Сразу же дошло, что я напрочь не вижу. В ушах потрескивало, как в шлемофоне после грозы. Тупой болью ломило голову. Подвигал ногами — вроде бы на месте, нигде не щемит, не саднит. Цапнул левую руку, а рукавица, как козье вымя, налилась кровью и уже начала засыхать и кожаниться. Сквозь шум в ушах я всё-таки расслышал, как в стальной тишине танка сбегавшие с рукавицы капли моей собственной крови торопливыми шлепками разбивались о гулкий железный пол. Я подставил под рукавицу ладонь правой руки: капли сразу же перестали шлёпаться о железо, и я убедился, что это действительно капала моя кровь. Попробовал пошевелить пальцами, но отозвался только большой да, кажется, указательный, остальные промолчали. Мокрую рукавицу я стаскивать не стал, всё равно ничего не увидел бы, а достал из кармана комбинезона рулонку изоляции, которую всегда носил с собой на всякий водительский случай, и, как мог, обмотал руку выше кисти смоляной лентой.

Правый глаз по-прежнему мучала острая помеха. Я не мог даже переморгнуть веком и вынужден был держать его опущенным. Было ясно, что это от броневой окалины, осыпавшей всё лицо, которое теперь щемило, как после бритвенных порезов. Левый же глаз, хоть и не давал о себе знать, но был залеплен каким-то кровавым студнем, перемешанным с волосами. Пальцами уцелевшей руки осторожными шажками я прошёлся по липнувшей массе и понял, что взрывом с моего темени, помимо шлема, сорвало ещё и кожу вместе с училищной сержантской причёской и вроде уха легавой собаки набросило мне на глаз. Марлей из личного санпакета я кое-как обмотал голову и оба глаза, а сверху натянул валявшийся под ногами изодранный осколками шлем. Но под ним что-то опять закоротило и вырубил моё сознание.

Сызнова в себя я пришёл, наверно, оттого, что в моё лицо сквозяще, остро поддувало снаружи. Я протянул руку: водительский люк напротив меня был приоткрыт. Захлопнуться полностью ему не давал серый армейский валенок, застрявший подошвой вовнутрь. Я ощупал его: чей он? Лёхин? Кукина? Или самого Каткова? Но у башенных был свой люк. Зачем же им лезть по моим коленкам, чтобы выбраться наружу? Выходило, что это был Лёхин валенок, это он, Лёха, пока я был в забытьи, лез по моим коленям, чтобы выбраться через водительский люк.

— Лёха! — позвал я, чтобы проверить.

Тот не отозвался.

— Гомельков!

Опять ни звука.

Я протянул руку: Лёхино сиденье было пусто.

А может быть, Лёха вовсе никуда не ушёл, а, пойманный плитой за ногу, висел теперь вниз головой? Замёрзший или сражённый немецкой пулей? Но узнать про то можно было, только если приподнять люковую крышку. А в ней — сорок килограммчиков стального литья! Для такой операции существовал специальный рычаг. Он рас-

полагался с левой стороны, как раз напротив раненой руки. Но и здоровой я вряд ли смог что сделать в моём положении.

— Кукин! — позвал я заряжающего. — Ты живой?

Кукин не отозвался: наверно, успел выбраться или был убит наповал. Ужли и Каткова нет?

Мне сделалось жутковато, что я один, ослепший, заживо замурован в своей же тридцатьчетвёрке. А если тут ещё немцы?..

— Катко-о-ов! — уже в отчаянии прокричал я в пустую гулкую ёмкость. — Товарищ лейтенант!

Только теперь позади меня почудился глухой заторможенный стон.

— Товарищ лейтенант! — сквозь свою боль и слабость обрадовался я этому живому отклику. — Ваня!..

За всё его командирство я впервые назвал его так по-родственному, как брата, потому что не было у меня в ту пору других слов, чтобы выразить ему свою радость.

— Это ты, Ваня?! Товарищ лейтенант!

И его стон повторился, как подтверждение.

— Что с тобой? Скажи...

Ответа долго не было. И только спустя послышалось тягучее, слипшееся:

— Пи-и-и-ить...

— И вот слышу: снаружи ребячьи голоса. Гомонливо обсуждают наш танк. Оказывается, никто из них не видел русских танков. Наша тридцатьчетвёрка, поди, первой была в здешних лесных и заснеженных местах, на улицах Кудельщины.

— Ух, ты — какой! Ничего себе! Под самую крышу.

— Ужли наш это?

— Да наш, а то чей жа!

— А где звёзды?

— Их замазали. Для маскировки. Немцы ведь тоже на зиму перекрашиваются.

— А кресты не замазывают. Штоб все боялись...

— А то медведей малюют.

— Медведи — это у них часть такая: медвежья. На той сгорелой самоходке тоже медведь был. Она тут с самой осени стояла. Сперва зелёная с жёлтым, а потом белым покрасили. Я с чердака видел. И как этот танк её саданул — тоже видел.

— Гни больше...

— Вот штоб меня... Ка-а-ак жажнет! С одного раза попал. Целый день горит...

— А как нашего подбили — видел? В башне вон какая дырка! С кулак!

— Нет, не видел. Лупанули оттуда откуда-то, из кустов...

— Дак из потайки хочь кого можно подбить... А ежли б один на один, грудки на грудки... Вон у нашего какие колёса! Аж мне по пояс. Сила!

У моих ног всегда валялся траковый палец — этакая штуковина, заменявшая мне молоток. Я нагнулся, нащупал «палец» и постучал по броне.

Голоса сразу испуганно смолкли.

— Сыночки! — позвал я, стараясь кричать в щель незапахнутого люка.

Те по-прежнему молчали.

— Подойди кто-нибудь. Я — наш... наш... Слышите, говорю по-нашенски... Меня Петром зовут...

По ту сторону брони негромко загомонили между собой, но я ничего не разобрал. И снова подал знать в расщелину:

— Мы тут раненные. Я и командир. Нам бы водицы... Попить дайте...

Не сразу, но наконец донеслось:

— Сича-а-ас!

И верно, спустя немного прокричали:

— Куда вам попить-то? Спереди не пролазит... Там какой-то валенок застрял...

Я с облегчением перевёл дух: значит, снаружи лобовой брони никого нет. Будь Лёха ещё там, ребятишки не подошли бы к переднему люку, тем более, не стали бы пробовать подать туда воду. А ежели Лёха жив, то, может, как-то сообщит про нас, про нашу тридцатьчетвёрку.

— А вы посмотрите: ежели на башне крышка торчком, значит, верхний люк открыт. Туда и подайте.

— Открыто! — дружно прокричали ребятишки, а я подумал, что Кукин тоже успел выбраться. Вон Катков не смог, потому и остался.

— Ну, тогда так: который посмелей — залезай на башню, а воду — потом.

По броне наперебой заскребло, заскондыбало сразу несколько обуви. Потом из верхнего люка колодезно-гулко донеслось:

— Где вы тут? Берите!

Я поднял навстречу руку, пошарил в пустоте и поймал холодный кругляш бутылки. Тут же отпил половину и протянул остальное за спину. Катков жадно схватил посудину и, пока пил, было слышно, как стучали его зубы.

— Ваня, тебя куда?

— В грудь... — простонал Катков. — А ещё в плечо, кажется... рукой не пошевелю.

— Потерпи, потерпи малость... Кудельщину, поди, взяли...

Тем временем мальчишка завис в люке, видно, не хотел уходить и, глядя вниз, на нас с Катковым, трудно сопел от напряжения.

— Ты, парень, вот что скажи: немцы где?

— А-а... За речку убегли. В Касатиху.

— А наши?

— А наши — за немцами. Там сичас гремит, ракеты летают. Два раза наши самолёты прилетали. Низко-низко, звёзды видать.

— Значит, попёрли-таки немца?

— Попёрли! — радостно подхватил это слово мальчонка. — Тут никого не осталось.

Одни убитые. Страсть сколько.

— А наши есть убитые?

— Не-е... Был один раненый, вон там на дороге лежал...

— Без валенка?

— Ага...

— И где же он? Куда подевался?

— Ево один дедушка подобрал, на санях увёз.

— А больше — никого не видел?

— Никого...

— А тебя как хоть зовут-то?

— Я тоже Пётр. Петька...

— Тёзки, значит. Пётр-маленький, а я — Пётр-большой, — говорил я через силу, с натужной бодрей, старался не спугнуть, приветить мальчишку. — Да вот, хоть я и большой, да ничего, брат, не вижу. Ты давай, лезь-ка сюда, дело к тебе будет. Давай, а?..

Пётр-маленький помедлил, посомневался, но всё же спустился в отсек и замер возле моего сиденья. Ему, конечно, было боязно видеть мои неопрятные бинты, торчавшие из-под шлема. А может, пугал его и раненый Катков, тяжело и клёкотно ды-

шавший позади меня на полу отсека. Подбадривая его, я ощупывал здоровой рукой хлипкое, ягнячье тельце под заскорузлым кожушком, перебирал стылые пальчики.

— Ты меня не бойся, — сказал я тихо, словно как по секрету. — Пораненный я. Лицо всё в крови. Как мог, обвязался одной рукой, да, видать, не очень ладно. Что поделаешь, такая вот она, война. Не будешь бояться?

— Не буду...

— Тебе сколько годов-то?

— Девятым. .

— В каком классе?

— Ишо не ходил...

— Что так?

— А-а... война. А в школе — немцы. Парты все сожгли...

— А папка с мамкой где?

— Папку на фронте убило. Ишо летом бумажку прислали. А мамка болеет, ноги у неё... Ботинки не обуваются.

— Тут рядом свободное сиденье, — сказал я. — Давай, забирайся.

Пётр-маленький послушно залез на Лёхино место.

— Хорошо?

— Ага.

— Там раньше пулемётчик сидел. А теперь — ты. Согласен? Будешь моим помощником.

— Ладно. А чево помогать?

— Ты деревню Ковырзино знаешь? Вон там, за лесом?

— Знаю.

— Точно знаешь? Не путаешь?

— Там моя тётя Шура живёт. А чево?

— В Ковырзино у нас санчасть. Раненых принимает. Сейчас будем пробовать мотор. Ежли заведётся — туда поедем, командира повезём. А ты мне дорогу будешь показывать, потому как я сам не вижу.

— А как показывать?

— Перед тобой дырка светится. Смотри в неё и говори, так я еду али не так. Нашёл дырочку?

— Нашёл.

— Что видишь?

— Нашу улицу.

— Ну, вот по ней и поедем, на малой скорости. А дальше — сам говори, куда надо. Я ваших дорог не знаю.

— Ладно. Доедем до школы, а там — как раз поворот на Ковырзино.

— Молодец! А вот в поле будь повнимательней. Там, вдоль дороги, уже должны быть тычки. Сапёры наставили. Там, за тычками, могут быть мины. Запомни: мины! Это, браток, такая скверная штука!.. Так ты особо последи, чтоб я за тычки не заехал... Понял?

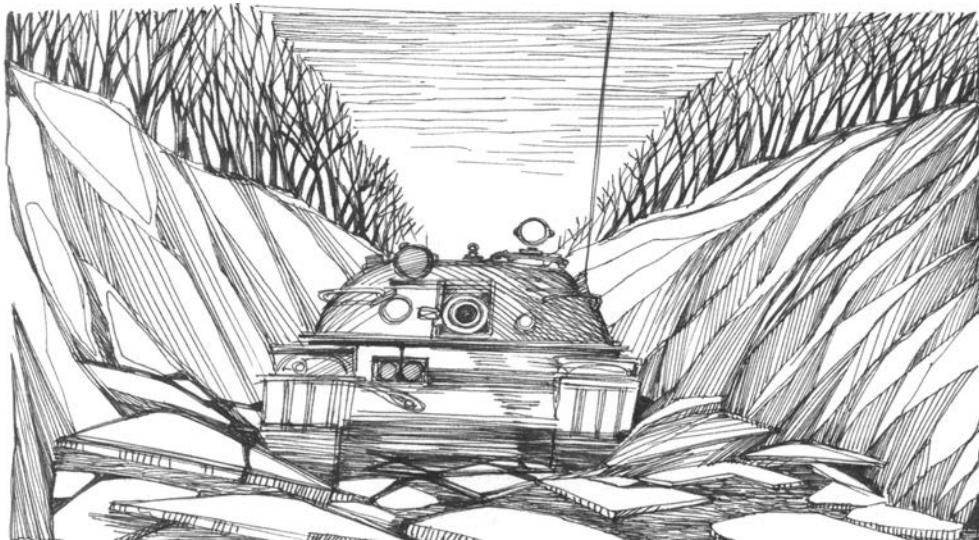
— Ага, понял...

Я извлёк из комбинезона ролик изоляции и попросил Петра-младшего помочь мне примотать мою раненую руку к рычагу левого ходового фрикциона.

Тот, как умел, исполнил.

— А теперь скажи пацанам, чтоб держались крепче. Там за башней скобы есть... Довезём до школы.

Замерев от сомнения, что не получится, я включил зажигание и запустил стартер.



Мотор басовито гуркнул и пошёл, пошёл бодро и непринуждённо вращать свой многоколенный вал...

У него мозжило руку, саднило посечённое окалиной лицо, в глазах стояла ночь с росчерками молний, но в те минуты он тихо ликовал животворной радостью и молча, будто в забытии, слушал и слушал это сдержанное бормотанье ожившей тридцать-четвёрки...

— Ну, Пётр, двинули помаленьку, — объявил он, разворачивая машину к последнему пределу своей войны. — Посматривай там...

Уже поздно вечером, при голубо воссиявших над Брусами Стожарах, при недрёмных Олежке и Николашке, млевших от услышанного, Петрован, вставая, провозгласил убеждённо и беспрекословно:

— Так что, друг мой Герасим, она — твоя! Бери эту медаль без разговору: у тебя против моего было двести таких недель...





ХАТИП УСМАНОВ

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

* * *

От переводчика. Хатип Усманович Усманов (1908–1992) известен в нашей республике и за её пределами прежде всего как замечательный учёный-тюрколог, стиховед, основоположник казанской филологической школы, изучающей историю классической татарской словесности и татарско-русских литературных взаимосвязей. Перу этого человека принадлежат многочисленные статьи, учебные и методические пособия, монографии, в том числе такие фундаментальные, не утратившие научной ценности работы, как «Поэзия Такташа» (1953, переизд. 1982), «Древние истоки тюркского стиха» (1984), «Тюркский стих в средние века» (1987).

Между тем, Хатип Усманов был ещё и писателем; по крайней мере, в ранний период своего творчества (в 1930–1940-е годы) он, как и его родной брат Тагир Усман-Сульмаш (1900–1983; «Сульмаш» — название селения в Пермском крае, откуда братья происходили), автор популярных в 1920-е годы повестей «Мост» и «Семафор», активно и серьёзно занимался словесно-художественной деятельностью, оставив заметный след на небосклоне современной ему татарской литературы. След этот, однако, стал со временем неразличим.

Хатип Усманов (в татарском варианте — Хатип Госман) — автор дебютного поэтического сборника «Лирика полей» (1931), повестей и рассказов «Зов крови» (1933), «Юсуф» (1937), «Я на небо взлетаю» (1937), «Пламенное сердце» (1943), «На линии огня» (1945). О нём сохранились небезынтересные воспоминания талантливых современников. Так, Ибрагим Салахов, с чьим именем связано возникновение татарской лагерной прозы середины XX века, в романе «Чёрная Колыма (хроника одной трагической судьбы)» (русский перевод М. Зарипова, 1991) писал о нём как о друге, с которым они делили когда-то крохотную двухместную комнату в институтском общежитии: «Мы с Хатипом <...> настоящие единомышленники: у нас общие секреты, один продуктовый погребок — словом, во всём полное взаимопонимание». Гомер Баширов, «патриарх» татарской советской литературы, оставил о Хатипе Усманове записи в личном дневнике, лишь недавно опубликованном; из отдельных словесных вpletений в дневниковый текст создаётся на редкость цельный образ человека-единомышленника: «Хатип Усман вернулся с фронта» (14 марта 1943 года); «Только что позвонил Хатипу. Настроение бодрое. Перебросились несколькими незначительными словами, а потом Хатип радостно сказал, что его диссертацию утвердили. Я воскликнул. Ибо мы с Хатипом ждали этого момента год с лишним. <...>. Уснуть я уже не мог. Перечитал автореферат Хатипа. Он перепахал огромную, не тронутую до сих пор целину. Дал научный анализ нашей поэзии от истоков, расставил всё по полкам.

За это ему – земной поклон. <...>. Нужны нам такие люди, нужны» (3 ноября 1963 года); «Мы возвращались с Хатипом. Неспешная прогулка обычно пробуждает на удивление светлые и глубокие мысли. <...>. Он рассказал мне о своих ближайших планах. Изучает сейчас творчество Сараи, древнего поэта. Думает издать его, восхищается им, испытывает трепет перед талантом его и умом, приводит цитаты. <...>. Сараи вёл торговлю <...> с народами Востока. Впитал в себя их язык и культуру, принял традиции. Благодаря этому вошли в наш язык арабские и персидские слова. Наша литература обратила свои взоры на Восток. Естественным было это влияние на нас <...>. Но ни в литературе современной, ни в произведениях на историческую тему мы не пишем об этом. Всё вокруг Казани, да и только. <...>. Было в истории нашего народа много важных событий. <...>. Об этом нужно романы писать» (22 мая 1965 года; перевод мой. – Р.Б.).

Если татарский читатель, интересующийся советским периодом родной литературы, вполне осведомлён о писательской грани творчества Хатиба Усманова (пусть не по переизданиям художественных текстов сегодня, а по критико-биографическим статьям о нём, выходящим в различных татарских журналах вплоть до конца 1990-х годов), то русский – нет, и не случайно: произведения писателя, насколько мы можем понять, на русский язык, за исключением единственного рассказа, ни разу не переведились. (Рассказ под названием «Я поднимаюсь в небо» был специально переведён Булатом Аитовым для сборника произведений детских татарских писателей «Юным друзьям» [Казань: «Татгосиздат», 1951]).

Естественно, мы не можем не видеть в этом определённой несправедливости.

Дело в том, что написанное Хатипом Усмановым представляет несомненный интерес для того, кто хотел бы понять пути развития татарской прозы 30–40 годов XX столетия – времени непростого во всех отношениях. Конечно, если говорить формально, рассуждая в категориях литературной репутации и общественного признания, то художественное творчество Хатиба Усманова к однозначно классическим отнести нельзя. Хатип Усманов, действительно, – не классик масштаба Амирхана Еники или ранга Туфана Миннуллина, а значит, по здоровой и практичной логике его, казалось бы, и переводить на иные языки (в частности, русский) не нужно. Ведь обычно переводят произведения самых «первых лиц» литературного процесса и – часто – по законному праву, поскольку они в известном смысле есть лицо воспринимаемой нации, осязаемый результат её духовного движения, концентрация культуры в самобытном и универсальном измерениях. Кто теперь эту общую истину будет оспаривать? Иерархия талантов существовала всегда, и бесспорным венцом «природной» конкуренции выступала лишь гениальность.

Всё это так, однако следовало бы помнить, что гениальность невозможна без ближайшего и далёкого контекста, без той системы внутренней шлифовки литературы, которая подготавливает гениальную личность – исподволь, в едва видимых рисунках будущего узора, через тщательный отбор художественных дорог и отчётливую фиксацию наиглавнейшей, способной обеспечить подлинный прорыв. С. С. Аверинцев однажды заметил: «Есть целый ряд бесславных, с нашей точки зрения, событий литературного процесса, без которых вершинные результаты были бы невысказаны или были бы иными». Культура – это память, хранилище, резервуар смыслов, не только реализованных, вошедших в адекватный резонанс с образной формой, но и потенциальных, существующих на положении скрытого, плохо проглядываемого факта. В переводах они тоже нуждаются, чтобы читатель мог увидеть весь горизонт смысловых и формальных «новаций» и оценить литературу объективно, всесторонне, как воплощённую закономерность на фоне антизакономерных (разнонаправленных) тенденций. О них русский читатель должен иметь представление, без них татарская литература прошлого века выглядела бы для него до крайности однобоко и однообразно. (Жаль, что художественный перевод в наше

время стал невольным «заложником» коммерциализованной стихии; его затронули все издержки современного экономического релятивизма как то, от чего надо освободиться или оставить на периферии интересов, словно что-то лишнее и пустое. Если бы перевод как двигатель культурной коммуникации был на самом деле в почёте, то отсутствовала бы сама потребность логически обосновывать причины обращения к литературным талантам «второго ряда». Всё и так было бы понятно. «Близорукому коммерческому подходу свернуть шею!», — когда-то писал О.Э. Мандельштам...).

Из литературного наследия Хати́па Усманова для перевода и публикации мы взяли три небольших военных рассказа, написанных автором с декабря 1941 по 1943 годы. Известно, что с первых дней Великой Отечественной войны Хати́п Усманов служил корреспондентом во фронтовой газете «За Родину», участвовал в боях, будучи сначала солдатом, потом офицером первой инженерно-сапёрной штурмовой гвардейской бригады II Белорусского фронта. Войну он закончил в немецком городке Гюстрофе (земля Мекленбург — Передняя Померания), а демобилизовался в 1946 году. Был награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

Нетрудно отсюда заключить, что рассказы писателя имеют биографическую основу. Тем не менее, хотелось бы сделать одно методологическое уточнение, необходимое для уяснения поэтики произведений татарского писателя.

Может показаться, что его тексты о войне изображают «окопную правду», демонстрируя взгляд солдата на происходящее, что хорошо и правильно, казалось бы; однако мера подобного изображения, если вчитаться, чётко ограничена идеологическими рамками, которые не просто присутствуют, а явно, неприкрыто декларируются в отдельных местах, и этим рассказы Хати́па Усманова отличаются, к примеру, от повести В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда» (1943), где тонко исследуются страшные военные будни без ложной патетики и показного пафоса, столь привычного для советской канонической литературы тех лет...

Было бы правильно, читая рассказы Хати́па Усманова, обращать внимание не только на содержание, но и на форму: она, как кажется, не совсем обычна для татарской литературы 1940-х годов, даже оригинальна, если учесть то, как выражена сумма формальных приёмов. Хати́п Усманов пишет без многословия, коротко, сжато, дозированно, бережливо; разумеется, в татарском тексте, в подлиннике это ощущается более всего. Создаётся впечатление, будто писатель отсекает в огромной каменной глыбе литературного материала всё лишнее, ненужное, оставляя по необходимости то, что связано с главным чувством воюющего человека. Рубленные авторские фразы, отсутствие разного рода вычурностей, минимализм подробностей и их точечная фактографичность — во всём угадывается техника «телеграфного» письма Э. Хемингуэя с его сознательной ориентацией на глубину невысказанного и реконструируемого (знаменитый «принцип айсберга»; заметим, к слову, что тот же В.П. Некрасов в «В окопах Сталинграда» подражал стилю американского писателя впрямую, это общеизвестно). По-видимому, в стилиевой манере Хати́па Усманова нужно видеть проявление творческой индивидуальности (чтение научных трудов писателя в этом убеждает), но не только. В таком подходе можно обнаружить как бессознательное воспроизведение чужого стилистически маркированного слова, так и общий читательский интерес к незаурядной личности и судьбе Э. Хемингуэя. Мы, в частности, констатируем, что многие рассказы американского автора в 1930-е годы на татарский язык переводились (сплошной просмотр номеров журнала «Советская литература» того времени с точностью свидетельствует об этом), так что пройти мимо них Хати́п Усманов, знавший и любивший западную литературу, не мог. (В конце 1930-х годов он работал ассистентом на кафедре всеобщей литературы Казанского педагогического института, читал студентам курс западноевропейской словесности; кроме того,

в 1960-е годы он писал короткие предисловия к татарским переводам Эсхила и Гёте; из Эсхила тогда переводили «Прометея Прикованного», а из Гёте — первую часть «Фауста»; в докторской диссертации, посвящённой революционной поэзии 1920-х годов, вопросу перевода западных классиков на татарский язык Хатип Усманов затрагивал, причём со свойственной ему скрупулёзностью; в 1972 году под его научным руководством Э.Г. Нигматуллин, впоследствии автором замечательной и на сегодняшний день самой полной библиографии переводов русской литературы на татарский язык, была защищена кандидатская диссертация «Татарская литература начала XX века (до 1917 года) в её отношении к западноевропейской литературе и философско-эстетической мысли».

В итоге, модель художественного описания войны с потаённо-психологической точки зрения существовала, и татарский писатель по-своему ею пользовался, несмотря на колебания советских критиков в оценке хемингуэевского творчества. Вероятно, обращение к этой модели воспринималось в качестве свободного выбора при неременной заданности идеологической схемы. Это был своего рода эксперимент в области словесной формы.

Перевод военных рассказов Хатипа Усманова осуществлён по первым публикациям в татарском журнале «Советская литература».

Ренат Бекметов

СОН

Мы спим в блиндаже поочерёдно. Была моя очередь, я проснулся. Сильно грела натопленная печь. Вокруг сидели мои товарищи. Кто-то весело рассказывал, и на его шутки смеялись.

Я встал и подошёл к огню. Мне дали, потеснившись, место. Разговор прервался на полуслове. Рассказывал Авдеев. Сейчас я неплохо его знаю. Прошёл месяц с лишним, как он появился у нас. За это время мы с ним сошлись, почти как братья. Ему было лет за тридцать. Он — деревенский. Работал когда-то в колхозе. Сохранил простой народный нрав.

Приподнявшись, Авдеев внимательно посмотрел на меня:

- Выспался, Тайфур Сабитович?
- Спал как мёртвый.
- Сны-то какие видел?

В сны я не верю. Видимо, поэтому, просыпаясь, сразу о них забываю. Я на минуту задумался: «Какой же сон я видел?». И, тут же вспомнив, ответил:

— Да-а. — Разговор о снах здесь вроде отдушины. — Видел, будто на двух моих ладонях лежат новые, блестящие серебряные монеты... А между ними — камни красного изумруда, мелкие, величиной с небольшое семечко.

Авдеев тихо посмотрел на горящее пламя, потом медленно покачал головой и, вздохнув, произнёс:

- Да-а, Тайфур Сабитович, не к добру, не к добру сон ваш...
- Почему? — спросил я, улыбнувшись.
- Серебряные монеты — к слезам, а красные изумруды — кровь... Кровь и слёзы — вот что нас ждёт.

В сны я не верю. Но слова эти запали мне в душу. «Кровь и слёзы, слёзы и кровь», — думал я про себя.

Я вышел на свежий воздух. Стояла тишина. Ели были покрыты снегом, ветви деревьев заиндевели. На небе висела полная луна, и свет её серебряной пылью падал

на землю... Лес. Безмолвный лес. Как же он очарователен! Здесь мне каждая ель мила, каждая берёзка дорога. Крохотные ели, покрытые снегом, с ветками, похожими на заячьи лапки, кажутся беспомощными, как дети. О, лес! И за тобой пришёл враг. Но мы тебя — не отдадим, не отдадим.

Вдруг послышалась автоматная очередь. Над головой с резким, отрывистым звуком просвистели пули. Ветка рядом расположенной ели качнулась, осыпавшись снегом... Видимо, немецкий автоматчик заметил меня. Немцы недалеко отсюда, метрах в ста пятидесяти-двухстах.

Я забежал в блиндаж.

— Что, автоматчик? — спросил меня Авдеев, улыбаясь. (Он чистил винтовку).

— Палит.

— Ну его, пусть палит, скоро закончит... Эх, братцы! — сказал он, и из его груди вырвался чистый голос. Он продолжил прерванную песню:

— Нет, не умер Стенька Разин, дух свободы не угас-с-с...

Бойцы подхватили напев.

Мы здесь третий месяц — с тех пор, как остановили немецкое продвижение. В течение двух месяцев немцы неоднократно пытались прорваться к нам. Но атаки эти дорого им обошлись: несколько сот мёртвых «арийцев» до сих пор валяются неподалёку от наших блиндажей, задрав холодные подбородки кверху.

Мы готовимся к дальней дороге. Весна с юга приходит. Вот и весна нашей победы тоже с юга идёт. Мы уже получили новости о боях под Ростовым. Мы знаем о победах под Тихвином и Ельцом. Нам известно о сражениях под Москвой. Эти события нас окрыляют, вселяют уверенность, наполняют бодрим духом. С какой радостью смотришь в эти дни людям в глаза: словами невозможно выразить дивное чувство!

Стремительно пролетают дни. Поступил приказ: перед рассветом надо идти в атаку.

Мы собрались. Стало светать. Вдали, за лесом, заметённым снежными сугробами, виднелась белесоватая луна. Было тихо. Вдруг артиллерия загрохотала. Прошло несколько тягостных минут. Я смотрю на товарищей. Мы, конечно, победим. Но победа без потерь не бывает — я осознаю эту истину с небывало-горькой ясностью. Среди нас будут те, кто уже не увидит восхода этой луны. Я зову Авдеева. В такие минуты мне почему-то хочется обратиться к нему не по фамилии, а по имени.

— Гриша, — говорю. — У меня есть сын. Если не вернусь, навести его, расскажи о том, что случилось. Отец твой, объясни, завещал быть коммунистом.

Гриша усмехается:

— Ничего, Тайфур Сабитович... Одолеем этих гадов. Ты ещё домой вернёшься, и я... Мы с женой тебя навестим. Будет, будет праздник и на нашей улице. Посидим вместе, вспомним о былом. Не унывай, брат.

Я поднял глаза. Впереди стояла чёрная дымовая стена: гремели пушки, взрывались блиндажи. Огни мелькали как молнии. С флангов учащённо резал пулемёт. Мы ползком приблизились к немцам. Сколько нас там было, не помню. Вдалеке прошумел артиллерийский снаряд. Внезапно выскочил лейтенант с наганом и крикнул что было сил:

— За Родину! За Сталина! Ура! — и быстро выдвинулся вперёд. За ним и мы поднялись. Над фронтом пронеслось громкое «ура». Происходившее напоминало сон, я уже не слышал ни артиллерийской канонады, ни стрёкота пуль над головой; не помню даже, как нам удалось добраться до немецких укреплений. Лишь увидев их с близкого расстояния, я пришёл в себя. Авдеев прыгнул в траншею, к немцам, и тут же штыком винтовки стал колоть. Офицер сзади него открыл огонь из автомата. По телу прошёл-

ся странный холодок. Я ощутил прилив какой-то силы и в одно мгновение, подскочив к офицеру, со всего размаха воткнул ему в спину штык. Офицер, издав дикий вопль, опрокинулся навзничь, и автомат выпал из его руки...

Бой в граншее завершился нашей победой. Мы преследовали немцев по всему полю. Но неожиданно застучал станковой пулемёт. Пришлось лечь на землю.

— Бросить в пулемёт гранату! — приказал лейтенант.

— Разрешите мне! — послышался голос Авдеева.

— Выполняйте.

Авдеев с гранатами ползком ушёл вперёд. Оставалось пятьдесят метров. Теперь тридцать. Совсем немного, десять-пятнадцать метров от пулемёта. Авдеев бросил одно за другим несколько гранат. Фашист, приметивший его в эту минуту, открыл очередь. Авдеев, словно лишившись костей, мягко упал на землю. Прогремел взрыв, пулемёт смолк.

— Вперёд! — закричал лейтенант. Зазвучало привычное «ура». Наши бросились в атаку, а я подбежал к Авдееву. Снег около него был окрашен в багряно-красный цвет. Раны на груди зияли. С закрытыми глазами, он спокойно лежал на спине. Казалось, будто он спит. Вот-вот проснётся и откроет глаза...

Бойцы подняли Авдеева и унесли.

Я же подошёл в немецкому пулемёту. Здесь, разбросав руки и ноги, лежал мёртвый офицер. Прикасаться к нему было отвратительно. И всё же меня заинтересовали его документы. В карманах офицера я нашёл кучу краденого золота и серебра. Тут было всё — серебряные монеты, серьги, кольца, золотые зубы.

Я взял их в полную ладонь и стал пристально рассматривать. Припомнились вдруг слова Авдеева. Серебро — к слезам, красные изумруды — кровь. Слезы затуманили мой взор, голова закружилась. Мне казалось, будто в руке у меня не серебро, а капли слёз — тех самых, которые выплакали тысячи девушек, детей, убитых стариков, обесчещенных женщин...

Я посмотрел на офицера. Сердце моё охватила буря злобы и мщения. Этот изверг рода человеческого хотел обогатить себя слезами миллионных жертв.

Я сдал найденные трофеи и отправился в путь — мстить за пролитую кровь, поруганную честь и слёзы.

Декабрь 1941 года.

Северо-западный фронт.

КОТЁНОК

Ночь. Солдат Мухтар на карауле. Лес погружён в глубокий сон. Но война и не думает спать: временами то здесь, то там раздаётся пулемётная стрельба.

Мухтар скрыт, его не видно, он только наблюдает и изредка оглядывается по сторонам, когда слышит голоса или шелест травы на ветру: враг — всё равно что змея, подкрадывается незаметно...

Вдруг трава странно зашелестела. По спине Мухтара обжигающей волной пробежал холодок. Он крепче взялся за винтовку и стал слушать.

Как будто кто-то шёл к нему, осторожно пробираясь сквозь сухие заросли... Мухтар долго слушал, а потом решил про себя, что это, видимо, не человек.

Но оно — всё приближалось. И неожиданно — остановилось. Несколько секунд было тихо.

Внезапно Мухтар услышал жалобное мяуканье.

- Мяу! Мяу!..
- Что это? Кто-то подаёт сигнал?

Мухтар испугался. Рядом возникла большая чёрная тень. Мухтар взвёл курок и приготовился выстрелить. Но тень увеличилась в размере, и снова послышалось мяуканье.

Мухтар взгляделся и с удивлением обнаружил, что это совсем не тень, а крохотный котёнок, дрожавший от холода. Он, вероятно, почуял запах человека и теперь, подняв замёрзшую лапку, протряжно подавал голосок:

- Мяу! Мяу!

Мухтар успокоился, волнение разом прошло, он вдохнул и быстро выдохнул. «Ну, и напугал же ты меня, чертёнок», — нежно сказал Мухтар котёнку, подзвал к себе. Котёнок, аккуратно переминая траву, подбежал к Мухтару, внюхиваясь холодным носом в незнакомца, ласкаясь и мурлыча.

Мухтар взял его на руки и, чтобы тот не привлекал внимания долгим, заунывным мяуканьем, положил к себе в глубь телогрейки. Котёнок, почувствовав тепло, заснул...

Утром Мухтар возвратился в блиндаж и там, взяв на колени, покормил ночного гостя молоком. Командир, став свидетелем этой сцены, спросил:

- Ты откуда его взял?
- На карауле, сам ко мне подошёл.
- А-а... Из Сосновки, наверно...

Сосновка — деревня, оккупированная немцами и расположенная в трёхстах метрах. Она почти разорена, лишь два-три дома в низине отчего-то стояли целыми и нетронутыми.

Котёнок был худ; бледно-серую, похожую на золу, шерсть его давно никто не расчёсывал. Несколько дней подряд котёнка кормили, и шерсть его стала гладкой, с блёстками. В блиндаже он, играя, бегал из угла в угол. Мухтар привязал к нитке деревянную стружку и в свободное время с интересом наблюдал за тем, как котёнок пытался эту стружку, изворачиваясь и падая, поймать, когда Мухтар слегка дёргал нитку или ходил с ней по блиндажу. В такие часы он обычно ни с кем не разговаривал и не оборачивался. Ему представлялось, будто он находится теперь не в грязных окопах, а у себя, в чистом и прибранном доме с белой печкой. Около печи, воображалось ему, сидит Зубайра, дочка трёх лет, и весело играет с котёнком. Вот она бежит с длинной верёвкой по скрипучему полу. Котёнок бросается и пробует поймать конец верёвки; это не всегда удаётся, но когда он всё же пойман, котёнок начинает его смешно кусать и волочь в зубах по всей комнате. Зубайра радостно, она смеётся,



хлопая в маленькие ладоши. Смотрит горящими глазами на отца и приговаривает: «Ати*, посмотри-ка, посмотри». Глаза её — как две полевые ягодки, хохочут беспрестанно, а смех — лёгкий, прерывистый, словно падающие звонко на пол жемчужные камешки. Этот смех нельзя забыть, он проникает глубоко в душу, берёт за живое, пробуждая чистые отцовские чувства. А котёнок тем временем, заигравшись, теряет верёвку, подпрыгивает, задирая хвост, и снова ищет. Зубайра же тянет петлю на себя и бежит, бежит весело вслед за ним... Отец улыбается, глядя на плечи и крохотные пятки Зубайры, две агатовые пуговики...

Тут послышался твёрдый и настойчивый голос:

— Мухтар!.. Мухтар!.. Мухтар, говорю! К командиру! Командир зовёт!

Мухтар пришёл в себя, ему показалось, будто его только что разбудили. Сон растаял, как снег, и из всех настоящих картин явилась лишь картина с котёнком. Мирную, домашнюю обстановку сменил военный блиндаж, а Зубайра осталась за тысячи километров отсюда.

Озорной котёнок уже освоился на новом месте, успел заглянуть во все блиндажные углы. Иногда он выходил на нейтральную полосу, находившуюся между нашими и немецкими укреплениями. Немцы, заслышав шелест травы, пугались и открывали огонь из пулемётов и автоматов или оставляли на том месте пехотные мины. Котёнок же безнаказанно покидал пустую зону, усаживался у края какого-нибудь окопа или траншеи, ложился набок и, временами поднимая пушистые уши, наблюдал за тем, как свистят пули вокруг. Когда бешено летящие пули попадали, застревая, в землю, он ловко, вмиг подскакивал, стараясь лапкой играючи их зацепить. Глядя на него, можно было подумать, будто он ловит жёлтых бабочек...

Когда заканчивалась стрельба, в блиндаже начинались разговоры о смешном геройстве котёнка. Он же, когда покосившаяся дверь блиндажа открывалась, быстро пробегал мимо многочисленных ног, вскакивал на колени к Мухтару и скромно садился, а потом с усталым видом, будто в чём-то провинился, мяукал, прося молока. Речь шла о нём, а он и не замечал разговоров, лёжа с закрытыми глазами на коленях Мухтара...

Однажды котёнок пропал. Ни в этот день, ни на другой он не возвращался... Мухтар был взволнован. Потерялось единственно близкое ему существо, вызывавшее в памяти любимую Зубайру. Мухтар втайне грустил. Однако надежда встретить котёнка появилась, когда был дан приказ наступать.

После первой атаки враг оставил Сосновку. Дома в низине страшно горели, их подожгли немцы перед отступлением. Мухтар с винтовкой на плече отправился в сторону этих домов. Он уже подходил к ним, когда мимо пронёсся снаряд небольшой величины и разорвался, задев солдата расплывающейся в воздухе огненной волной. Мухтар прикрыл лицо обшлагом телогрейки, согнулся и отскочил что было силы. Обойдя один из домов, он вышел на противоположную сторону и остановился как вкопанный: к нему бежала женщина без платка, с чёрными растрёпанными волосами, и не своим голосом, рыдая и захлёбываясь, кричала:

— Сына!.. Сына убили!.. Сына!..

Мухтар поспешил к ней на помощь. Женщина держала в руках небольшой свёрток в белых пелёнках, из которого сочилась густая багряная кровь.

— Немцы?

Женщина задыхалась:

— Приказал выйти из дома, грозил спалить... Я не вышла... Он ребёнка убил... Сына...

* Букв. перевод с татарского «папа», «отец».

Женщина рыдала. Мухтар, полагая, что мальчик, возможно, ещё жив, взял свёрток в свои руки, развязал пелёнки и ахнул, словно его ударила молния: ребёнок был мёртв, но в руках он держал котёнка — того самого, которого когда-то приютил Мухтар у себя в блиндаже. Голова котёнка была пробита шальной пулей, а на груди годовалого мальчика зияла кровавая дыра. Глядя на него с ужасом, Мухтар вспомнил Зубайру. Сердце стало учащённо биться, в душе накопал гнев.

— Куда? Куда он ушёл? В какую сторону? Голову этой суке сверну!

Женщина указала рукой. Мухтар оставил ей ребёнка и твёрдым, уверенно-чеканным шагом направился в лес. Он торопился, тело его дрожало от злобы, и он беспрестанно, как молитву, повторял одни и те же слова:

— Не смоешь кровь детей!.. Не смоешь... Дочь мою хочешь так же... Не выйдет!.. Не смоешь кровь детей безвинных, гадина, с-с-ука проклятая!..

*Апрель, 1943 года.
Действующая армия.*

ЯРОСТЬ

Гафуржан Каримов был на врачебном приёме. Врач внимательно осмотрел Гафуржана, задал вопросы, а в конце коротко и отрывисто сказал:

— Завтра на комиссию.

— Хорошо, понял.

Возвращаясь в палату, Гафуржан, как ребёнок, чувствовал лёгкую радость. Наконец-то мечта сбывается: дело идёт на поправку, скоро, скоро — домой. Он проворно запрыгнул на койку, лёг, подперев голову руками, и стал думать. «Ну вот, всё заканчивается...».

Он размышлял о своём будущем, и оно представлялось ему светлым и чистым. Эти мечты ненадолго оторвали его от нынешнего дня, от палаты в госпитале и перенесли в совершенно другой мир...

Вечером в палату вошла медсестра. Всё в ней влекло к себе: и красивое лицо с голубыми глазами, и обворожительная улыбка, и прядь падающих с плеч, кудреватых волос, и большая, словно два спелых яблока, грудь, заметно натягивавшая белоснежный халат. Обычно, когда медсестра шла гордой походкой по палате, каждый старался шутками обратить её взор на себя. Но сегодня радость от прихода её удесетерилась: в руках она держала большую пачку писем. Мы стали одолевать её нетерпеливыми вопросами:

— Анна Андреевна, а мне письмо есть?

— А мне?

Анна Андреевна пристально посмотрела на нас и, немного смущаясь, произнесла:

— Ну, можно ли так шуметь? Будете шуметь — уйду, останетесь без писем.

— Молчим, Анна Андреевна, молчим...

Воцарилась тишина. Медсестра, зачитывая адреса, неспешно раздавала письма:

— Токаренко Василий...

— Я?

— Волгин Валерий...

Сегодня Гафуржан письма не ждал. Он и без того чувствовал себя вполне счастливым и тихо сидел, наблюдая за происходящим. Видимо, поэтому, когда окликнули его, он не расслышал. Анна Андреевна громко повторила:

— Гафуржан Каримов!

Словно проснувшись от грубого толчка, он ответил:

— Я, — и протянул руку, чтобы взять бумажный треугольник. «Надо же, — подумал Гафуржан, разворачивая конверт и с удовольствием всматриваясь в буквы написанного от руки адреса, — ещё одна радость». Письмо было от его дочери, Наили.

Поудобнее расположившись на койке и притянув письмо ближе к себе, Гафуржан стал медленно читать. «Дорогой папа», — так начиналось оно и продолжилось перечислением тех, кто передавал самый тёплый привет. Гафуржан быстро пробежал глазами эти строки и, углубившись в основное содержание, нашёл следующее: «Пусть и это будет известно тебе, папа. К нам пришло горе, и выплакать его мы не в силах. Маму просто не узнать. Мы получили письмо о Фарите-абзый. Письмо написал его однополчанин. Он пишет, что на фронте Фарит был ранен и попал к немцам в плен. Там его нещадно мучили, перебили руки, а потом, ещё живого, сожгли. Когда фронт продвинулся вглубь, и немцы наконец отступили, сожжённое тело Фарита нашли. Он погиб... Его похоронили в селе Данилово Курской области... Мы плачем. Из сундука мама теперь берёт старую одежду Фарита и плачет, приговаривая: «Наступит ли день, когда проклятие моё коснётся убийц родного сыночка?» И я плачу. Не могу, не могу поверить в то, что его нет с нами. Трудно, невозможно представить его мёртвым. Да разве можно убить такого светлого человека? Он был молод... Его, живого, сожгли... За что? Немцы — страшный народ? Похожи ли они вообще на людей? Папа, ты их видел?»

Гафуржана будто током ударило. Он вдруг вскочил и сел на край койки. Мысли в голове затуманились, и трудно было понять, где он: во сне или наяву. Он не верил в прочитанное и решил перечитать. Дойдя до фразы «Ещё живого, сожгли», Гафуржан ощутил своё присутствие там, словно его самого заживо испепелили, и, не сумев сдержать поднимавшееся откуда-то из глубины чувство гнева, вдохнул глоток воздуха и закричал. В палате радостно переговаривались, но тут наступила тишина, и больные все как один обернулись к Гафуржану.

— Что случилось, Каримов?

— Заживо сожгли? Немцы?

— От сволочей иного ожидать нельзя.

Гафуржан не отвечал: он никого не видел и ничего не слышал. Он лишь произносил обрывками слова — без гнева, полные отцовской любви, сдавленным голосом:

— Сын... Сынок родной... Фарит... Мой Фарит.

Была ночь, но Гафуржан не мог заснуть. Боль в душе притуплялась, накопилась ярость. Перед глазами стоял Фарит. Гафуржан вспоминал сына, и память воскресила день его рождения.

Сын родился тёплым майским днём, когда зацветала черёмуха. Отцу казалось, что сын, явившийся на свет, и есть его весенний цветок. Верилось в то, что жизнь новорождённого непременно будет доброй и счастливой. Черёмуха, между тем, выцветала, её лепестки осыпались, падали беззаботно на землю... На следующий год весной они вновь светились на солнце, затем, высыхая, опадали, подгоняемые ветром. С тех пор прошло девятнадцать лет...

Гафуржан снова увидел сына — молодого, окрепшего, сильного. Вот он стоит в чёрном костюме, держит в левой руке книгу и тетради, а правой дотронулся до лба... Задумался о чём-то, встал посреди дороги. Его чёрные, как смоль, блестящие глаза смотрят неподвижно в одну и ту же точку... Гафуржан часто наблюдал за сыном, когда тот готовился к экзамену, и находил его в том же странном, застывшем положении. Наблюдал скрыто, но с любовью, думая о том, какой же у него, в самом деле, славный сын. Разве похож этот умный, талантливый, с широкими плечами крепыш на того

беспомощного младенца, который лежал когда-то в детской кроватке? Все свои надежды связывал Гафуржан с сыном, с умом его, с тем, что в старости будет сын ему опорой, источником бесконечной радости и утешением.

Так, постояв несколько минут, осторожно и тихо удалялся отец, чтобы случайно не обнаружить себя, не потревожить глубокоую задумчивость сына...

Его мысли незаметно возвратились к страшным словам: «Ещё живого, сожгли»... Сердце заныло от боли. Он вновь увидел тот самый огонь, увидел ясно, отчётливо. Он представил, как сын, корчась, страдая и крича, горел в этом огне, а немцы в чёрных защитных касках стояли рядом, по-разбойничьи спрятав руки за спину и осеривая безобразные рты в холодной усмешке.

Внезапно Гафуржан вскочил, стиснув зубы, собрав всю силу в кулак. Именно в эту минуту ему захотелось броситься на немцев, схватить их за горло, измять и бросить, как бешеных собак. Но то были не настоящие немцы, а воображаемые.

— Почему же они не настоящие? Почему нельзя их взять за горло? Почему они хохочут? Почему они ещё бродят по свету? Справедливо ли это?

Вбежала медсестра и принялась успокаивать:

— Не надо, не надо так... Тише... Вы бредите...

Но ярость накопилась в душе Гафуржана. Он взволнованно повторял:

— Почему они хохочут? Почему их, проклятых, земля держит? Справедливо ли это? Как мне дальше жить?

— Тише... Это бред... Не надо...

— Нет, я в полном сознании... Ответьте, как дальше мне жить?

К медсестре поспешили врачи. Полагая, что Гафуржан бредит, они старались его успокоить. Их усилия не прошли напрасно: обессилев вконец, он рухнул на койку.

* * *

Внимательно изучив состояние здоровья, комиссия приняла решение отправить Гафуржана на два месяца в тыл — домой. Профессор в очках и белом халате хотел обрадовать пациента.

— Ну вот, товарищ Каримов, — сказал он, — скоро вы будете вместе с семьёй.

Глядя Гафуржану в глаза и произнося эти слова, профессор рассчитывал на то, что солдат обрадуется. Но Гафуржан, нахмурившись, стоял как истукан, и профессору показалось, будто тот не может поверить своему счастью, и поэтому повторил:

— Действительно, товарищ Каримов, вы едете домой, к семье.

Стоявший до этого молча, Гафуржан глухо произнёс:

— Нет, отправляйте меня на передовую.

— На передовую?

— Да, на передовую.

— Но ведь вам необходим отдых!

— О каком отдыхе можно говорить, когда немцы наступают? Отправляйте на передовую!

Кто-то из членов комиссии покачал головой. Кто-то посчитал, что рана Гафуржана оказалась серьёзной — такой, что влияет на разум. Однако комиссия исполнила волю бойца.

Гафуржан вернулся в свою роту.

Перед ротой была поставлена цель — взять немецкую траншею. В первый день атака провалилась. Потеряв многих бойцов, рота вынужденно отступила. Огонь с немецкой стороны оказался сильнее. На второй день рота вновь бросилась атаковать.

Командир раздумывал над тем, как неожиданнее напасть на врага, и, размышляя, обратил внимание на то, что с немецкой стороны движется тёмная туча. Она шла прямо на роту, покрывая плотной завесой поля и рядом расположенную лесную чащу. Решение было найдено: к немцам нужно идти вместе с дождевой тучей, чтобы они ничего не успели заметить. Тотчас командир отдал приказ выдвигаться.

— К немцам нужно подойти ближе, а в дождь это сделать удобнее. Он нас скроет.

Солдаты быстро уловили хитрую суть этого плана. Когда дождевой фронт приблизился к немцам, бойцы ринулись вперёд.

Гафуржан спрыгнул во вражескую траншею. Там никого не было, и он, держа в руках автомат, побежал вдоль полосы. На траншейном повороте его заметили. Навстречу выскочил немец. Они столкнулись, но от неожиданности немец оцепенел. Его защитная каска была похожа на котелок. Из-под каски выглядывал острый подбородок и иссохший до самого хряща рыжеватый нос; вытаращенные глаза смотрели на Гафуржана, в них был страх. «Ну вот и всё!» — сказал Гафуржан. Именно так он и представлял себе немца — того, который убил его сына. Гафуржан направил на немца автомат, нажал на курок, но выстрела не последовало. Пришлось снова нажимать на курок, но автомат, как нарочно, отказывался стрелять. Немец пришёл в себя, схватил винтовку и обратил её к Гафуржану. Вся судьба его уместилась в этих секундах. Гафуржан ударил прикладом своего автомата по чужой винтовке и выбил её из рук врага. Пуля просвистела рядом. Левой рукой Гафуржан схватил врага что было сил за горло, а правой достал из кармана остро наточенный нож. Немец, сопротивляясь, пытался высвободиться, но Гафуржан, держа его крепкой рукой, быстро вонзил нож. Голосом дикого зверя взвыл немец от боли, согнулся, затем, выпрямившись, подался назад, качнулся несколько раз из стороны в сторону — и упал на грязную, размытую потоками воды, чавкающую землю. Гафуржан почувствовал отвращение. Он взял немца за руку, сделал шаг вперёд и, перевернув мёртвое тело, бросил как есть, а потом с ненавистью, чётко, по слогам произнёс:

— С-с-у-ка!

И, зарядив автомат, открыл яростный огонь.

Дождь прошёл. Тучи рассеялись, и в небе стала различимой свежая голубоватая полоска, освещённая ярким солнечным лучом. Свет солнца мелким жемчугом падал на землю. Природа заиграла живыми красками. Дождевые ручьи смывали грязную немецкую кровь с земли, обретшей, наконец, свободу.

Гафуржан вдохнул полной грудью. Он чувствовал, что в его душе мрачная туча боли и ненависти сменяется солнцем новой надежды.

Август 1943 года.

Перевёл с татарского Ринат Бекметов





ВИКТОР ЛАВРОВ

ПАРНИ ИЗ 100-Й СВИРСКОЙ

* * *

Виктор Михайлович Лавров, внук священника Алексея Лаврова из села Орловка Мензелинского уезда Уфимской губернии, родился 28 февраля 1925 года в семье сельских учителей. Его отец, Михаил Алексеевич Лавров, преподавал в школе села Лекарева Елабужского района ТАССР и в самом начале войны был мобилизован на войну с фашистами. А в 1943 году, в возрасте восемнадцати лет, уже и Виктор Михайлович был призван в Красную Армию. Ему довелось служить и воевать в разведроте знаменитой 100-й гвардейской Свирской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии. Молодому бойцу, рядовому автоматчику Виктору Лаврову выпало освободить от фашистских захватчиков Венгрию, Австрию и Словакию. Он был награждён боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены» и другими, был удостоен награды чешского правительства.

После окончания войны Виктор Михайлович с отличием окончил военный факультет Московской финансово-экономической академии, дослужился до звания полковника. Был уволен в запас в 1978 году в должности начальника финансового отдела политуправления войск ПВО страны. Последние годы В.М. Лавров работал военным ревизором.

Он был по-настоящему яркой, глубокой личностью, человеком большой души, эрудиции и порядочности, отличным семьянином, обладал, как и все Лавровы, тонким чувством юмора. Проживал постоянно в городе Балашихе Московской области, где и скончался в 2000 году. В этом военном городке под Москвой и по сей день живут три его дочери: Татьяна и двойняшки Надежда и Вера, которым сейчас уже за пятьдесят лет.

Несомненно, помимо родителей, огромное влияние на будущего военного оказал его дед — священник Алексей Лавров. В одном из писем своей снохе, Ксении Фёдоровне Лавровой, обеспокоенной тем, что её сына Виктора могут взять на фронт, священник писал ей 26 марта 1942 года ободряющие наставления: *«И Виктору, как и всем другим, необходимо помириться с той мыслью, что каждый гражданин Советов с 18-летнего возраста является военнообязанным и призывается с оружием в руках защищать свою Родину в момент опасности. Всякие поправки здесь исключены. Задача очень великая и очень почётная...»*

Виктор Михайлович в восемнадцать лет попал в самое пекло войны, с честью выдержал все её невзгоды и испытания и остался жив. Наверняка дед и его жена, матушка Вера, в таком далёком от линии фронта селе Орловка, которое нынче входит в черту города Набережные Челны, тихо и слёзно молились о своих детях и внуках Господу Иисусу Христу и Богородице и всем Святым, чтобы уберечь их от пули вражьей, и чтобы вернулись они живыми домой.

В семье потомков Лавровых бережно хранятся собранные Виктором Михайловичем письма с фронта его отца — Михаила Алексеевича Лаврова. Это эпистолярное собрание — своего рода солдатская энциклопедия войны. Помимо писем отца и своих писем, Виктор Михайлович в художественно-документальной форме написал два военных рассказа, которые публикуются ниже.

Западная пропаганда накануне 70-летия Великой Победы над фашизмом достигла своего апогея в перевертывании истории Второй мировой войны и принижении в ней роли русского солдата-освободителя.

Но правду в нашей стране, где нет семьи, в которой не было бы погибшего в той священной войне, не скрыть и не перевернуть. Мы знаем, как всё было на самом деле в не таком уж далёком 45-м году! И лучшее подтверждение тому — свидетельства самих очевидцев тех событий.

Виктор Михайлович Лавров был прирождённым летописцем. Скупым внешне, но очень образным языком он повествует о буднях и победах нашего народа в Великой Отечественной войне. Читать его рассказы — великое и ни с чем не сравнимое удовольствие. Уверен, что для нашего молодого поколения рассказы Виктора Михайловича могут стать истинным откровением и помогут лучше понять историю и поднять дух патриотизма и любви к своей Отчизне — Великой России!

Недавно я написал и подготовил к изданию документальную книгу памяти православного священника Алексея Лаврова. Воспоминания о войне его внука, Виктора Михайловича, взяты оттуда. Я передал их в журнал «Аргамак» по просьбе главного редактора Алешкова Николая Петровича, который, кстати говоря, и поныне живёт в той же Орловке, где и родился.

*Диакон Алексей Комиссаров.
Богоявленский храм,
г. Менделеевск, Татарстан.*

* * *

Строго говоря, литературное произведение под таким названием — «Парни из 100-й Свирской» — (роман ли, повесть ли) должен был написать не я, а профессиональный литератор, наш однополчанин, известный довольно широкому кругу читателей. Но так получилось, что это дело безнадежно затянулось — частично из-за длительной и тяжёлой болезни нашего писателя, частично, вероятно, по каким-то другим причинам. Предположительно, не последнюю роль здесь играет и такой деликатный фактор, как опасение писать правду... Я взял на себя смелость (чуть не сказал «нахальство») написать под таким названием рассказ, рассчитывая на благосклонность и снисходительность как редакции-издателя, так и читателей. Особое беспокойство и опасение я испытываю перед однополчанами — не будут ли они в обиде на меня за то, что я так скомкал эту великую и святую для нас тему. Безо всяких оправданий отдаю себя на их суд.

Относительно опасности потревожить нравственность отдельных людей в адрес нашей уважаемой цензуры скажу так: наше поколение в 17–20 лет, прямо после школьной скамьи, узнало не понаслышке, а наяву такие вещи как холод, вши, кровь, истязания, изуверства и т. п., и не стало от этого безнравственным. Современной молодёжи мы желаем счастья и радости, но при этом считаем, что сказать ей чистую, нелицеприятную правду должны именно мы, живые участники этих великих событий. Если не мы, то кто же?

1985 год.

* * *

Закончилось очередное заседание Совета ветеранов 100-й гвардейской Свирской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии. Совещались почти весь день, рассмотрели массу вопросов: от утверждения плана работы на очередной период, о проведении в школах уроков мужества, об участии в организации военных игр «Орлёнок» и «Зарница» до утверждения сметы Совета и оказания помощи отдельным однополчанам в квартирных и служебных делах. По окончании работы решили организовать товарищеский ужин прямо на квартире председателя Совета, где проходило заседание, — нашего бывшего командира полка, хлебосольного кавказского человека.

Генерал-лейтенант в отставке, наш «батя», как мы его неизменно называли на фронте и именуем сейчас, хотя самим уже под и за шестьдесят, здравствует и поныне и, если прочитает настоящий рассказ, наверняка узнает и себя, и других действующих лиц — впрочем, все они названы подлинными именами. Его жена, добрейшая Татьяна Владимировна, тогда с ног сбилась, накрывая стол и умело руководя нами: кому почистить и сварить картошку, кому нарезать колбасу, кому сходить в подвал за огурчиками, помидорчиками, капусточкой.

Когда после традиционного тоста за павших друзей прошли первые минуты хорошей мужской еды, зашёл разговор о наших боях в 1944-м году на Карельском фронте (однако это было уже после второй чарки). Там нас не забрасывали в тыл противника, как это делается с воздушными десантниками, а использовали, как обычную стрелковую дивизию, то есть с фронта мы прорывали оборону, которую противник укреплял и совершенствовал целых три года.

Беседа шла довольно сумбурно, часто слышались неизбежные в подобных случаях восклицания: «а помнишь?», «а знаешь?». Весь наш коллектив постепенно распался на отдельные группки, и в каждой из них шли разговоры «по своему плану». Воскресли в памяти форсирование Свири, когда шестнадцать Героев Советского Союза из 99-й и 98-й дивизий нашего корпуса с чучелами на плотках и лодках совершали демонстративную переправу, вызывая на себя огонь оставшихся неподавленными точек противника. Вспомнив, заново пережили гибель нашего корректировщика, который во время артподготовки, корректируя огонь артиллерии из гондолы поднятого аэростата, был сбит у всех на глазах внезапно налетевшим вражеским истребителем. Помнюли заживо сожжённых противником разведчиков из 298-го полка; подвиг старшего сержанта М. А. Караванова, который в критический момент боя, когда был ранен командир роты, принял командование подразделением на себя, обеспечил выполнение поставленной задачи, за что и был удостоен звания Героя Советского Союза. Припомнили подвиги нашего Кавалера ордена Славы всех трёх степеней Ю. В. Калашникова.

Наши разговоры и воспоминания постепенно переходили в неуправляемый шумный базар.

«Э, нет-нет-нет, во всяком деле нужен порядок, да? — вмешался в общую беседу хозяин застолья. — Сделаем так. Каждый, кто хочет, расскажет фронтовую историю или эпизод, который ему запомнился больше всего, а мы послушаем. Говорить коротко, приблизительно пять минут. Да? Кто начнёт?»

Поскольку последовательность этих мини-рассказов для читателя не имеет никакого значения, я изложу их в том порядке, какой наиболее целесообразен с моей точки зрения. Я попытаюсь сохранить их достоверность, а также воссоздать манеру и стиль изложения каждого из говоривших, не называя, однако, их фамилий (на что у меня есть особые причины).

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ. ВЗЯТИЕ САМБАТУКСА

Мне довелось в составе взвода разведчиков заходить в тыл к финнам в районе населённого пункта Самбатукса. Ну, вы знаете, что это такое: среди густого безбрежного леса возвышается большой холм, на котором приютилось селение; под холмом струится река Самбатукса с быстрым течением. От нашего берега до другого, на котором господствует противник, расстояние метров в пятнадцать. На противоположном, неприятельском берегу — система противотанковых рвов и надолбов, колючая проволока в несколько рядов, колючие спирали, минные поля, линия ДОТов, ДЗОТов и бронеколпаков, связанных между собой траншеями. В самом центре обороны врага — обширное непроходимое болото. Сколько полегло там наших парней... Ну, так вот. На рассвете пробрались мы по речкам и болотам к финнам в тыл, даже, можно сказать, не в тыл, а в самую гущу их обороны, благо зелени и кустов было много. Командир взвода лейтенант Н. А. Кореев, забравшись на высокую сосну, долго наблюдал и наносил на карту огневые точки и опорные пункты этого, я бы сказал, свехукреплённого района.

Нести боевое донесение (составленную взводным схему) нашим командованием было приказано мне и моему закадычному другу и земляку Р. С. Карманову. Помню, как мы пробирались среди белого дня по топям и хлябям через линию фронта к своим, и один из нас, а именно я, чуть тогда не поплатился жизнью за свою нерасторопность. Так получилось, что я немного отстал от своего напарника, а когда нагнал его, выйдя из-за куста, увидел, как он размахнулся, готовый бросить в меня уже изготовленную (с вытащенной чекой) мощную гранату Ф-1, прозываемую «лимонкой». Приятель мой почему-то решил, что встретился с финнами, и уже изготовился подороже продать свою жизнь. Долго мы с ним под кустом вполголоса матюгали друг друга, заправляя в запал вырванную чеку и выясняя, кто же из нас прав, а что виноват. А задание было выполнено точно и в срок — донесение нашего любимца и кумира Корнеева доставлено по назначению.

Самбатукса была взята после кровопролитных упорных боёв. Спустя много лет после окончания войны я побывал в ней, и вот что мне рассказал один из её жителей по имени Николай. Вы наверняка его знаете — на месте отсутствующей правой руки у него приделан железный крючок. Так вот, около его дома стала сохнуть, наверное, от старости, огромная, толстая сосна. Он решил спилить её на дрова, но дерево оказалось с сюрпризом — было буквально нафаршировано осколками мин, бомб, снарядов... Так и стояло напоминанием о тех суровых, кровопролитных боях, что сотрясали этот до той поры мирный заповедный уголок.

РАССКАЗ ВТОРОЙ. «ТЁПЛАЯ» ВСТРЕЧА ОДНОПОЛЧАН

Однажды в составе взвода я тоже топал по карельским дорогам, мокрый, грязный и голодный. За давностью времени не могу сказать, какая нам была поставлена задача, но помню, что мы вышли к довольно полноводной реке в районе какого-то населённого пункта. Понял, нет? Через реку — мост, но он почти дотла сожжён, остались только деревянные сваи, которые ещё дымились. На противоположном берегу шоссе уходит от уничтоженного моста в гору, в лес. Понял, нет? И вот вдали на этом шоссе мы заметили большую группу войск: с артиллерией, с конными повозками, с походными кухнями. Пехота — в строю поротно. Направление движения со стороны противника — на нас. Командир взвода решил, несмотря на колоссальный перевес в силах противника, вступить с ним в бой и по возможности задержать, хотя бы на время, эту лавину войск. Ох, и орёл он был у нас, страсть! «Ребята, коль придётся на землю лечь, так это только раз!» — говаривал он. Любили и уважали мы его страшно!

Вот таким командирам надо памятники ставить, минералы (искажённое «мемориалы» — прим. авт.). Понял, нет?

Разместились в сарае и возле него, заняли оборону — кто за брёвнами, кто на чердаке, проломили в досках дыры-бойницы. Лежим, ведём наблюдение за противником. А он всё ближе и ближе и, по-видимому, уже заметил нас, потому что уже начали попискивать возле сарая пули, некоторые из них шлёпали в стены и деревья. Мы пока молчим, потому что основное наше вооружение — автоматы ППС, из них наиболее эффективный поражал цель на расстоянии четырёхсот метров. На сердце, в общем-то, маята, все понимали, что, скорее всего, из этой заварушки нам не выбраться. Вот такая интеграция.

Вдруг взводный, глядя в бинокль, пробормотал: «А похоже, что это наши... Но как они там оказались?» Он быстро схватил палку, привязал к ней носовой платок и выскочил из сарая. Размахивая этим флагом, подошёл к самой воде. Стоит, как гвоздь, как минерал, хоть картину с него пиши, и флагом машет. Полный форс-мажор! На том берегу произошла заминка, потом отделился и пошёл в нашу сторону человек тоже с белым флагом. Подошёл к самому урезу воды и закричал на чистом и отборном русском языке: «Кто такие, трах-тарарах?» В общем, произошло любезное объяснение. «Противник» оказался одной из наших войсковых частей, идущих из резерва нам на помощь. Так едва не завязался бой между своими. А как и почему эта часть оказалась на этой дороге, не в положенном месте — сейчас убей, не помню. Вот такая интеграция. Понял, нет?

РАССКАЗ ТРЕТИЙ. ПИСЬМО ОДНОПОЛЧАНИНА

Я что-то никак не соберусь с мыслями, не сосредоточусь. Мне кажется, что всё, что мы видели и испытали в Карелии, достойно внимания, а выбрать главное трудно. Я, наверное, сделаю по-другому. На днях мною получено письмо от однополчанина С. Ф. Елизова, может быть, кто-нибудь из вас его и помнит. Он из батальона Щукина, снайпер. Вот из этого письма я и прочту выдержку: «Меня интересует одна заметка в газете. Мне бы хотелось знать название газеты, дату и, если будет возможно, иметь какую-то копию текста этой заметки. В ней было написано обо мне и лейтенанте Микулинском летом 1944 года на Карельском фронте. Описан бой нашей роты и названы наши фамилии и звания... Тогда же Микулинский перед строем поздравил меня с представлением к награде. Но представили, видимо, с запозданием, так как наш командир 6-й роты капитан Свистунов погиб, и все командиры взводов были ранены или убиты, поэтому самой награды не получилось, разве что запись в книге представленных к награде за 1944 год осталась на память в архиве. Тогда вообще в нашей роте не раненым остался один солдат Емакин. Как говорится, бились до последнего, даже походную кухню — и ту миной разбило. В этом бою, спасая раненого Микулинского, я был ранен сам фашистским автоматчиком, и пока я одной рукой рассчитался с ним, в меня справа ударили из пулемёта и, в частности, выбили десять зубов. Так что впоследствии у меня была хорошая норма отправлять на тот свет по одному фашисту за каждый зуб. А вот от контузии мне после войны пришлось долго лечиться... Старший лейтенант Микулинский впоследствии был убит в грудь из пулемёта под Веной (на выходе из Мёдлинга). В то время я был в разведке, а когда вернулся, его уже похоронили, да и все четыре брата погибли в боях Отечественной войны. Сам он дрался с воодушевлением, много фашистов истребил, был ранен пулей в ногу, в голову, разрывная пуля из пулемёта «Тигр» почти оторвала руку в апреле 1945 года, руку ему прирастили, но для работы она уже не годилась. Вот наградили его маловато, лишь медалью «За боевые заслуги»...

РАССКАЗ ЧЕТВЁРТЫЙ. ВОЕННОЕ РАДИО

Ну-с, вы помните природу Карелии? Вот именно, как поётся в песне: «Остроко-нечные елей вершины над голубыми глазами озёр...» Белые ночи, полчища соловьёв, великолепный, какой-то смолисто-хвойно-озоновый аромат. По утрам на траве роса — крупная, как горох. В этих благословенных, сказочных местах в восемнадцать–девятнадцать лет заниматься бы любовью, а не проливать кровь. Война здесь казалась особенно нелепой из-за невероятного сочетания пения птиц со свистом пуль, запаха леса с бензиновым перегаром, лирического настроения и атмосферы насилия и жёсткости. Были иногда курьёзные случаи. Помню, во время одного боя, когда всё кругом грохотало и дрожало от стрельбы, разрывов и специфических для боя криков людей, на нейтральную полосу выскочил от страха заяц. И мгновенно с обеих сторон стрельба прекратилась. Кто-то закричал необычным радостно-истощенным голосом: «Заяц!» Всё заулюлюкало, захохотало, засвистело — и с нашей, и с финской стороны. А косою долго метался во все стороны, пока не нашёл где-то щель и не умчался в щель. И бой возобновился. Ну, это я так, немножко отвлёкся.

Так вот, в одну из великолепных, тихих, соловьиных и душных ночей мне пришлось участвовать в необычном деле: агитировать финнов по радио. То есть, агитировал-то, разумеется, не я, а капитан-переводчик, а я выполнял роль носильщика — тащил какие-то ящики, провода, в общем, аппаратуру. Был с нами и специалист, который непосредственно на месте устраивал всю эту музыку, в том числе устанавливал крупнейший рупор. Чтобы финны лучше слышали, нам пришлось пробираться на нейтральную полосу. Что такое передовая ночью? В окопах дремлют солдаты, выставив охранение, с той и другой стороны периодически раздаются автоматные и пулемётные очереди, при этом видны красивые, разноцветные траектории трассирующих пуль; иногда ухнет пушка. А соловьи так поют, что прямо слезу выбивают. Почему-то мне эта ночь особенно запомнилась своей лиричностью, сказочностью, каким-то неземным волшебством...

Ну-с, вот. Нас предупредили, что, вероятно, когда пойдёт наша передача, по нам противником будет открыт сильный огонь, поэтому, мол, необходимо хорошо-хорошо окопаться, выбрать более или менее безопасное место. Но всё это оказалось чистой теорией. Во-первых, мы немножко опоздали, и до рассвета времени осталось в обрез. Во-вторых, стояла белая-белая ночь, так что почти не было разницы с дневным освещением. И поэтому, когда мы с нашими ящиками выползли на нейтральную полосу, то копать там окопы было просто нелепо, потому что нас сразу бы заметили. Кое-как затащили рупор на дерево, сами забрались под куст и... передача началась. К нашему удивлению, наступила мёртвая тишина, и в этой нереальной тишине голос нашего капитана, говорившего по-фински, был слышен, вероятно, на несколько километров. Что он говорил? По-видимому, о бессмысленности кровопролития, дальнейшего сопротивления и тому подобное. Передача шла минут пятнадцать. Потом — глубокая тишина, затем — ураганный ружейно-пулемётный огонь. Мы схватили свою аппаратуру и галопом — в свои окопы. Свалились туда кубарем, все трое живы и невредимы. Капитан-переводчик вытащил портсигар, дрожащими руками достал папиросу себе, протянул нам. Как хорошо, сделав дело, закурить.

И что ещё хочу сказать? Вот до сих пор, когда я попадаю в хороший лес, в особенности ранним утром, когда воздух напоён ароматом цветов, травы и деревьев (молодой лиственницы!), я говорю: «Эх, Карельским фронтом пахнет!», а сам почему-то при этом вспоминаю, как мы по радио агитировали финнов.

РАССКАЗ ПЯТЫЙ. ГИБЕЛЬ РАЗВЕДЧИКА

Тут уже говорили про разведчиков. Скажу про них и я. Сами знаете, в Карелии вся война шла за дороги, чуть сверни в сторону — везде болота, озёра, речки, скалы да камни. Но и дороги все превратились в трясину, их размесила наша техника, обозы, люди — грязь до колен, танки, тяжёлая артиллерия, автотранспорт, конные повозки — всё встало. Боеприпасы и продовольствие к передовой подносили на руках, с фронта снимали целые подразделения — строить гати. Вы всё это, конечно, помните. Помните и огромные минные поля, и всевозможные «сюрпризы» из мин, и лесные завалы, и засады.

Бывало так, что десять-пятнадцать финнов задерживали на несколько часов продвижение целой дивизии. Рассядутся со своими тяжёлыми автоматами «Суоми» да со снайперскими винтовками по деревьям и, когда подойдут наши войска, открывают бешеный прицельный огонь. В первые же дни боёв почти начисто выбили комсостав. Наши начинают разворачиваться к бою, изготавливать артиллерию, танки, рассредоточивать пехоту. И всё это среди болот, валунов, неимоверной грязи. А в это время финны с деревьев — прыг на землю, садятся на велосипеды и отступают на полтора-два километра. И снова по деревьям.

Вот тут и нужна разведка. Её пускают вперёд, чтобы не подвергать риску основные наши силы. Вот и идёт она впереди, перебегают солдаты от дерева к дереву, от камня к камню, от мостика к мостику, пока не напорются на эту самую засаду и не резанёт по ним свинцовый шквал. Иногда бывало, что и на минное поле нарвутся.

Вот однажды мы попали под такой обстрел, упали в придорожные кюветы, головы не поднять. А был у нас командир отделения, сержант Вася Додонов, сибиряк, отличный парень — скромный, весёлый, добрый. Как и у всех нас, у него на поясе висела сумка с несколькими гранатами Ф-1, в которые уже были вставлены запалы (дёргай чеку и бросай). Так вот, у него на поясе эти гранаты взорвались — то ли пуля попала в запал, то ли осколок мины, а может быть, даже осколок камня. И, представьте себе, его разорвало пополам, внутренности расплзлись по придорожной пыли и камням, а сам он жив, только почернел, как уголь. Смотрит на взводного и говорит глухо: «Товарищ лейтенант, сообщите матери...» А тот ему: «Вася, я тебя пристрелю?» — «Не надо, сам умру...» Вот такой эпизод. Сколько жив буду, не забуду его глаз в этот момент — карих, спокойных, ласковых. Но видна в них была и зависть к нам, остающимся жить. А было ему в то время, как и большинству из нас, девятнадцать лет.

Война знает много героических подвигов, когда люди своей грудью закрывали амбразуры вражеских ДОТов, таранили вражеские самолёты, с гранатами в руках бросались под вражеские танки, то есть шли на верную смерть. Ну, а вот такая смерть, неброская, и я бы сказал — скромная, не является ли геройским подвигом ничуть не меньшего порядка? Там хоть люди действовали по пословице: «На миру и смерть красна», знали, что их подвиг воодушевляет других, что их не забудут, ну и так далее. А здесь? Простая, мучительная, нелепая смерть молодого человека, не успевшего ни прославиться, ни нанести большого урона противнику. Но какое мужество, какое великое чувство достоинства и гордости! Не застонал от боли, не завизжал от страха...

Нам выпало великое счастье жить. Это является наивысшей наградой за наши фронтовые дела. Как здесь не вспомнить стихи Твардовского:

*Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...*

РАССКАЗ ШЕСТОЙ. НЕУВЯДАЕМАЯ СЛАВА

Когда мы наступали, я спал по пять-шесть часов в неделю. Да? И то на ходу или во время еды, не знаю как. У меня было — не скажу много, но миллиона два вшей. И-и-х... Вот однажды наступило маленькое затишье. Да? Мой полковой врач Ю. Д. Гитарин — вот он сидит за этим столом — решил организовать баню, нагрел в бочке воды, дал мне чистое бельё, после бани налил стакан спирту, хорошо накормил, и я задремал на срубленных ольховых ветках. А погода была облачная, немного пасмурная. Да? Эх, разве можно это забыть? Не было в моей жизни большего наслаждения и, наверное, не будет.

На карельской земле из нашей дивизии пролили кровь пять тысяч двести двадцать восемь человек. Значит, почти половина. И каких человек — отборных ребят по восемнадцать-девятнадцать лет, в подавляющем большинстве комсомольцев, со средним образованием, пришедших в воздушно-десантные войска по добровольному набору из военных училищ, окончивших их и не получивших офицерских званий. Сегодня мы говорим о Карельском фронте, но ведь наша 100-я Свирская была ещё и в Венгрии, Австрии, брала Вену, освобождала Чехословакию. Да? Там мы потеряли ещё три тысячи пятьсот восемнадцать воинов, а дивизия была награждена орденом Боевого Красного Знамени. Об этом периоде поговорим в другой раз. И-и-х...

Они, эти ребята, покрыли себя неувядаемой славой, и мы будем помнить их всегда. И не только помнить, но и гордиться ими, рассказывать о них, об их подвигах подрастающему поколению.

А самое главное потрясающее воспоминание о Карельском фронте для меня следующе. Когда закончилась Карельская кампания, и остаткам нашей дивизии предстоял выезд в неизвестном направлении на переформирование, я и мой заместитель по политчасти М. К. Дереча тайком объезжали полевые госпитали и лазареты и там доверительно сообщали больным о предстоящем выезде. И начались массовые побеги раненых из лечебных учреждений в свои части и подразделения, зачастую без документов, в нижнем белье, с костылями, в гипсе и так далее. Повальное дезертирство... дезертирство наоборот. Да?

За столом наступило долгое и тяжёлое молчание. Убелённые сединой, избитые, изуеченные, с заскорузлыми, больными сердцами люди, растревожив память, украдкой смахивали с глаз святые и благородные мужские слёзы. И в этой глухой, затопившей комнату и души, тишине прозвучал, как последний приказ, прозвучал негромкий призыв комполка:

«Прошу налить рюмочки. Надо выпить. И-и-х...».

21 декабря 1984 года.

ФРОНТОВАЯ ДОРОГА

О чём только не передумает солдат-пехотинец, шагая по фронтовой дороге к передовой: и о предстоящем бое, и о родных-близких, и о своих боевых друзьях-товарищах, идущих рядом, о жизни и о смерти, о боге и о чёрте, и о многом-многом другом.

В конце марта 1945 года я шёл в строю своей роты по Венгрии. Шли долго. Мимо недавно взятого нашими войсками Будапешта, мимо разбитых и сожжённых хуторов и деревень — на запад.

По-весеннему ярко и приветливо светило солнце, от полей и виноградников поднимался парок, терпко пахло отдохнувшей за зиму землёй, в лазурном небе пели жаворонки, точно такие же, как и в России.

До чего же была яркая, ароматная и красивая та последняя военная весна! Как будто не только люди, но и природа почувствовала приближение конца этой ужасной кровопролитной войны, казалось, что и она своей благоухающей красотой хотела сказать: «Люди! Что вы делаете? Хватит! Посмотрите вокруг — как прекрасна жизнь, зачем вы её губите?»

Солдаты вполголоса переговаривались, делились новостями и слухами. Все знали, что на нашем участке фронта противник предпринял отчаянную попытку наступления, и ценой больших потерь ему удалось потеснить наши войска на шесть-семь километров. Будто бы немцы разбрасывали листовки, в которых написано, что если они Жукова пустят в Берлин, то Толбухина утопят в Дунае. Что вроде бы Гитлером сказаны зловещие слова: «Войну я проиграл, но да простит меня Бог за то, что я сделал в последние три дня войны». Что тут было правдой, что вымыслом — никто не знал, но всё это давало пищу для размышлений, разговоров и тревоги.

Фронтная дорога... По ней двигаются тысячи до предела усталых, запылённых, нагруженных людей, а также танки, автомобили, пушки, конные повозки, «Катюши», мотоциклы, походные кухни. Всё это гремит, грохочет, дрожит, поднимает клубы пыли. Раздаётся конское ржание, отдельные выкрики и возгласы людей, иногда смех, иногда отборная ругань вперемешку опять же с шутками, прибаутками, хохотом. Проезжающие в кузове автомашины артиллеристы кричат: «Эй, пехота! Сто прошёл, ещё охота!», «Привет, братьям-славянам!», «Здорово, земляки!»

А мы шли и думали: хорошо вам шутить, сидя в машинах. Вот заставить бы вас пройти в полной выкладке километров семьдесят, тогда бы вам было не до шуток. А если каждый день по семьдесят? В общем, у пехоты собственная гордость — на всех едущих смотреть свысока!

Разными бывают фронтные походы: наступательные, вызванные отступлением, просто передислокация по приказу командования, походы летние под палящим солнцем, в зимнюю стужу, в осеннюю грязь, под проливными, секущими, ветреными дождями, весенние — по цветущей и благоухающей природе. Марши танкистов, артиллеристов, автомобилистов, пехоты, конницы и т. д. Но есть в них нечто общее, то, что спустя годы и десятилетия, позволяет говорить о ком-либо коротко и в то же время предельно ёмко и ясно: он прошёл дорогами войны, скажем, от Сталинграда до Берлина. И становится ясно, что видел и что испытал этот человек, прошедший указанный путь своими собственными ногами, — это совсем, совсем не то, как если бы он проехал его на машине, в танке, на повозке или пролетел на самолёте.

Когда речь идёт о фронтных дорогах, то никак нельзя считать, что по дорогам движется какая-либо толпа, неорганизованная масса. Нет. Всё чётко регламентировано, всё расписано и обусловлено. Сама дорога предназначена для машин и вообще техники, обочины — для пехоты и конных повозок. И техника, и люди распределены по соединениям, по частям, подразделениям с соответствующими штабами, командирами, начальниками, которые знают, куда идти, где будет привал, где ночёвка, где и когда обед, где ужин.

Лишь рядовой солдат ничего этого не знает. Он добросовестно топает в строю таких же трудяг, иногда перебрасывается одной-двумя фразами с соседом, поглядывает по сторонам и видит то убитую лошадь, то искорёженную пушку, то танк, а то и не похороненные тела убитых людей, покрытые толстым серым слоем пыли. Все чувства обострены до предела, люди чувствуют постоянную, ежесекундную опасность: можно наступить

на замаскированную мину, можно натолкнуться на вражескую засаду — и резанёт по тебе из кустов жёсткая автоматная очередь, попасть под налёт авиации, под артиллерийский или миномётный обстрел. Поэтому волей-неволей начинаешь верить в приметы. Даже не верить, а обращать на них внимание. Вот валяется лошадиная подкова, рогами ко мне. Хорошо это или плохо? Вот взошла молодая луна. Она слева. Вроде бы это плохо. А может быть, хорошо. В конце концов, это всё неважно. Важно то, что человек напряжён до предела и находится в наивысшей степени готовности. Когда переходили в Будапеште Дунай по единственному (понтонному) мосту, очень хотелось оглянуться, но внутренний голос подсказывал: «Не надо, не вернёшься назад, терпи, не оглядывайся». И от этого желание оглянуться нарастало ещё больше, становясь просто нестерпимым.

Сейчас я шёл и вспоминал, как несколькими днями раньше мы сидели в окопах, в так называемом втором эшелоне или, попросту говоря, в резерве. Днём грелись на солнышке, благоустраивали траншеи, делали в них ответвления, ходы сообщения, даже норы, в которые подстилали прошлогоднюю кукурузную солому. Ночами, выставив сторожевые ограждения, спали в этих норах, спасаясь от ночного сырого и пронизывающего холода.

А потом началось нечто страшное — под названием «куриная слепота». Как-то вечером, в сумерках, я очень неловко натолкнулся на командира роты, не узнал в лицо своего соседа по траншее, почувствовал, как какая-то плёнка закрывает глаза. Хотелось её снять, проморгаться, но... напрасно. На следующую ночь я почувствовал себя совсем беспомощным — как будто бы попал в совершенно тёмную комнату — ориентироваться можно было только на ошупь и на мерцающие вдали отблески пожара. С наступлением утра я вылезал из своей норы, и прошедшая ночь казалась кошмарным сном — я снова всё прекрасно видел и был совершенно здоров. Пока находились в резерве, с этим положением можно было мириться — вечером лезешь в свою нишу, закрываешь вход соломой и засыпаешь в ней до утра.

Но вот однажды был получен приказ подготовиться к походу, и через некоторое время рота в составе всего полка вышла на дорогу и двинулась по направлению к линии фронта. Сначала всё обстояло нормально, но с наступлением вечерних сумерек, а затем и темноты, мы, «куряне», стали беспомощными и этой своей беспомощностью и неловкостью вызывали шутки и смех товарищей: то перешагивали на ровном месте через какие-то предметы, которых в действительности не существовало, то натыкались лбами на ствол рядом идущей пушки. Но если вдруг неожиданно налетел вражеский самолёт, и все по команде «воздух» разбегались в стороны, становилось жутко. Лежишь на чёрном поле, среди незнакомых людей, слушаешь взрывы бомб, а сам ничего не видишь, и кажется, что ты уже окружён врагами, вот сейчас схватят тебя за руки, и ты до ужаса бесславно окажешься в плену, даже застрелиться не успеешь.

В результате одного такого налёта я отстал от своих, шёл с протянутыми вперёд руками по дороге, натыкаясь на незнакомых людей, на конские повозки, на автомашины, вызывая то смех, то ругань.

«Что же ты, паразит, тычешься под ногами, как слепой котёнок?» — услышал я вопрос, обращённый ко мне. Пожилой и добрый солдат мягко, но настойчиво взял меня за локоть, ворчливо упомянув себе под нос не то мать, не то бабушку. Он подвёл меня к повозке и разрешил, держась за неё, шагать рядом.

— Из какого полка?

— Из 298-го, автоматчик.

— Так это у вас на днях накрыло роту?

Да, был такой случай. Во время ночного марша в кромешной темноте и пыли шофёр одной из машин по нечаянности или умышленно, чтобы осмотреться, на какое-то

мгновение включил фары, и этого оказалось достаточно для того, чтобы одинокий вражеский самолёт сбросил огромную бомбу, которая попала точно в строй 1-й роты 1-го батальона. И картина эта была ужасна. Ещё не вступая в бой, батальон практически остался без первой роты.

Моего спасителя из-за своей слепоты я не видел. Но почувствовал к нему какую-то сыновнюю симпатию и уважение. Это был повозочный или, как их ещё называли, ездовой, из старых, уже нестроевых солдат, прошедший, как оказалось, и первую мировую, и гражданскую войны. Остаток ночи мы прошагали с ним возле его повозки, благо налётов вражеской авиации в эту ночь уже не было, и о многом поговорили. Мне всё казалось, что я его уже знал, где-то с ним встречался, что-то мы с ним уже вместе делали. Особенно волновали его какая-то грубоватая доброта и это часто повторяемое словечко «паразит». На лошадь он то и дело ворчал, замахивался кнутом, но ни разу не ударил. «Ну, ты, чёртов паразит, опять сачкуешь! Вот я те посачкую! А кнута не хочешь?» И снова продолжалась наша беседа.

Когда утром рассвело, и уже можно было различить предметы, я наконец-то рассмотрел его внешность и пришёл к выводу, что он похож на Калину Ивановича из книги Макаренко, каким я его себе представлял, — висячие, как у запорожца усы, добрые, лучистые глаза с морщинками веером около висков и это любимое словечко «паразит».

Его судьба была сложной и суровой. В ходе войны он потерял семью, у него погиб на фронте взрослый сын, но, несмотря на эти удары судьбы, он сохранил и оптимизм, и твёрдую веру в нашу победу, и даже чувство юмора. Но больше всего поражала его мудрость, которой я не перестаю удивляться и сегодня. Он, например, своим довольно корявым, народным деревенским языком дал мне понять и до глубины души почувствовать величие происходящих событий и соразмерить их с моим собственным духом, с собственной ролью в этом всемирном спектакле, называемом войной. По его словам выходило, что не так уже важно, кем ты являешься, находясь на фронте, — генералом или рядовым, автоматчиком или повозочным, героем или незаметным тружеником. Все по мере своих сил и способностей участвуют в одном общем великом деле, и сам факт этого участия является самым большим и значительным событием в жизни каждого. Все рискуют своей жизнью, каждый вносит в это благородное дело невероятный труд и здоровье. А самое главное — никто не имеет права не только сказать, но и подумать, будто он оказывает кому-то услугу. Все защищают себя, свой дом, своих родных, свою Родину.

На прощание, когда окончательно рассвело, и я наконец-то «прозрел», мой спутник ласково сказал: «Ты вот что. Найди где-нибудь свежей говяжьей печёнки, свари её без соли, да съешь побольше — всю твою слепоту как рукой снимет. А так долго не провоюешь...» И, помолчав, добавил: «Пропадёшь, паразит».

Этим же утром я воспользовался советом «Калины Ивановича». Возле одной из походных кухонь выпросил у повара огромную свежую печень, отошёл в сторонку и на костре сварил это незамысловатое блюдо без определённого названия. Особенно приятным вкусом оно не отличалось, но я добросовестно съел изрядный кусок, да ещё «от себя» подержал под паром глаза. А потом ярким солнечным днём на попутных машинах, на повозках, а иногда и пешком догнал свою роту. С наступлением вечерних сумерек, а затем и ночной темноты моей болезни как не бывало — я всё видел не хуже других. Вот она — солдатская медицина.

А марш продолжался. Впереди беспрерывно грохотала артиллерийская канонада. Под ноги то и дело попадались какие-то подковы то рогами ко мне, то от меня, а в уме постоянно вертелось трудно запоминаемое словечко: «Секеш-фехер-вар». Это название города, по направлению к которому мы шли. И ещё название озера — Балатон.

Враг был ещё очень силён. На узком участке фронта он сосредоточил мощный танковый кулак, намериваясь изо всех сил удерживать колыбель фашизма — южную Германию, в особенности Баварию. Со дня на день должно было начаться наше давно подготавливаемое наступление. По ночам нас обгоняли на большой скорости сотни наших танков, знаменитых Т-34. Они неслись к линии фронта с грохотом и лязгом, туда, к этому самому Секешфехервару, к Балатону. Мурашки пробегали по спине при виде этой картины. Уже и танков давно не видно, а гул и грохот ещё долго сотрясали землю и воздух.

А вот и сам Секешфехервар. Он только что взят нашими войсками. Ещё дымятся развалины и руины, ещё не убраны трупы людей и лошадей, ещё не собраны и не посчитаны трофеи. На обочинах дороги — раненые, ждут отправки в медсанбаты, в госпитали. Они наспех, неумело перевязаны, многие стонут, просят пить. Идём, не останавливаясь, дальше, к передовой. И вот зрелище, заставившее нас, в общем-то, ещё зелёных ребят, содрогнуться, увидев апофеоз современной войны. Огромное, ровное, как стол, поле, усеянное сотнями разбитых, искорёженных танков, наших и немецких. Некоторые машины разрезаны, как бритвой, пополам, и эти половины лежат на большом, до двадцати-двадцати пяти метров, расстоянии одна от другой. Земля сплошь усеяна осколками мин и снарядов, размерами от едва видимых до одного и более метра, разного веса и конфигураций. В танках и рядом с ними обгоревшие, как угли, трупы, в которых с трудом можно узнать людей. Иногда встречаются валяющиеся на земле оторванные части человеческих тел — руки, ноги, внутренности. И над всем этим — стаи птиц и гробовая, жуткая тишина.

Вот, вероятно, здесь и наступил перелом, сила сломила силу! Но какой страшной ценой...

Всё чаще стали попадаться навстречу колонны военнопленных. Немцы брели с опущенными головами, как нашкодившие псы, венгры — с испуганными лицами и с непременными возгласами: «Мадьяр, мадьяр, Гитлер капут».

А нам — всё вперёд и вперёд или, как говорил наш замполит, прямо. Нам ещё только предстояли бои за Австрию, за Вену, за Чехословакию. Ещё много километров нужно было прошагать солдату по благоухающей, но чужой Европе, многое увидеть до вступления в бой, много передумать и перечувствовать.

О, незабываемые, трудные и героические фронтовые дороги!.. Кто знает, может быть, именно вы и есть соль, квинтэссенция войны. Конечно, всем известно, что подлинная суть войны есть бой. Всё подчинено ему, весь великий ратный труд, включая и походы. Но во время боя некогда думать, философствовать, мечтать о будущем, вспоминать прошлое. В общем-то, даже некогда страдать. Бой, как правило, скоротечен. В его пылу и азарте упадёт сражённый солдат, нырнув, как в воду, в холодную вечность, лишь иногда перед этим пронесётся вихрем перед глазами вся его немудрящая жизнь: мать, отец, невеста, зелёный пригорок возле родного дома. И всё...

Могут и ранить. Тогда для тебя хотя бы на время война окончена, впереди госпитали, врачи, сёстры, а быть может и отпуск. Если же остался невредим — будь доволен, получай свои награды, если ты их заслужил, жди следующего боя. А чаще всего — снова топай в неизвестную тебе местность, на неизвестные расстояния, и никаких тебе за это особых наград и почестей. Только великое, ни с чем не сравнимое сознание честно выполняемого долга. Неумолимы жёсткие заповеди войны: «надо», «не можешь — научим, не хочешь — заставим»...

Самой главной мыслью, основным желанием в походе является его окончание. Прийти на место, рухнуть в изнеможении на землю, отлежаться в полузабытьи полчаса-час, прийти в себя, а потом умыться в какой-нибудь речушке или ручье, по-

стирать портянки, покурить всласть, не спеша перекидываясь отдельными репликами с товарищами. А потом, после «приёма пищи» — спать. Может быть, часов пять-семь, а может быть, всего час-два — это уже сколько дадут. Но такое блаженство бывает редко. Чаще всего с приходом на место слышится ненавистная команда: «Окопаться!» И берёт солдат в руки лопату, из последних сил роет окопы, иногда глубиной по пояс, иногда — «полного профиля», то есть во весь рост, и только после этого, сидя или полулёжа, неестественно скрючившись, забывается на несколько часов чутким и неглубоким от переутомления сном. А обиднее всего бывает, когда, едва окончив работу, слышится: «Приготовиться к маршу!» И остаются посреди пустого поля никому не нужные политые потом окопы, разве что благодарные птицы деловито примутся прохаживаться по брустверам и отыскивать червяков в свежевскопанной земле.

Что не передумаешь, шагая в строю своей роты к передовой: «Секеш-фехер-вар», «таланты», «мадьяр-мадьяр», «да простит меня Бог за то, что я сделаю в последние три дня войны»...

* * *

Прошло много лет. Я и мои две дочери стоим в Ленинграде на Дворцовой набережной около пристани на Неве, чтобы купить билеты и на катере поехать в Петродворец на экскурсию. Дует свежий ветерок, ярко светит солнце, отражаясь в серебре воды. Позади себя я слышу мужскую мадьярскую, так знакомую по войне и до сих пор не забытую речь. Оглянулся — точно! Высокий статный человек приблизительно моих лет с чёрными, закрученными вверх усами, в своеобразной маленькой шляпе с высокой тульей и с пером разговаривает с молодой красивой девушкой. Спрашиваю: «Мадьяр?» В ответ: «Мадьяр, мадьяр!» Оказалось, что девушка учится в одном из институтов Ленинграда, и к ней из Венгрии прилетел погостить отец. Она охотно взяла на себя роль переводчика и дала нам возможность объясниться. На мой вопрос — нравится ли ему Ленинград, последовал восторженный положительный ответ: да, Ленинград — прекрасный город, он рад, что здесь учится его единственная дочь и что ему удалось побывать в этом городе. Я сказал, что во время войны мне тоже пришлось побывать в Венгрии и что мне также очень понравилась эта страна. Когда же я сказал, что особенно мне запомнился Секешфехервар, Балатон и прилегающие к ним места, мой собеседник встрепенулся, замахал руками и с радостью стал объяснять, что он тоже воевал в этих местах. При этом он со смехом имитировал стрельбу, кричал «пух-пух» и целился в меня. Наша сумбурная и довольно громкая беседа привлекла внимание окружающих, мы оба несколько сконфузились и замолчали.

Логика войны проста и беспощадна: убей, уничтожь противника или он уничтожит тебя. Вполне могло быть, что этот мадьяр убил бы меня или его убил бы я, или вообще мы погибли бы оба... И не было бы тогда ни нас, ни наших красавиц-дочерей, ни моего внука Пашки, который сейчас, когда я пишу эти строки, сидит рядом и смотрит на меня лукавыми и озорными глазами.

7 апреля 1984 г.

ГИТЛЕР КАПУТ

Сажу за столом, читаю свои фронтовые письма — треугольники со штампами: «Красноармейское письмо, бесплатно», «Просмотрено военной цензурой». Эти письма чудом сохранились до сих пор, пролежав десятки лет где-то в бельевом шкафу,

аккуратно завёрнутые моей матерью в газету и перевязанные тесёмкой. Как хорошее выдержанное вино со временем становится всё более качественным, вкусным и ароматным, так повышается по прошествии лет и ценность этих писем. Читая их, воскрешаю в памяти великие события, составившие, в общем-то, основной смысл моей жизни, да и жизни всего моего поколения. За давностью лет стёрлись некоторые детали, мелкие штрихи отдельных эпизодов, имена и фамилии друзей, сослуживцев, командиров, постепенно выветривается особый, ни с чем не сравнимый аромат того времени — «запах войны». Но отдельные моменты до того ярко и чётко отобразились в мозгу, что стоят перед глазами, как будто бы это случилось вчера: и люди, и их лица, и голоса, и звуки, и запахи, и твоё душевное состояние — всё встаёт за скупыми строками ветхих пожелтевших листков. Но это опять же только для меня, их автора. Посторонний человек, прочитав эти письма, в лучшем случае узнает схематично, в общих чертах, где был и что видел автор, но что стоит за каждым письмом, какие люди действовали в этих событиях, саму обстановку, атмосферу тех дней читатель, конечно же, не представит.

Вот я и хочу попытаться, использовав несколько моих писем тех лет, описать более или менее подробно стоящие за ними дела. Имена и фамилии подлинные. Время действия — апрель-май 1945 года, место — Австрия, Чехословакия.

* * *

«6 апреля 1945 года.

Здравствуйте, мои дорогие!

Это письмо я пишу Вам под звуки артиллерийских залпов, вой мин и пение пуль — вот уже несколько дней ведём бои на подступах к Вене. Я пока что жив и здоров, чувствую себя хорошо, хотя и несколько устал как физически, так и морально: ведь совершить марш от гор Кечкемет через Будапешт на Секешфехервар, Шарвар и Баден не так-то просто, получается около трёхсот км. В настоящее время враг усилил своё сопротивление, подтянул свежие силы и дерётся с яростью обречённого на гибель, но, безусловно, его конец близок, и от расплаты ему не уйти.

Пока всё. Целую вас всех крепко, надеюсь, что в скором времени мы встретимся».

* * *

«12 апреля 1945 года.

Привет из Вены!

Вот уже четыре дня как мы ведём бои на улицах Вены, причём сейчас добрались уже до центра. Я пока что жив и здоров, легко ранен в левую лопатку. Плащ-накидку мою всю уже изорвало осколками, но я какими-то судьбами почти невредим и до сего времени нахожусь в строю. Что будет дальше — не знаю, но я рад тому, что мне удалось побывать в таких исторических и знаменитых местах. Пока всё. Целую. До скорого свидания».

«17 апреля 1945 года.

Добрый день, дорогие мои!

Начиная с 4 марта и до сего времени мы всё идём и идём. Весь наш путь можно разделить на несколько этапов: 1) Кечкемет-Будапешт; 2) Оборона в районе озёр Балатон и Веленце и изматывание знаменитой танковой группы немцев; 3) Наступление наших войск по Венгрии и наш поход во втором эшелоне под бомбёжкой, а

иногда и под обстрелом; 4) Вступление нашей дивизии в бой на подступах к Вене, где сопротивление врага стало ещё более упорным; 5) Вступление в Вену и бои на улицах города.

Особенно много я мог бы написать о Вене, ведь по ней я прошёл от окраин до центра, от центра до Дунайского канала и от канала до Дуная! И всё это с непрерывными боями, особенно в восточной части города! В настоящее время я вижу Вену такой, какой мы её оставили 15 числа: море цветов и белых флагов на улицах и звуки последних артиллерийских залпов по оставшимся отдельным очагам сопротивления противника. Откровенно говоря, мне было жаль покидать этот прекрасный город, в котором я и не мечтал побывать».

* * *

Вену мы обошли с запада и неожиданно оказались в районе знаменитого, воспетого Штраусом Венского леса. Это и в самом деле великолепный, в основном дубовый лес, но, так сказать, «окультуренный» человеком. По нему кое-где проложены асфальтовые дорожки, иногда попадаются кормушки для животных, неизвестно для чего сделанные довольно высокие и аккуратные кирпичные стены. В одном месте на встрече нам выскочил маленький броневичок, метра в трёхстах от нас остановился, как бы в задумчивости, выпустил в нас несколько очередей из пулемёта, развернулся и укатил обратно.

В гуще деревьев пели птицы, ярко, по-летнему светило солнце, хотелось сбросить всю эту амуницию, упасть на траву, забыть про войну, пить, есть, любить женщин, отдохнуть душой. Ведь подавляющему большинству из нас было всего по восемнадцать–двадцать лет. Но не тут-то было! Справа из-за стены вдруг ударил тяжёлый крупнокалиберный пулемёт, пули падали возле нас и почему-то с шипением шныряли некоторое время по земле. Потом всё снова затихло.

Перебегаем от дерева к дереву, от камня к камню. Вдруг позади нас раздался страшный гул, треск ветвей, взрыв — наш самолёт Ил-2, вероятно, подбитый противником, упал недалеко от нас и взорвался. Идём всё вперёд, готовые к любым сюрпризам. И как-то совсем неожиданно, поднявшись на очередной холм, вдруг увидели перед собой Вену — чудесный, сказочной красоты город. Он лежал перед нами, как в огромной чаше, в лучах заходящего солнца, весь зелёный, благоухающий, цветущий. В вечернем небе разноцветными гирляндами медленно ползли следы пулемётных трассирующих пуль. Ближние к нам дома, сделанные на манер дач-коттеджей, увиты зелёным плющом, между ними — ухоженные цветники, дорожки, дворики, отгороженные один от другого красивыми решётками. Неужели в них засели солдаты противника, и сейчас начнётся бой, который нарушит эту идиллию и сказочную красоту? Высланная вперёд разведка донесла, что противника, да и мирного населения, в этих домах нет и их можно занимать для ночлега.

Бои за город начались на следующее утро и носили довольно сумбурный характер. Во всяком случае, получилось так, что штаб дивизии потерял связь со своими полками, их пришлось разыскивать среди большого количества других войсковых частей, которые зачастую также держали связь с вышестоящими штабами в лучшем случае по радио, но не знали толком, где они находятся. Великое дело — инициатива! Без каких-либо особых команд все стремились к центру города. Артиллеристы сами выбирали себе цели, лупили прямой наводкой по огневым точкам противника и подозрительным местам, танкисты быстро пробились к центру и при этом несколько оторвались от пехоты, которая в свою очередь активно действовала непосредствен-

но в домах, подвалах, дворах и подворотнях. Иногда среди наступавших появлялся кто-либо из местных жителей — патриотов-антифашистов, указывал, как лучше и безопасней проникнуть в тот или иной пункт, где созданы очаги сопротивления противника. И уже вот он, парламент, вот здание венской оперы, вот собор святого Стефана, Бельведер, дворец принца Евгения Савойского! Гвардейское «ура» раздаётся то тут, то там. Сравнительно легко дошли до Дунайского канала, и тут пришлось остановиться, так как на его противоположном берегу противник закрепился не на шутку.

Дома, находившиеся на набережной, были укреплены, в подвалах и на этажах зданий установлены орудия и пулемёты, из окон вели прицельный огонь снайперы. Мосты через канал были взорваны, а единственный уцелевший — заминирован и в любую секунду мог быть поднят на воздух. В дальнейшем этот мост был спасён от взрыва гвардии старшиной С. А. Кузаковым с группой бойцов. При форсировании канала по нему переправились наши батальоны, которые захватили на противоположном берегу плацдарм. В этой операции старшина С. А. Кузаков был ранен в обе ноги, но, тем не менее, продолжал выполнять задание.

Поздним вечером 11 апреля рота сосредоточилась под аркой одного из домов. Нужно было перебежать улицу и двигаться по переулку к каналу. Но били снайперы, поэтому перебегать улицу приходилась по одному и по два человека, быстро и зигзагами. В конце концов, перебежали все и пошли по тёмным и глубоким, как колодцы от высоких домов, переулкам. Тихо и жутко. Вдруг полыхнуло пламя, раздался страшный взрыв, поднялась пыль, застонали раненые. Меня как будто палкой ударило в левую лопатку. Упал. Мозг лихорадочно работает. Ранен. Что делать? Куда бежать — вперёд или назад? Или ползти? Вскაკиваю в кромешной тьме, бегу вперёд и в подъезде одного из домов встречаю группу наших солдат. Они держат под руки тяжело раненного также в лопатку Васю Кучерявенко. Рядом обнаружили лестницу — спуск в подвал, решили по ней спуститься, чтобы оправиться, оказать помощь раненым и решить, что же делать дальше.

Хороший, чистый, кирпичный подвальный коридор, по обеим сторонам которого — двери в кладовые. За одной из дверей слышим немецкую речь. Волосы под шапками зашевелились. Берём автоматы наизготовку, резко толкаем дверь и врываемся внутрь. Перед нами довольно большая комната, заставленная мебелью: стол, диван, кресло, несколько стульев. Обитатели — немецкая семья, на время боёв спустившаяся из квартиры в подвал. Наиболее колоритная фигура — старая немка. Она меньше других испугалась, когда мы ворвались, не потеряла присутствия духа и быстро вошла с нами в контакт, благо хоть и совсем мало, но понимала русский язык. Первым делом мы узнали, были ли у них до нас русские солдаты. Оказалось — да, днём был «русиш зольдат» и просил «тринкен вассер». От сердца отлегло, значит, находимся на территории, уже занятой нашими войсками. Второй нашей задачей было обработать рану Кучерявенко и хорошо её перевязать. Нам дали тёплой воды, полотенце, усадили раненого в кресло. Рана была тяжёлая: осколок вошёл в лёгкие, кровь пузырилась, раненый хрипел, воздух со свистом, как из футбольного мяча, выходил из раны. У меня лопатка оказалась сильно ушибленной — то ли осколком на излёте, то ли куском кирпича. Она распухла и имела огромный кровоподтёк, рука повисла, как плеть. Страшно подумать о том, что было бы, если бы осколок ударил с полной силой, ведь рядом сердце.

Хозяйка была очень активна, интересовалась, откуда мы родом, есть ли у нас родители, любим ли мы их и т. д.. А сама то и дело повторяла: «Гитлер капут, Гитлер капут». В довершение всего — перешла на религиозную тему, очень интересовалась, верим ли мы в Бога, достала с груди крест и всё пыталась дать нам его поцеловать.

Вскоре посланные нами ребята отыскали основную группу нашей роты, и мы присоединились к ней, предварительно попрощавшись с хозяевами коротким приветствием: «Гитлер капут!».

Наутро я обратил внимание на то, что моя трофейная плащ-накидка во многих местах порвана. Затем дыры я обнаружил и в гимнастёрке и даже в шапке. Сначала не мог понять, откуда они взялись. А потом сообразил... Не родись красивым, а родись счастливым!

Во дворах и подворотнях всё чаще стали попадаться кучки немецкого военного обмундирования. По простоте душевной я опять вначале не мог понять, что это означает, пока не увидел собственными глазами, как на одном пустыре два немецких солдата судорожно сбрасывали с себя военную форму, чтобы одеться в приготовленную гражданскую одежду. Всё стало ясно. Они пытались переодеться в штатские платья, чтобы смешаться с гражданским населением и таким образом уцелеть.

Город между тем всё гуще одевался флагами: австрийскими национальными, красными советскими, но, в основном, белыми, означавшими капитуляцию. Они спускались десятками, сотнями, тысячами из окон домов, и от этого становилось радостно, хотя картина эта выглядела несколько наигранно наивной, потому что напоминала средневековье. Казалось, что город стоит на коленях. Но артиллерийская канонада и ружейно-пулемётная перестрелка ещё продолжались. 13 апреля какой-то незнакомый мне солдат увесистой ладонью хлопнул меня по плечу и спросил: «Слышал? Есть приказ Сталина о взятии Вены!» Вместе с ним в одном из дворов мы распили бутылку вина, поздравили друг друга, расцеловались и расстались навеки.

Вскоре нас построили, и мы с оркестром, усталые, грязные, но чертовски воодушевлённые и радостные, прошли по улицам города. Помню, с каким великим эмоциональным подъёмом пели «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Слезы блестели на глазах, глотки рвались от энтузиазма, а над Бельведерами и Рингами гремело: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идёт война народная, священная война!»

За мужество и героизм, проявленные в боях за взятие Вены, наша славная 100-я гвардейская Свирская стрелковая дивизия была награждена орденом Боевого Красного Знамени, 8336 её гвардейцев были отмечены высокими правительственными наградами, а командиры батальонов 301 гвардейского стрелкового полка майоры Г.А. Калоев и И. Ф. Щукин, а также старшина С. А. Кузаков стали Героями Советского Союза.

* * *

«4 июня 1945 года.

Здравствуй, папа!

Ты просишь от меня писем «с подробным описанием своей жизни». Должен тебе сказать, что те дни, когда все минуты были одна интереснее и торжественнее другой, то время, когда мы, пыльные, радостные и возбуждённые проезжали чехословацкие города и сёла, когда встречались с американцами и пожимали им руки — всё это прошло и превратилось в воспоминания. Сейчас снова началась муштра, солдатский режим с бешеным подъёмом, с зарядкой, осмотром, различными информациями и т. д. и т. п..

Лучше я попробую рассказать тебе о том, что происходило у нас перед окончанием войны, как мы встретили этот конец и как воевали после.

После того, как мы ушли на отдых из района Альпийских гор, был получен приказ переходить на другое место, куда именно — никто из нас не знал. Марш был очень

труден и проходил по тем местам, где до этого действовала наша дивизия. Числа 5 мая мы пришли вторично в Вену. Город за каких-то двадцать дней стал неузнаваем, идеально убран и вычищен, весь буквально утопал в зелени и цветах. Дома походили на букеты живых цветов — так заросли они вьющимися цветами, и только по окнам можно было понять, что тут живут люди. Ты не думай, что Вена очень пострадала от боёв. Совсем нет — она так же прекрасна, как и раньше, разрушена только часть города в районе Дунайского канала, так как немцы пытались на нём закрепиться.

В Вене мы переправились через Дунай по единственному уцелевшему мосту и сразу же попали в подчинение 2-го Украинского фронта. Через 10–12 часов ходьбы мы уже были около линии фронта, где и остановились отдохнуть. На другой день со всеми мерами предосторожности стали продвигаться ещё ближе к переднему краю. Вот уже отлично слышна не только пулемётная стрельба, но и треск автоматов. Снова организм приходит в какое-то возбуждение, невольно все проверяют своё снаряжение до мелочей. Снова остановка. Измученным людям дали спокойно проспаться ночь. Утром дали команду проверить оружие, подогнать снаряжение, всё лишнее — бросить. В два часа мы должны пойти на прорыв вражеской обороны, которую уже неоднократно пытались прорвать ещё до нашего прихода. Все эти приготовления были 8 мая утром, тогда же я написал тебе письмо о том, что снова вступаю в бой. Командование полка и батальона уехало на рекогносцировку местности; по их возвращении мы должны уже выдвигаться на исходный рубеж. Неожиданно в сарай, где мы сидели, вбежал капитан, замкомандира батальона, контуженный недавно фауст-снарядом, и закричал, сильно заикаясь: «Что вы сидите? Умирать собрались? Я вот тоже всю ночь не спал, всё о смерти думал, а сегодня вдруг новость — немцы бежали! Нам, наверное, и воевать больше не придётся, говорят, что война кончилось».

Оказалось, что немцев в обороне нет. Часть, которую мы должны были сменять, быстро снарядила грузовые машины, к каждой прицепили по пушке, посадили по отделению солдат и послали в погоню. В нашей дивизии быстро мобилизовали для этой же цели все имевшиеся машины, в том числе санитарные, артиллерийские, даже с хлебопекарен, так что весь данный состав был посажен, на каждую машину — два станковых пулемёта, ружьё ПТР, взвод солдат, и началась бешеная погоня.

Как тебе известно, на нашем фронте стояла 8-я немецкая армия, которая отказалась капитулировать. В первый день погони, 8 мая, несмотря на бешеную езду, немцев мы не догнали. Уходя, они заминировали большие участки дорог, взорвали почти все мосты, но, несмотря на всё это, в ночь с 8 на 9 мая тыловые части были от нас всего в полутора-двух километрах. Часов в одиннадцать ночи один батальон нашего полка вступил в бой, а мы сидели на машинах и ждали своей очереди. Бой, правда, был не сильным, так как все тыловики немедленно сдались, но продвигаться дальше ночью было опасно. Прямо на машинах, привалившись друг к другу, мы задремали. Вдруг сквозь сон я услышал голос нашего помкомвзвода: «Ребята! Сейчас я слушаю по радио Москву. Германия капитулировала, 9 мая объявляется Днём Победы!»

Сколько времени весь народ ждал этого часа, сколько говорили о нём!.. Я, например, представлял себе, что, узнав о мире, люди будут, как козлы, прыгать вверх, кричать «ура!» и целовать друг друга. Но на деле оказалось совсем другое. Я проснулся и переспросил о том, что только что слышал. Все подтвердили. Помкомвзвода позвал меня и ещё одного паренька пойти выпить за победу, но я отказался, повернулся на другой бок и проспал до самого рассвета.

С утра снова погоня, немцы почти все сдаются, сопротивление оказывают только матёрые эсэсовцы да власовцы, но им пощады нет! Машины замедляют ход прямо посередине их колонны, некоторые немцы бегут в лес, в овраги, мы спрыгиваем с

машин и открываем огонь по беглецам. Выхода нет, им приходится только сдаваться. Конвоя для пленных почти не выделяли, на триста-пятьсот человек один-два провожатых, а сами дальше, дальше. В населённых пунктах в каждом доме производили обыски и почти в каждом подполье или чулане обнаруживали немцев. Такая погоня продолжалась до 13 числа, наши потери были небольшие, основная масса немцев всё же ушла к союзникам, но потом их оттуда всё равно переправили к нам.

Если бы ты знал, как нас встречал народ Чехословакии! Это невозможно выразить словами, нужно было видеть, как они забрасывали машины, на которых мы переезжали, цветами, как спешили расцеловать каждого солдата, как многие плакали от радости! А какие демонстрации в городах, сколько национальных флагов, цветов, музыки и т. д.. Потом мы соединились с американцами, вместе с ними ходили в чешский клуб, пили пиво и т. д..»

* * *

Да, действительно, когда я услышал о том, что война окончена, и 9 мая объявлено днём Победы, то «повернулся на другой бок и проспал до самого рассвета». Это объясняется страшной, невероятной усталостью, и не только физической, но, главным образом, усталостью нравственной, моральной. Думаю, так спал маршал Г. К. Жуков, когда в 1941 году под Москвой отбросили немцев и громадное напряжение спало («Комсомольская правда» от 27.01.1985 г., статья «Рядом с маршалом»).

Чтобы нагляднее показать масштабы развала фашистской военной машины в последние дни Великой Отечественной войны на нашем участке, сошлюсь на книгу маршала Советского Союза И. С. Конева «Записки командующего фронтом»: «...штаб группы армий «Центр» разработал план постепенного отхода войск в Западную Чехословакию и Северную Австрию, навстречу американцам. Оказывается, Кейтель, подписав в этот день в штабе Эйзенхауэра предварительную капитуляцию, тотчас же направил генерал-фельдмаршалу Шернеру приказ за своей подписью о прекращении боевых действий. Однако Шернер отказался выполнить это требование и начал отвод войск на запад» (стр.529).

В этой же книге маршал И. С. Конев указывает на то, что колонна военнопленных из группировки Шернера была настолько большой, что голова её уже подходила к Дрездену, а хвост был ещё около Праги (стр.543).

Десятки и сотни тысяч пленных немцев брели понуро по дорогам, побрякивая, как кандалами, своей амуницией. При встрече с русскими вместо пароля произносили два довольно банальных слова: «Гитлер капут». О том, как нас встречали в Чехословакии, вероятно, рассказать обычными словами невозможно, поэтому я и не буду пытаться это делать. Ограничусь лишь одной фразой: только ради этой встречи стоило жить и страдать.

8 марта 1985 года.



ДА БУДУТ СВЯТЫ ВАШИ ИМЕНА

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВ



ШЁЛ ОТЕЦ...

*Шёл отец, шёл отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли...*

Юрий Кузнецов.

Я мало знаю о своём отце, и то по рассказам бабушки и односельчан.

Родился я в конце ноября 1941 года, а в декабре этого же года отец ушёл на войну, и, как оказалось, ушёл навсегда. По окончании войны мы получили сообщение о том, что рядовой Матвеев Михаил Ионович пропал без вести. С такими сведениями о своём отце я жил и вырос. Ещё в детстве я много раз задумывался о военной судьбе отца, хотел куда-нибудь написать, но не знал, как это можно сделать. Судьба отца, дорогого мне человека, волновала. Я постоянно видел слёзы матери и бабушки. Незвестность давила на нас. Уже тогда я понимал, как она тягостна.

Когда мне исполнилось десять лет, умерла моя мама, основательно потрудившись на колхозной работе. Слёзы бабушки, матери отца, я наблюдал с этого момента всё чаще и чаще. Она время от времени спрашивала меня: нельзя ли узнать хоть что-то о том, где воевал отец, в каких условиях шли бои, и в каком из них его нашла смерть.

Я и сам ловил себя на мысли: вдруг живы люди, с которыми он воевал, которые знают его и помнят поныне. В 1968 году я обратился в архив Министерства обороны (г. Подольск) и получил вот какой ответ: «На Ваше письмо сообщаем, что по имеющимся сведениям рядовой 608СП146Сд Матвеев Михаил Ионович, 1918 года рождения, значится в числе пропавших без вести на фронте Великой Отечественной войны 12 апреля 1942 года». Я побеспокоил архив ещё раз и попросил ответить на такие вопросы: где вела бои 146 Сибирская дивизия в апреле 1942 года; в составе какой армии; кто командовал дивизией и армией; кто были непосредственными сослуживцами отца, уцелевшими после Победы. Мне прислали и эти сведения. Я узнал, что дивизия под командованием генерал-лейтенанта Ю.В. Новосельского входила в состав 50-й армии под командованием И.В. Болдина. Мне сообщили также, что эта армия вела бои на Западном фронте под командованием Г.К. Жукова. Получил я также небольшой список сослуживцев отца. Но к тому времени среди них практически никого не осталось в живых: одни умерли от ран вскоре после Победы, другие — от болезней, подорвав своё здоровье на фронте.

Случай свёл меня в Казани с председателем Совета ветеранов 146 Сд В. Г. Ковалёвым. Мы неоднократно беседовали с ним на тему войны и военного лихолетья.

Он дал мне адреса казанских ветеранов 146 Сд, а также адрес писателя А.А. Лесина, проживавшего после демобилизации в Симферополе.

Я обошёл всех казанских ветеранов 146 Сд. Все они рассказывали о том, что дивизия в условиях весенней распутицы 1942 года вела кровопролитные наступательные действия в районе Зайцевой Горы (возвышенность 269,8 метров над уровнем моря). Перед дивизией стояла задача: перерезать Варшавское шоссе в районе этой же высоты и соединиться с бедствовавшим в тылу у немцев кавалерийским корпусом генерала Белова и другими частями Красной армии, оставшимися там после зимней московской наступательной операции наших войск. Дивизия несла огромные потери в живой силе и технике, но сбить немцев с сильно укреплённой высоты не удавалось. Зайцеву Гору и соседние с ней высоты обороняло до тридцати вражеских искусственных сооружений — догов и дзотов, огороженных несколькими рядами колючей проволоки. Варшавское шоссе находилось в руках врага. По этой асфальтовой дороге немцы бесперебойно подвозили в район Зайцевой Горы технику, боеприпасы, продовольствие и живую силу. В полосе же наступления наших войск дорог с твёрдым покрытием не было. Участок «Варшавский» от Москвы до Зайцевой Горы (270 км) практически не действовал: авиация противника господствовала в воздухе и не позволяла нашим двигаться по дороге. И всё же вновь и вновь наши войска поднимались в атаку, проявляя чудеса героизма. Так, пулемётчик Абрар Залялиев воткнул в землю подручный кол, укрепил на нём поворотное колесо от телеги, привязал к нему пулемёт и из такой вот «зенитки» сбил два фашистских бомбардировщика.

Храбро дрались наши земляки. Командование дивизии маневрировало. В атаки ходили ночью, чтобы не мешала немецкая авиация. Но велики были потери — только за месяц боёв от 18 300 человек личного состава дивизии осталось всего 4 190.

Не имея достаточных сил и средств для взятия высоты, наше командование решило уничтожить укрепления немцев иным способом: был задуман и прекрасно осуществлён подкоп под высоту 269,8. Сапёры 50-й армии под руководством майора Максимова сорок дней в чрезвычайно трудных условиях, без специального оборудования вели подкоп под вражеское логово. На глубине пятнадцати метров было заложено под высоту двадцать пять тонн взрывчатки. Рано утром 4 октября 1942 года раздался мощный взрыв. Он поднял в воздух укрепление немцев. От детонации взорвались и минные поля врага. Взрыв похоронил разом до четырёхсот фашистских солдат. От взрыва образовалась воронка диаметром в сто метров и глубиной в двадцать метров...

Написал я письмо и в Симферополь А.А. Лесину. Ему я писал о том, что мне уже двадцать семь лет, что я теперь старше своего отца. А когда отец уходил на фронт, мне было всего несколько недель. Тяжело сознавать, что я не видел своего отца, что от него не осталось у нас в семье ни одной фотографии. На документах они были, но документы остались с ним. Где? Не знаю. Говорят земляки, что я похож на своего отца. Приходится верить и дорисовывать с себя недостающие черты его образа.

А.А. Лесин начинал службу в одном полку с моим отцом. Я просил писателя рассказать о жизни полка в период формирования дивизии под Казанью, по дороге на фронт, в апрельских боях 1942-го. Ставил я и прямой вопрос, не доводилось ли лично встречаться с отцом. В письме я сообщил, что он призывался из деревни Иванаевка Акташского района Татарии, до войны окончил среднюю школу и четыре года учительствовал в начальной школе села. Он был женат, имел двоих детей: меня и мою сестру двумя годами старше.

Вскоре я получил от А.А. Лесина доброе письмо и книгу «Была война» его авторства. И письмо, и книгу (это дневник боевого пути 146 Сд) я перечитал несколько

раз и с таким вниманием, каким едва ли достаивались с моей стороны ещё какие-либо книги и другие письменные материалы. В книге есть подробная картина боевых действий 12 апреля 1942 года. Это было боевое крещение и очень трагичное для всей дивизии. В этот день погиб мой отец. Отвечая на вопрос, А.А. Лесин написал: «Где я мог видеть Вашего отца? В Куркачах (это недалеко от Казани), здесь были расквартированы подразделения 608-го. Здесь комдив генерал Новосельский делал смотр нашему полку. Весь полк стоял, вытянувшись в четыре шеренги. Возможно, где-то недалеко от меня стоял и Ваш отец. Мог видеть его и в эшелоне, следовавшем на фронт, но, дорогой Коля, через четверть века я не могу сейчас вспомнить бойца-пулемётчика с фамилией Матвеев. Под Зайцевой Горой же было такое, что там — не до запоминания отдельных лиц и личностей».

В «Журнале боевых действий» (он хранится в Центральном архиве Советской армии, в Подольске) записано:

«В 12.00 12 апреля 1942 года противник силою до полка пехоты с 12-ю танками при поддержке самолётов атаковал Фомино (маленькое село на склоне Зайцевой Горы) и после двухчасового боя овладел им. 608 СП, потеряв до 70% личного состава, отведён в лес севернее Маслово».

Два часа боя — и от полка осталась лишь треть. Вот что там было...

Ещё одна выписка из того же «Журнала боевых действий»: «21 апреля 1942 года командир дивизии решил: из всех остатков стрелковых полков сформировать один стрелковый батальон». И имеющимися силами удерживать оборону Фомино.

Далее А.А. Лесин написал:

«Под Зайцевой Горой легло до ста тысяч солдат и офицеров пяти стрелковых дивизий, двух танковых бригад, пяти артиллерийских полков и трёх других спецподразделений. Среди этих ста тысяч и Ваш отец. Нельзя было опознать каждого. Непознанные считаются «пропавшими без вести». Я бы советовал Вам, Коля, съездить туда. От Москвы до Зайцевой Горы ходит автобус «Москва-Рославль». На горе сейчас — монументальный памятник, и будет музей». (Музей теперь тоже есть).

Лето 1970 года. Еду на Зайцеву Гору, туда, где по призыву Родины весной 1942 года стояли насмерть наши земляки, наши отцы.

Автобус делает небольшую остановку в Малоярославце. Здесь били немцев зимой 1941 года. Возле города — железная дорога. Здесь она проходила и тогда, во время войны. Как раз по ней шли эшелоны с войсками 146 Сд из Татарии на передовую.

Проехали Медынь... Название города созвучно с названием белорусской деревни Хатынь. И в судьбах много общего. Война оставила от них только дымящиеся развалины. Теперь всё восстановлено, заново отстроено. Но как вернуть людей — защитников Родины?!

Юхнов... В начале 1942 года здесь разворачивались наступательные операции наших войск, целью которых было — срезать Юхновский выступ вражеских частей. Ожесточённые бои шли и в самом городе, и в его окрестностях. Во дворе одного из домов после освобождения Красной Армией было найдено двести погибших советских солдат, замученных фашистами.

Дорога пошла на подъём к Зайцевой Горе. Издалека видна у дороги на высоком постаменте гранитная фигура советского воина. Волнуясь, иду по мраморным ступеням. Здесь похоронены советские воины — наши отцы, те, кто не дождал до Победы, кто отдал ради неё свою жизнь. Читаю высеченные на огромной плите суровые слова: «Вечная память солдатам, сержантам и офицерам...» Далее идёт длинный список частей, воины которых пали в боях в районе Зайцевой Горы.

По склону возвышенности иду по направлению к Фомино. Подхожу к месту конца подкопа, где осенью 1942 года был осуществлён взрыв немецких укреплений. Спускаюсь на дно огромной воронки. Она поросла осинками и берёзками, однако на дне видны полузаваленные землёй и поросшие травой крупные — не поднять! — остатки немецких артиллерийских установок. Вокруг высоты валяются ржавые мотки колючей немецкой проволоки. Часть этой местности оставлена как естественный музей войны под открытым небом. На раскинувшемся по соседству картофельным полем встречаю ржавые гильзы от больших и малых снарядов, осколки разорвавшихся бомб и каски солдат с отверстиями от пуль. Увидел я на поле и человеческие кости — останки погибших солдат. Основная масса их была собрана местными жителями и солдатами воинских частей в 1952 году и захоронена у Варшавского шоссе. Возле братской могилы был воздвигнут бронзовый монумент солдата и открыт музейный комплекс, где собраны с окрестных лесов и полей воинские реликвии, свидетельствующие о беспримерном мужестве, стойкости и самопожертвовании советских людей.

Разговариваю с учителем школы Григорием Васильевичем Ромашиным. Он показывает мне альбом со снимками, рассказывающими, как восстанавливалось село, как создавался памятник на Зайцевой Горе. Вдруг вижу... гору человеческих костей:

— Это «Апофеоз войны» Верещагина?

— Нет, это не рисунок. Это снимок после боя под Фомино, — ответил учитель.

Волнение долго не покидало меня. Оно усиливалось всё то долгое время, когда я ночью в одиночестве и раздумьях ожидал рейсовый автобус на Москву...

После первого посещения Зайцевой Горы в 1970 году я вскоре прочитал в журнальном варианте трилогию К.М. Симонова «Живые и мёртвые». Под впечатлением от прочитанного и от моей поездки на поле боя, обильно политого кровью наших отцов, я дерзнул обратиться к признанному авторитету военного и послевоенного времени. Мне не давали покоя вопросы, на которые я не находил ответов. Почему в 1941–42 годах, да и в последующие годы Красная Армия вела столь трудные, столь кровопролитные бои? Почему не только при обороне и освобождении крупных городов, но и населённых пунктов, едва насчитывающих полтора-два десятка деревянных изб, складывали головы до ста тысяч наших бойцов?..

Учитывая занятость писателя, на ответ я не очень-то рассчитывал, но, однако, получил его. Константин Михайлович написал мне:

«Дорогой товарищ Матвеев!

Хотя и поздно это делаю, но хочу ответить на Ваше письмо. Вы с большой горечью описали то поле боя, с которого не вернулся Ваш отец. Понимаю Ваше горькое чувство, с которым Вы там были. С этим горьким чувством и мне доводилось встречаться во многих местах неудачных, тяжёлых для нас боёв сорок первого, сорок второго годов, где мне довелось побывать тогда и пришлось оказаться впоследствии. Наука войны далась нам тяжело. И когда я читаю, скажем, замечательные строки Твардовского — «Я убит под Ржевом...», — я всегда думаю о тех жертвах первых лет войны, которых могло быть меньше, если бы были лучше готовы к ней. Это горькое чувство...

29 мая 1972 г. К.М. Симонов».

На Зайцевой Горе я побывал ещё трижды. В 1973 году там собирались ветераны войны, участвовавшие в освобождении Калужской области — был тридцатилетний юбилей. В поездку меня пригласили ветераны 146 Сд из Казани. Я охотно откликнул-

ся и рад был встрече с ветеранами, которых молодыми наверняка видел мой отец. Мы откровенно и долго беседовали о войне и о жизни. Под Зайцевой Горой прошлись по местам, где в 1942 году были блиндажи и землянки.

Уцелевшие воины прибыли на места бывших сражений с орденами и медалями. Я заслушивался их воспоминаниями и радовался за них, что они живы и так дружны между собой.

В третий раз я решил свозить на Зайцеву Гору своих сыновей: старший тогда уже перешёл в седьмой класс, а младший — во второй. Это была памятная поездка. Мои дети впервые — не в кино — увидели настоящее поле боя военных лет. Они прошлись из низины, от самого начала подкопа, до воронки — места взрыва. На поверхности от подкопа остался овражек — след обвалившейся земли.

По пути дети насобирали множество гильз — трофеев войны. Старший сын поднял с земли полуметровый снаряд с выкрошившейся внутренностью. Сын не поленился, принёс его с поля к зданию музея и сдал, как экспонат, смотрительнице. Гильзы и пробитую пулей солдатскую каску дети привезли домой. До сих пор хранят их, как память о деде, который погиб в возрасте двадцати трёх лет.

В 1998 году моему отцу исполнилось бы 80 лет. Мы решили всей семьёй побывать на месте его гибели в день его рождения. Это нам удалось. Тогда я был на Зайцевой Горе в четвёртый раз...

В памяти звучат чьи-то стихи о войне, так похожем на моего отца:

Не гигантского роста

И в плечах не широк.

Никакого героизма

Совершить он не смог:

Просто вместе со всеми,

Неокрепший ещё,

Под тяжёлое время

Он подставил плечо...

Первые три моих поездки на Зайцеву Гору проходили, когда была в живых моя бабушка Акулина Ивановна — мать моего отца, единственного её дитя. Сколько у неё было расспросов после этого, сколько новых переживаний и волнений! Порой она восклицала: «Было бы здоровье, слетала бы туда и облила бы слезами ту мраморную плиту на братской могиле!»

А на улице Нижнекамска, где я давно живу, она, думая о сокровенном, попросила меня показать рукой направление к местам Подмосковья, где шли чудовищные бои 1941–1943 гг.. Когда я вытянул руку в сторону северо-запада, она троекратно поклонилась и помолилась в пространство по указанному направлению. Горе её осталось неизбывным. Тяжесть несли на себе и мы, дети минувшей войны, навсегда оставшиеся сиротами. Вот почему наше поколение страстно желает мирного неба над головами всех жителей Земли.

P.S. Ещё и ещё раз читаю свою же рукопись об отце, уже отпечатанную и отредактированную. Всё в ней верно. От отца у нас остался его велосипед. На нём катался он сам, а также забавлял своих подопечных — учеников начальных классов, сажая их на багажник и на раму. До дня Победы дожидался стальной конь своего хозяина, но после был обменён на хлеб, которого нам не хватало.

В отдельном сундучке лежали школьные журналы и тетради учеников с отметками каждого задания. Они все писались отцом образцовым каллиграфическим почерком и ярко-красными чернилами. Отметки писались тогда словами: 5 — отлично,

4 — хорошо, 3 — посредственно, 2 — плохо, 1 — очень плохо. В детстве я любил разглядывать содержимое этого сундучка, и отцовские записи остались в памяти до сих пор. Были в этом сундучке журналы «Начальная школа», «Мурзилка» и несколько книжек: «Наша Родина», «Краткий курс истории ВКП (б)». Отец был активным комсомольцем.

Говоря о том, что осталось у нас от отца, не могу не сказать о главном. Это память сельчан. Во-первых, все учившиеся у него признавались мне в том, как хорошо отец мой их учил. Был строг, но справедлив. Они любили его. Во-вторых, сельчане постарше, с кем от трудился в колхозе во время летних каникул, любили и ценили его высоко. Я это всегда чувствовал, находясь с ними рядом в другое время, но на той же колхозной работе. Часто обращаясь ко мне, они называли меня Мишенькой: это говорила в них добрая память о моём отце — школьной учитель. А в трудные моменты жизни от всей души старались словом и делом помочь мне и нашей семье выжить в послевоенное время. Такая память об отце для нас с сестрой, Валентной Михайловной, дорогого стоит...





ПОСЛЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Уже не первый год в музеях Казани проводятся литературные встречи, посвящённые историям любви, жизни и творчества известных татарских писателей. В вечерах принимают участие члены клуба «Династия» — дети и внуки этих писателей. Организует встречи Альбина Абсалямова — директор музея истории татарской литературы, внучка Абдурахмана Абсалямова. На прошедших ранее встречах уже рассказывались истории жизни и любви Фатиха Карима, Мирсая Амира, Туфана Миннуллина, Абдурахмана Абсалямова, Афзала Шамова, Гарифа Ахунова, Рафаила Тухватуллина, Фаниса Яруллина, Хисама Камала. Я стараюсь приезжать на эти мероприятия из Альметьевска и участвовать в них, рассказывая о своём отце — Рафаиле Тухватуллине и его друзьях, знакомя, как и потомки других писателей, с многочисленными архивными материалами. Часто на эти встречи приходит телевидение ТНВ с последующим показом сюжетов и интервью в передаче «Татарлар».

Одна из встреч цикла «Писатель и его Муза» была посвящена поэту-фронтовику Наби Даули. Дочь писателя, Гульфия Набиевна Давлетшина, работающая старшим научным сотрудником музея Горького, познакомила собравшихся с пронзительной историей жизни своего отца, в которой было место и подвигу, и предательству, и забвению, и воскрешению. Во время рассказа были продемонстрированы многочисленные семейные фотографии, отрывки из документальных фильмов о писателе. Присутствовала на вечере и его внучка Алина.

Во время выступления народный артист Татарстана, заслуженный артист России Эмиль Залялетдинов, хорошо знавший Даули, а также певица Раушания Зигангирова исполняли песни на стихи поэта. Также дали возможность выступить мне. Я сказал о своих детских впечатлениях, когда в семилетнем возрасте прочитал книгу Наби Даули «Между жизнью и смертью» из отцовской библиотеки, а также показал найденные в отцовском архиве две фотографии, на которых Наби Даули с альметьевскими писателями Гарифом и Шахидой Ахуновыми, Рафаилом Тухватуллиным, Адипом Маликовым и Сажидой Сулеймановой, Гамилом Афзалом. Накануне вечером удалось эти старые фотографии хорошо от-



реставрировать, и я подарил их Гульфии Набиевне. Она в ответ подарила мне книгу «Между жизнью и смертью», переизданную в 2010-м году.

«Когда я была маленькой девочкой, — рассказала Гульфия Набиевна, — я часто ходила на выступления вместе с отцом. И вот пришла моя пора рассказать о биографии этого замечательного писателя, драматурга, героя-антифашиста».

Наби Даули родился 1 июня 1910 года в деревне Милявша Алькеевского района Татарии. Мать его умерла в 1917 году, отец — в 1919-м. В девять лет он остался сиротой и пополнил ряды беспризорников, которые тысячами бродили по дорогам России. Шла гражданская война, время было смутное, беспокойное. В 1922 году мальчика забирают в детский дом, который находился в Сталинграде. Там он находился до конца 1926 года. После выхода из детского дома поступил в художественный техникум в Сталинграде, но не закончил его. Об этом периоде жизни он потом напишет в повести «Не могу не сказать». Он уезжает на Донбасс и поступает работать на сталелитейный завод. Но творческая натура берёт своё и, уйдя с завода, он работает литературным сотрудником в газете «Пролетарий» в том же городе. В 1933 году Наби Даули был призван в ряды Красной Армии и прослужил на Дальнем Востоке до 1935 года.

По возвращении из армии он приехал в Казань, где устроился на работу в газету «Яшь Сталинчы». Он издаёт сборники стихов под названиями «Счастье», «Алый цветок», «Думы», «Сорок стихов» и в 1939 году становится членом Союза писателей. По словам писателя А. Юнусова, «Наби Даули — самый талантливый молодой писатель и самый талантливый молодой журналист». (Из материалов архива ЦГАПД). Кажется, что судьба улыбается ему: любимая работа, популярность среди населения, женитьба, рождение дочери, но наступает суровый 1941 год.

Наби Даули одним из первых татарских писателей уходит на фронт 24 июня 1941 года. 13 августа 1941 года он попадает в плен к фашистам под городом Орша. Через двадцать дней делает попытку к побегу. Этот эпизод ярко описан в книге «Между жизнью и смертью». Полуголодный, оборванный узник зашёл в тёплый уютный дом. Его накормили и обогрели, а затем... сдали фашистам. Хозяином дома оказался немецкий староста. После побега солдата жестоко избили и отправили в тюрьму, в Борисов, что находится в Белоруссии. После войны, в 1960 году, писатель был приглашён в город Борисов на перезахоронение советских военнопленных. В годы войны Даули находился в немецких лагерях, располагавшихся на территории Белоруссии, а затем был направлен вместе с другими военнопленными в Германию, в лагерь смерти Бухенвальд-Дора, где ждал своей участи до апреля 1945 года. Не дождавшись, снова совершил побег с двумя товарищами — Маковецким и Жаданом.

13 апреля 1945 года друзья были освобождены войсками американской армии.

В ноябре 1945 года мой отец возвращается в Казань. Что же ожидало его на родине? Казань встретила солдата молчанием. Даули после плена был лишён работы, жилья, внимания товарищей и семьи. Его произведения не печатались и не издавались. Более десяти лет он скитался по чужим углам и работал то укладчиком трамвайных путей, то грузчиком в каком-нибудь магазине. Только устроится на работу и как только узнают, что он был в плену, тут же увольняют. Ему было не на что купить еду, одежду. У него распался первый брак. После смерти Сталина, в 1954 году, Наби Даули пошёл в обком партии и сказал, что лучше посадите меня в тюрьму, там хоть кормят. И только после этой встречи ему дали должность охранника и разрешили жить и работать на даче писателем «Лебяжье». Более четырёх лет он работал над книгой «Между жизнью и смертью». В 1957 году она вышла в свет. И с тех пор пользуется популярностью. Затем у писателя появляется продолжение под названием «Разрушенный бастион». В это же время Наби Даули познакомился со своей будущей женой

Надией, которая станет ему верной подругой и помощницей до конца жизни. Вскоре родилась я, дочь Гульфий.

Наби Даули издал более двадцати книг. Это пьесы для детей, рассказы, стихотворения: «Песня о счастье», «Вундеркинд», «Полёт на Луну», «Дорога в Жизнь», публицистический сборник «Необходимо сказать», рассказы о животных «Меченый волк». Писатель был великолепным оратором и, обладая мощной энергией,



Третий справа: Наби Даули

волей и сильным голосом, притягивал к себе большое количество слушателей. Ираклий Андронников, один из ведущих пушкинистов и лермонтоведов, часто приглашал Наби Даули на пушкинские дни в село Михайловское.

К сожалению, этот незаурядный человек умер с горечью в сердце. Тень фашистских лагерей окутывала его личность до последней минуты жизни. И только в 1990 году, через полгода после смерти семья получила документ о полной реабилитации писателя Наби Даули. Также через полгода после смерти семья получила медаль «Участнику антифашистской освободительной борьбы» за подпольную работу в лагере смерти Бухенвальд.

В 2010 году была переиздана его знаменитая книга «Между жизнью и смертью», был поставлен документальный фильм из серии «Мои соотечественники» под названием «Я смотрю тебе в глаза», был проведён юбилейный творческий вечер в театре имени Карима Тинчурина. Недавно в честь Наби Даули названа одна из улиц Казани в новом районе «Солнечный».

Вечер памяти писателя прошёл в тёплой атмосфере, были многочисленные вопросы. В частности, получила ли семья Наби Даули компенсацию от Германии за то, что он был узником Бухенвальда». Гульфия Набиевна ответила вопросом: «А что, разве такие компенсации положены?» Был также вопрос: «Общаетесь ли с дочерью от первого брака отца?» Был ответ: «Мы с ней дружим».

P.S. Совсем недавно Гульфия Набиевна выложила на фейсбуке фотографию своего отца с родственниками из Бельгии. На мои расспросы она рассказала, что родной брат её матери после войны, после плена остался в Бельгии, там женился, родились двое детей. И в 1969-м году Наби Даули с женой Надией побывали у них в гостях. На мои дальнейшие расспросы Гульфия Набиевна написала:

«Мой дядя, его звали Шаукат, всю свою жизнь проплакал в Бельгии от тоски по Родине и по матери. И вот в 90-е годы он приехал к нам в Казань на десять дней, а затем через год умер в Бельгии».

Вот такие две судьбы. А ведь это сюжет для отдельной повести. Жаль только — лучше Наби Даули её никто не напишет.



НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

АЛЕКСАНДР КЕРДАН



ПОЕДИНОК

БАЛЛАДА О СЫНОВЬЯХ

На завалинке старуха,
С нею — дед.
На двоих почти им
Двести лет.
У старухи на коленях —
Кот клубком.
И сидят старуха с дедом
Ря-
дыш-
ком.

А в избе герань
Алеет на окне,
Фотографии теснятся
На стене.
Все солдаты,
Все похожие с лица...
Восемь было их у мамы
И отца.
Три войны прошёл старик —
И сам живой.
А вот дети не вернулись

домой —

С той последней,
Самой страшной, мировой.

У избушки — две берёзы,
Два ствола.
Облетела, поосыпалась
Листва.
Всё глядит на них
Старуха,

Смотрит дед:
Два ствола стоят живые —
Листьев нет.

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Он не был от рождения солдатом
И не сказать, что был таким уж смелым...
Он изучал латынь по медсанбатам,
А геометрию — по секторам обстрела.

На сапоги наматывая тропы,
Вжимаясь животом в сухие травы,
Познал он географию Европы,
С ботаникой смешав её по праву.

Пусть чёрный ворон над окопом каркал,
Он выучить сумел законы света...
Он победил, он встал над Трептов-парком,
Хоть сам и не успел узнать об этом.

ПОЕДИНОК

(рассказ попутчика)

Не по пьянке или капризу,
Не подверженный наркоте,
Ветеран расстрелял телевизор
Из испытанного ТэТэ.

Приструнить подлецов не властен,
Но, хотя бы в своём доме,
Память прошлого рвать на части
Не позволит он никому.

ОФИЦЕРСКИЙ РОМАН

*Сергею Аксененко*но – берёзы,
но – снег...

Офицерский роман –
 от рожденья –
 с Россией...
 У возлюбленной этой – особая статья!
 Раньше женщин таких –
 под венец увозили
 И могли без остатка всю душу отдать!

А теперь –
 что кивать на вчерашние дали –
 Неужели не можем влюбляться навек?..
 Наш с Россией роман
 как эпоха –
 скандален...

Но – глаза,
 но – слеза,

Мы летим во весь дух,
 мы готовы разбиться,
 Смысл того, что вокруг, понимая едва...
 Но роман наш не может
 никак прекратиться:
 Если Армия – есть, и Россия – жива.

Пусть пророчат ветра,
 как слепые витии,
 Что смогу позабыть дорогое лицо...
 Офицерский роман –
 до конца и –
 с Россией,

Даже если и не
 со счастливым концом.





НИКОЛАЙ РАЧКОВ

ПО РУССКИМ ТРОПАМ

* * *

Ноченька зимняя, ноченька звёздная,
Свет над землёй голубой.
Радость, любовь моя, грусть моя поздняя,
Что же мне делать с тобой?

Лунною пряжей деревни окутаны,
Речки, деревья, мосты.
Наши пути с тобой все перепутаны,
Знаешь об этом ли ты?

Всё засыпает небесной порошею,
Где доводилось нам быть.
Было бы вспомнить что в жизни хорошее,
Было бы что не забыть.

Пусть нас и даль остужает морозная,
Всё же держись, не тужи.
Ноченька зимняя, ноченька звёздная,
Музыка русской души...

БАБУШКА

В патриархальном я вырос краю,
В провинциальном глубоко.
Добрую бабушку вспомню свою,
Голос: «Какой же ты дока...

Всё тебе знать бы, чего и не знать...»
Сунет мне сахара дольку
И начинает она вспоминать
Сашеньку, Бореньку, Кольку.

Время далёкое... Из-под венца
Весело, с помощью друга,
Дедушка выкрал её у купца,
В сани — и в поле, где вьюга.

Хлеб да любовь... Сыновья расцвели,
Соколы были, да только
Все на солдатское поле легли —
Сашенька, Боренька, Колька.

Муки такие — хоть камень на грудь.
Жить не хотелось, но — внуки...
Бабушка, кто бы я был, позабудь
Голос твой, слёзы и руки!

ВОЕННОЕ ФОТО 1945 ГОДА

Где-то на военном полустанке
Снят на «лейку», выглядит как франт,
В гимнастёрке, в орденах, в кубанке
Дядя Коля — старший лейтенант.

Рядом боевые офицеры,
Смотрят все сурово как один.
Столько в их глазах горячей веры,
Что вот-вот и будет взят Берлин.

Снимок тот — посмертная награда.
Дней уже, наверно, через пять
Будут до последнего снаряда
Вместе —
до последнего —
СТОЯТЬ...

МИШКА

* * *

Эх, Мишка... Я ему завидовал, не скрою,
В сапожках по весне он смерил столько луж!
Он втайне кулаком грозил отцу порою,
Прогульщик и лентяй, и двоечник к тому ж.

Его отец с войны пришёл с одной ногою,
И плакала жена, как он кричал во сне:
«Нас танки обошли!..» и «Батарея, к бою!..»
А Мишка на отца всё жаловался мне.

Он злобой исходил, он выл:
«Нет, ты послушай,
За что он мне при всех драл уши у крыльца?..»
Эх, Мишка...
Вот бы мне надрали так же уши.
Я вытерпел бы всё от своего отца.

По возрасту ты – внук,
я – дед.
Что мой тебе авторитет?
Что жизнь моя?
По крайней мере –
Мои удачи и потери?
Мои падения и взлёты?
Мои мечты?
Мои заботы?
В жизнь ничего не привнеся,
Ты сразу хочешь всё и вся.
Ты думаешь, что с веком в ногу
Ступил на новую дорогу.
Но жизнь –
всё та же колея.
Не поскользлись, где падал я...

ПОМНИ О СМЕРТИ СВОЕЙ

Видел икону одну,
А на иконе на той
Весь в прозорливом плену
Праведный старец.
Святой.

Свиток в руке он держал,
Свиток божественный сей
Каждого предупреждал:
«Помни о смерти своей...»

Плач или пой, или пей,
Где ни гуляй, ни кружи,
«Помни о смерти своей» –
Это на сердце держи.

Смело живи, не по лжи,
Зёрен обиды не сей.
Честью своей дорожи,
Помни о смерти своей.

Дней убавляется счёт,
Чем ты себя ни увей.
Если живой ты ещё,
Помни о смерти своей.

СЕНТЯБРЬ

«Забот в хозяйстве много?
Меня не проворонь...» –
Сентябрь встал у порога,
Как древний конь-огонь.

О, красок переливы,
Горящих листьев жар!
И яблоки, и сливы
Везёт он на базар.

Вся в багреце уздечка,
Но солнышка – в обрез,
Но всё темнее речка,
Но всё прозрачней лес.

Копытом стукнет оземь,
Где шёл недавно плуг,
И молодая озимь
Встаёт на поле вдруг.

Ещё почти без грусти,
Ещё приветлив взгляд.
Но гуси, гуси, гуси
Летят, летят, летят...

* * *

У Весны зелёная причёска
И цветы приколоты на грудь.
Словно в бане вымылась берёзка
И боится босиком шагнуть.

На селе черёмуховый воздух,
Никому сегодня не до сна.
Влажной ночью в облаках и звёздах
Ищет молча спутника луна.

Соловей округу рвёт на части,
Услыхав восторженных подруг.
Всюду столько нежности и страсти,
Вся земля помолодела вдруг.

Я гляжу, я сердцем замираю,
Был и я когда-то молодой.
Ах, Весна, позволь хотя бы с краю
Посидеть на лавочке с тобой.

* * *

— Деревни нет. Пропало всё, пропало.
Нет ничего. Остался лишь намёк...
— А этот в небе
месяц из опала,
Как сломанный девичий перстенёк?
А роща белоногая на склоне
С весёлым пеньем разноцветных птах?
А речка синей жилкой на ладони
Долины,
утопающей в цветах?
А эта даль. Гляди, глаза сужая.
А воздух, воздух! Надышись им впрок...
Была земля бы. Наша. Не чужая.
А избы будут.
Будут. Дайте срок.
Есть белый пар над вешними лугами,
Над озерцом,
над дрёмой камыша.
Есть главное. Есть Родина. Есть память.
Всё, без чего не может жить душа.

ПРЕОБРАЖЕНЦЫ

Часто слышу, как кто-то поет,
А порой кричит в рупора:
«Русь была бы совсем иною,
Если б не было в ней Петра!

Итальянцы, голландцы, немцы,—
Разве надо их было звать?
А уж эти преображенцы,
Вся потешная эта рать.

Наплодили и накопили
Столько бед,
Что просто беда.
Убеждали всех, что Россия
Станет заново молода.

Нет, уж лучше бы почивала
Старой, кроткой средь отчих стен...»
Что бы с Родиной нашей стало,
Если б не было перемен?!

Нарастал справедливый ропот,
Но и жить ведь нельзя, как встарь,—
Слишком рядом гремит Европа,
Это понял наш государь.

Чужеземный камзол, коса ли,
Может, это с большой тоски?
Для великих дел подрастали
Молодые его полки.

Ну, какого ещё вам беса!
Нет и не было им цены,
Этим воинам политеса,
Этим труженикам войны.

Осиянные вечной славой,
Не щадя животов своих,
Били шведов и под Полтавой,
И на Балтике били их.

И сошли с пьедестала шведы...
Под восторженное «Виват!»
Пётр выковывал дух победы,
Дух Отчизны в сердцах солдат.

Пусть и ноги до крови стёрты,
Но была нерушимой связь:
Императорские ботфорты
Вместе с ними месили грязь.

Взяли всё, что когда-то сдали,
Выпив пламенное вино.
Одолели столько баталлий,
Прорубили своё окно.

Это их потомки былинно
Силе траурной вопреки
До Парижа и до Берлина
Пронесут сквозь огонь штыки.

Чтобы вновь из седого пепла
Встали веси и города.
Чтоб Россия цвела и крепла
И всегда была молода.

1812 ГОД

По русским тропам, по оврагам,—
Молись за нас, родная высь! —
Мы отступали шаг за шагом
Перед врагом.
Но мы дрались.

Дрались!
Нам бегать не пристало.
А сдаться — Богом не дано.
Не потому, что сил не стало,
Оставили Бородино.

А чтоб по пепельным просторам,
Победный потеряв штандарт,
Бежал, бежал от нас с позором
Аж до Парижа
Бонапарт.

* * *

Не позабыть ваш путь кровавый!
Но есть же Бог...

И это мы
Погнали вспять, громя со славой
Все ваши тьмы и тьмы, и тьмы.

Но так цинично и бесстыже,
Так зло,
как вы Москву тогда,
Мы не разграбили Парижа,
Не жгли в отмщенье города.

Такого благородства где-то
Пойди-найди в тот грозный час.
Не любите? Понятно это.
За что же ненавидеть нас?

ОДИН ПРОТИВ СТА

*В 1608 году под Зарайском
300 арзамасских ратников
стояли насмерть против
огромного польского войска.*

Враг топчет и грабит родные места.
Негоже нам трусить, негоже.
Нам выпала честь. Наша совесть чиста.
Один против ста? Ну, так что же.

Нас триста бойцов. Триста витязей нас.
Ой, сколько там воронов вьётся.
Ты нас не забудь, ты прости, Арзамас,—
Из нас ни один не вернётся.

Мы славно рубились. Мы все полегли.
Да здравствует наш воевода!
И звон колокольный от русской земли
Взлетел до небесного свода.

Эй, ляхи, а здорово убыл ваш стан.
Не доблестью взяли, а силой.
Насыпьте, насыпьте повыше курган
Над нашей бессмертной могилой!

Пусть знает весь мир: наша правда проста —
В родном мы краю, а не где-то.
Мы бьёмся, пусть даже один против ста.
Мы русские. Слышите это?

Мы живы!.. И вы, кто с мечом к нам извне,
Запомните: ни в Сталинграде
И ни в Севастополе, и ни в Чечне
Своей не уступим мы пяди!

Мы землю святую целуем в уста,—
Да может ли что быть дороже?..
Молитесь за нас. Наша совесть чиста.
Один против ста? Ну, так что же...

ЛЕРМОНТОВ

Он был и воин, и поэт,
Точней — поэт и воин.
Всё остальное — только бред,
Который каждый — не секрет —
Придумывать был волен.

На землю он с таких высот
Глядел, душой темнея.
Он был гигант. И это вот
Не вынесли пигмеи.

Сплели интриг и сплетен тьму,
Соткали прегрешенья.
И Демон не простил ему
В его тоску вторженья.

Как он страдал, как он любил,
В страстях своих растерян!

Он был затравлен, загнан был
И лишь потом застрелен.

Лежал ничком он, руки врозь,
Как будто для опоры.
И небо в горе пролилось,
И содрогнулись горы.

Его взял Ангел под крыла...
Среди родного крова
Земля ещё не родила
Такого вот второго.

* * *

Поэт — всегда особая порода,
На всё он должен находить ответ.
Нельзя жить лучше своего народа,
А если лучше — значит, не поэт.

Всю драму жизни, боль её и страсти
Поэт отважно вынесет на свет.
Поэт — он в правде выше всякой власти,
А если ниже — значит, не поэт.





ЛЕНАР ШАЕХ

У НАШИХ ДУШ ПОХОЖИ ГОЛОСА

* * *

Когда, как из пустыни брошенной,
Жаре несносной нет конца,
Девчата, лакомясь мороженым,
Волнуют юношей сердца.

Ах, эта пылкость сердца вечная
Живой водой во мне течёт.
И холод лакомства беспечного
От страсти не убержёт.
Пломбир играет в свой рожок —
Но слушай музыку сердечную
Она одна лишь не солжёт.

Жаре несносной нет конца,
А сердце, как ручьи весенние,
Безумно скачет — где спасение?
Похож влюблённый на глупца.

Стоят с мороженым пригожие.
А сердцу хочется любить!
Не остудить его мороженым...
Мороженым — не остудить...

* * *

Погляди, как вечер зыбкий
Красит мир, за взмахом взмах,
Как небесная улыбка
Проплывает в облаках...

Разглядела ли, родная,
Ночи бархатную шаль,

По которой вышивает
Месяц синюю печаль?..

А в низине, ты видала,
Как, влекомая в полёт,
Лебедь крыльями вздымала
Серебро озёрных вод?..

Так тебе я рад опять,
Что весь мир готов обнять!..

* * *

Носила воду девушка
Из Белого ключа,
И плыло коромысло,
Как лодка, на плечах...

Носила воду девушка...
Не жажду ль утолить?
А может, своё сердце
Любимому открыть?..

Носила воду девушка
Из Белого ключа...
И видел я, плескалась
Печаль в её очах...

Носила воду девушка
Весеннею порой,
Трепал тугие косы
Ей ветер молодой...

Носила воду девушка
На зорьке, на заре...
Эх, стать бы ключевой
Водой в её ведре!..

Носила воду девушка
Из Белого ключа...
Попался бы навстречу
Любимый невзначай...

ГОЛУБАЯ СИРЕНЬ

Цветёт сирень, и дождь идёт,
И тёплый воздух влагу пьёт.
Ты под сиренью голубой
Отыщешь ласковый покой...

Она коснуться поспешит
Твоей израненной души
И, кисти нежные сведя,
Тебя укроет от дождя...

Ты под сиренью голубой,
И ей так радостно с тобой,
Благоухая в волосах,
Она поёт о небесах...

О, эти синие цветы
Так безмятежно держишь ты,
И в сердце вдруг приют нашли
Любовь и радость всей земли.

Букет сиреневый в руках,
И влага счастья на губах.
Уже светло в судьбе твоей,
И бьётся солнце меж ветвей...

* * *

То недоверчивой, то строгой,
То грустной я тебя найду.
Позволь унять твою тревогу,
Твою беду.

Позволь прильнуть к тебе, родная,
И чуть коснуться лба рукой,
Твои печали прогоняя —
Дыши легко!

Позволь в тебя ворваться счастьем,
Прекрасной музыкой звеня.
Не усладь свои напасти —
Люби меня!

Твоя улыбка — вот богатство,
Печаль не стоит ни гроша.
Не нужно с бедами тягаться,
Моя душа!

Чтоб солнце радостью лучилось
В твоём окне, в моём окне,
Любовь моя, чтоб ни случилось,
Прильни ко мне!

* * *

Как проходят дни твои, скажи,
Что тебе приносят вечера?
Если я в дороге, средь чужих,
По тебе тоска моя остра.

Я иду, безмерно одиноко,
Время на мгновения дробя.
Каждый мною сорванный цветок —
Для тебя, родная, для тебя.

В каждом — сокровенные слова,
Дорогая сердцу красота.
Жду тебя, как ливня ждёт листва,
Как стихотворение — листва.

Мыслями уже я у дверей,
Знаю, терпеливо ждёшь меня.
Я б хотел вернуться поскорей
И тебя с сынишкой обнять...

Что тебе приносят вечера,
Как проходят дни твои, скажи?
За порою следует пора,
Крутится в клубок и наша жизнь.

В зное ли июньской тишины,
В холоде январского ли дня,—
Дальние дороги не страшны,
Если ожидаешь ты меня.

СЫНУ

Сынок играет. Слёз не удержу.
Кого благодарить мне за наследство?
С волнением я в сыне нахожу
Свои черты мальчишеского детства.

От колыбели до текущих дней
Рисует жизнь по чёрточке картину,—
И вот улыбку бабушки моей
Прочёл сегодня я во взгляде сына.

У наших душ похожи голоса,
Я слышу их перекликанье снова,—
Тревожат сердце мамыны глаза,
Которые я распознал в сыновних.

Пусть он — неоперившийся птенец,
Но мне через него мой родич ведом:
Глазами сына смотрит мой отец,
Чтоб в одночасье проявиться дедом.

Счастливых мамы с папой тешит взор
Ребёнок — драгоценное творенье.
Как нити заплетаются в узор,
Так и дитя сплетает поколенья.

Цветок души ты, ягодка моя,
Ты — свет очей, и ты — моё сердечко.
Ты — тот, в котором создано семь я,
И ты — росток большого человечка!

В БОЛДИНО

Здесь Пушкин некогда гулял,
И кажется — он рядом где-то.
Я верю, он меня позвал
Прийти сюда в начале лета.

Стояли луны так тихи,
И тех ночей нам было мало,
Когда детьми его стихи
Читали мы под одеялом.

Я «Зимним утром» вдохновлён,
А «Зимним вечером» встревожен.
«Я Вас любил», — напишет он
И станет ближе и дороже.

«Храни меня, мой талисман...»,
«Я помню чудное мгновенье...» —
Великий Пушкин миру дан
И для любви, и во спасенье.

Другие чьи-то письма
Покроет время толстой пылью...
Но пусть в любые времена
Сияют пушкинские крылья!

* * *

Заблудились мгновенья в веках,
Будто время сродни ассорти.
Если вскроется в зиму река,
Ты промолвишь: «Дела не ахти».

Если падает летом листва
Или снегом засыпало дверь,
Ты подумаешь, как не права,
Не логична природа теперь.

Если осень придёт такова,
Что случится цветенье ростка,
Значит, золото нынче ковать
Из свинцового можно бруска.

Заблудились мгновенья в веках,
Ты куда, человечек, идёшь —
Не туда ли, где ходит, легка,
Под прикрытием истины ложь?

ДУМАЯ О БАБУШКЕ...

Катился, катился клубочек,
Виток за витком убывал,—
И вот уже, вздоха короче,
Он белою ниточкой стал...

Замедлилось, кажется, время,
Притихли следы у ворот.
Лишь белого снега паренье,
Лишь белого пара полёт...

Всё рухнуло, рухнуло...Пусто...
Клубок не покатится вспять...
Лишь белое облако грустно
Пытается землю обнять.

Зачем же так скоро, так скоро
Распутался белый клубок?..
Ложатся на землю узоры,
Уходит земля из-под ног...

Слеза обожжёт и сорвётся,
Чалмой проплывут облака...
Тропинка петляет и вьётся,
Как белая нитка клубка...

КОЛЕСО

*Казанскому государственному
университету*

Промчались рысью времена,
Где был я юным и нелепым
И стойко грыз в твоих стенах
Гранит науки с чёрствым хлебом.

Мне дух студенчества знаком,
Он замечателен без глянца.
Я был доволен кипятком,
Хотя случалось обжигаться.

Среди торжественных колонн,
Где колесом катилась юность,
Сияла жизнь со всех сторон,
Дорога светлая тянулась.

О, колесо счастливых дней –
Оно осталось в прошлом где-то...
Я всё равно не стал умней,
Чем стены университета.

Пусть из богатства твоего
Лишь чемодан достался знаний,

Но драгоценнее всего
Мне целый воз воспоминаний.

Пройду, задумавшись... «Постой!..» –
Окликнут белые колонны...
Здесь были Ленин и Толстой,
И все другие поимённо.

Стоишь, веками убелён,
Мы все – твои единоверцы.
И белоснежный строй колонн
Навек впечатается в сердце.

* * *

Возвращаюсь в родную деревню
Из бетонной тоски городской,
Чтоб засохшие всходы безверья
Напоить ключевой водой.

Как из прошлого, спящего где-то,
Выйдет мама встречать на порог...
Оказалось, завязанный в детстве,
Не потерял ещё узелок.

И, плечом поведя без усилия,
Отряхнёшь суету не спеша,
И легко белоснежные крылья
Расправляет младенец-душа.

Тишине полновзвучной, напевной
Вторит снег, белизною слепя.
Хорошо возвращаться в деревню –
Возвращаться к истокам себя!

*Перевод с татарского
Галины Булатовой.*





ГАРАЙ РАХИМ

ДНИ СКЛОНЯЮТСЯ К ВЕСНЕ

повесть

* * *

От автора

Повесть «Дни склоняются к весне» я написал в марте-апреле 1976 года в санатории участников Великой Отечественной войны «Каменка», который находился в лесу недалеко от Высокогорского райцентра Татарстана. Данное медицинское учреждение называлось санаторием участников Великой Отечественной войны только на бумаге. Из четырёх многоэтажных корпусов там лечились участники ВОВ только в трёх-четырёх палатах. В других корпусах лечились тяжёлые туберкулёзные больные со всего Татарстана. Министерство здравоохранения республики, чтобы публично не называть данное учреждение туберкулёзным, в официальных бумагах называло его санаторием участников ВОВ.

Я лечился в нём от тяжёлой формы туберкулёза лёгких с постоянным кровохарканием. Медики санатория никак не могли остановить кровотечение и предлагали мне путёвку в известный санаторий, созданный ещё до революции великим русским писателем Антоном Чеховым, тоже больным туберкулёзом лёгких, в столице Крыма Ялте, с рекомендацией хирургического вмешательства с целью резекции одной части левого лёгкого, где был очаг кровотечения.

В 1976–77-х годах я лечился в Ялте, мне сделали весьма удачную операцию, и я навсегда избавился от этой опасной болезни.

Там, в Крыму я написал ещё одну повесть, она была логическим продолжением «Дней». Обе повести впервые были опубликованы в татарском журнале «Казан утлары», имели успех среди читателей и в дальнейшем вышли отдельными книгами.

Тогда я, 35-летний татарский писатель, и не мечтал о переводе моих произведений на русский язык и не проявлял никакой активности по этому вопросу.

В 1979 году я уехал в Москву слушателем двухгодичных Высших литературных курсов при Литературном институте Союза писателей СССР. Уже в 1980 году, после окончания курсов, меня приняли на постоянную работу в аппарат Союза писателей РСФСР консультантом по тюркоязычной литературе России.

В эти годы я заочно был знаком с биографией и творчеством известного в СССР поэта и прозаика Романа Солнцева, нашего земляка, родом из Мензелинска. Р. Солнцев уже тогда был одним из ведущих писателей СССР, в одном ряду с Е. Евтушенко, Р. Рождественским, А. Вознесенским, Б. Ахмадуллиной и другими, произведения которых я ненасытно пил, как чистую родниковую воду.

Именно тогда, в начале восьмидесятых годов прошлого века, на литературных мероприятиях, организованных в Москве, мы с Романом Солнцевым и встретились и сразу стали друзьями. Мне очень нравились его философские, лирические повести, основанные на событиях его детства в Мензелинске, и я договорился с руководством Татарского книжного издательства выпустить солидную книгу из произведений нашего земляка в переводе на татарский язык. Наш известный татарский литературный переводчик Раис Даутов взялся за перевод повестей Романа Солнцева и замечательно перевёл их на татарский язык. Сам Солнцев давно мечтал издать свои произведения на родном татарском языке, и эта книга для него была огромной радостью. (Не секрет, что Роман Солнцев — это псевдоним, настоящие имя и фамилия писателя — Ринат Суфиев).

Оказалось, что он слышал о моих повестях и предложил мне подготовить для него подстрочный перевод одной повести на русский язык. Он сказал мне, что хорошо знает разговорный, простонародный татарский язык, но ему необходимо иметь для перевода на русский язык и подстрочный перевод, чтобы перевести повесть хорошим литературным языком.

Роман долго переводил мою повесть. Сказал, что мой язык очень богат татарским фольклором, сугубо деревенским, в то же время чисто народным, и что он хочет сделать повесть не хуже оригинала.

Но в девяностые годы прошлого века в СССР начались очень крупные изменения, и я решил вернуться в родную Казань. Роман Солнцев жил в далёком Красноярске, и наши связи постепенно сошли на нет. Однако до своей кончины в 2007 году он успел выслать мне окончательный вариант перевода моей повести. В те времена в московских и республиканских издательствах стало трудно издавать художественные книги, и солнцевский перевод лежал в моём архиве без движения.

Будучи постоянным читателем журнала «Аргамак», я решил обратиться к главному редактору, моему давнему другу и талантливому поэту Николаю Алешкову с просьбой — познакомиться с моей повестью.

Я благодарю Николая Петровича, тоже друга и земляка Романа Солнцева, за то, что мы вместе предлагаем читателю «Аргамака» наш совместный с Романом Солнцевым творческий результат — повесть «Дни склоняются к весне».

Дорогим моему сердцу — отцу, некогда одному из первых комсомольцев Шугуровского района ТАССР, секретарю ячейки, председателю колхоза, солдату Великой Отечественной, коммунисту Родионову Василию Семёновичу, и матери — рядовой колхознице Родионовой Фёкле Григорьевне вместо бумажных цветов среди зимы эти страницы...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Вот уже два месяца, как Тимер здесь. По его настойчивой просьбе, он в одной палате. Иногда попросишь — и люди сделают, даже если ты не велика шишка. Стены, пол, потолок уже запомнились, можно, глядя в пол, представить до мельчайших неровностей потолок, а глядя в потолок — представить пол. Иногда эта крохотная комнатка начинает нравиться Тимеру — это когда он не задыхается и в голове

возникают мысли. А думать он здесь может только о прошлом — попробуй в больнице поразмышлять о будущем...

«А почему это, позвольте спросить, я не могу тут о будущем? — произнёс однажды Тимер про себя. — Не такая уж палата страшная, светло, тепло... И всё же... Если бы не была эта комната больничной палатой, а была просто комнатой, я бы мог думать о будущем».

Впрочем, что такое будущее? Это то, что будет там, впереди, через день? Или через месяц? Через год?.. Лучше не уточнять... А вот прошлое держать перед глазами доставляло Тимеру почти телесное наслаждение (это же с ним, чёрт побери, было!..) Вспоминая прошлое, ему иногда хотелось плакать. И всё же... Всё же думать о прошлом было хорошо. Там всё определилось, устоялось, краски сжались, стали ярче, боль тише.

«Что сейчас с моей мамой?..» — думал он. Мать его Фекиля-апа, лежала далеко-далеко отсюда, в родном селе, и ничем не могла помочь сыну, как и сын — родной матери. Фекиля, Фекиля, нелепое имя... так на татарский манер произносится её русское, данное при крещении имя Фёкла, апа — добавляется, когда говорят о людях старших, уважаемых... «Мама моя, кряшенка^{*}, ни одного слова толком не знающая по-русски, — куда ты смотришь в эту минуту? Ни иконы рядом, ни корана — всё спуталось на земле, перевернулось».

Фекиля-апа лежала при смерти. У неё был рак. Четыре месяца назад Тимер привёз её в Казань показать врачам. Тогда ни она, ни сын, ни родственники и думать не думали, что у неё такая беда. Казанские врачи определили — сомнений нет. Растерянно бегая с горы на гору, из больницы в больницу, Тимер устроил, наконец, её в онкологическую. Там работал знаменитый профессор. А может, его только называли знаменитым? Когда болезнь ужасная, очень хочется попасть к знаменитому врачу, потому что вряд ли здесь может помочь простой доктор... Профессор посмотрел Фекилю-апа и пообещал попробовать сделать ей операцию.

— Однако боюсь, как бы рак не успел распространиться по всему телу. — Профессор сказал это один на один Тимеру.

— А если успел, что будет? — спросил Тимер. — Если успел распространиться?

— Если успел, плохо. Хуже некуда, — медленно говорил профессор. Он был худой, высокий, с жёлтым лицом, в чёрной тубетейке. — Дела будут скверными. Более тяжёлого положения не может быть. Там, где рак успел по всему телу распространиться, профессора лишние. Это всё равно что позвать на помощь в больницу каких-нибудь шофёров, строителей, хлеборобов, архитекторов... Точно также бессильны оказываются профессора там, где рак уже успел распространиться по всему телу.

Наверное, он, правда, не был таким знаменитым, как о нём говорили. А может, и сам болел? Как тут не заразиться.

— Вы что-нибудь попробуете сделать?..

— Там, где рак успел распространиться по всему телу, делать нечего. Даже если заболит сам профессор. Или даже самый главный из всех профессоров... — Врач грустно улыбался.

Опасения его подтвердились. Рак, начавшийся в желудке Фекили-апа, успел разбежаться по всему организму. Более того, рост опухоли дошёл до предела — четвёртой стадии. Это не первая, не вторая и даже не третья стадия — это четвёртая стадия... Четвёртая равносильна слову «смерть». Между раком, дошедшим до четвёртой стадии, и смертью нет никакой разницы. Четвёртая стадия и смерть похожи друг на друга, как две капли воды из-под крана.

* Кряшены — крещёные татары.

Профессор это сразу увидел, как только вскрыл грудную полость Фекили-апа. До операции он на что-то ещё надеялся. «Вдруг, — думал, — не успел распространиться, вдруг ещё смогу вырезать и выбросить этот самый рак...» Но его надежды не оправдались.

В груди у старухи болезнь расходилась вовсю. Уж на что профессор видывал виды, но и у него по телу поползла холодная дрожь. Профессор, цепеняя, ощутил, что эта волна свела его колени и вышла через пальцы ног. Озноб всегда уходил из его тела через пальцы ног. Начинается возле шеи и, пробив, как электроток, всё тело, выходит через пальцы ног.

Первой мыслью профессора было скорей закрыть всё это... Ему не хотелось видеть рак четвёртой стадии. Четвёртая вызывала у него, как всегда, дурноту и головокружение. И возбуждала бешеную ненависть к раку. Ненависть и бессильное раздражение, потому что делать тут было нечего. Смерть вторглась в организм живого человека, который ещё дышит, смотрит. Но уйти она уже не могла, потому что смерть не умеет уходить.

Находившийся внутри Фекили-апа рак, глядя на профессора, насмешливо улыбнулся. Конечно, профессор знал доподлинно, что рак не умеет улыбаться, но сегодня почудилось, что он улыбнулся. Профессор долго смотрел на него сверху вниз. Вокруг вертелись ассистенты в белых халатах, они снимали на фотоплёнку со всех сторон то, на что смотрел профессор. Но от этого никакого облегчения Фекили-апа не было. И профессору. И Тимеру... И всем родственникам, односельчанам, соотечественникам Фекили-апа, всем, проживающим возле неё в этом мире, — никакого облегчения не было.

Профессор вышел из операционной и посмотрел на Тимера. Тимер сделал шаг назад и в сторону. Он измучился, ожидая в коридоре. Из-за постоянного страха, что мать умерла или вот-вот умрёт, он не чувял ног. «Если скончается, — думал он, — мне незачем больше жить».

Когда он услышал слова профессора, тёплые слёзы затмили глаза. Стало темно. Однако Тимер не зарыдал громко — он не мог при профессоре. Слёзы текли и текли, выгибая и ломая окружающий мрачный мир. Они обжигали щёки, словно царапали. Тимер слизнул капельку, закатившуюся в уголок рта, — слеза была, как в детстве, солёной и горькой, более солёной и горькой, чем любое на земле лекарство.

Профессор что-то объяснял и объяснял Тимеру. И всё, наконец, объяснил. Состояние матери на первых порах улучшится, операционная рана заживёт, и Фекиля-апа скончается, когда дни склонятся к весне...

— Её надо скорее в село, в свой дом, — добавил, отходя и возвращаясь, профессор, — она захочет умереть в своём доме. Это нам всё равно где, а ей не всё равно. Ей захочется в родных стенах умереть. Это для неё теперь единственное утешение — умереть в своём доме.

2

Тимер так и сделал. Едва зажила операционная рана, он увёз мать в село. А приехав туда, и сам почувствовал недомогание. Присматривать за матерью осталась сестра Роза. Тимер с трудом добрался до Казани. Через два дня он был уже в больнице.

Первую неделю его мучили головные боли и высокая температура. Но врачи уколами быстро сбили её. Вот только кровотечение из лёгких всё не останавливалось. Сегодня уже, считай, два месяца, как он в больнице, а на платке и полотенце у Тимера красные пятна.

В эту минуту к нему в палату зашёл врач. Этот врач был молодой, розовый, но тоже внимательный и говорливый.

— Ну, как настроение? — спросил он Тимера. — Айбат*?

— Среднее. Жаловаться, вроде, причины нет, и всё же настроение среднее.

— Кашляем? Кровь?

— Кровотечение никак не кончается. Я хочу, чтобы оно совсем прекратилось.

— Ты не беспокойся. Процесс в твоих лёгких был очень сильным. Он не может раз — и остановиться. Мы его любым способом остановим. Лечение будет долгим, но остановить попытаемся. Лекарства все пьёшь?

— Все пью. Вернее, пью, какие дают. Иной раз некоторых лекарств не бывает. В эти периоды все пить, как вы понимаете, не могу...

— Лекарства надо все пить! Нельзя делать перерыва. Лекарства всегда все надо пить. Иначе процесс будет сложно остановить. А мне хочется остановить этот процесс. Это будет трудно и долго, однако мне хочется его остановить.

— И мне. Я согласен лечиться до тех пор, пока он совсем не прекратится. Он долго будет тянуться, но я вытерплю. Не предамся грусть-тоске. Это очень трудно, но я постараюсь не предаваться грусть-тоске. Правильно я делаю?

— Да, грусть-тоске ты это... не предавайся. Для успешного лечения бик важно, очень важно! Сейчас на улице весна, капель пошла... Но ты не должен унывать.

— Я стараюсь! Бывает, невесело одному в палате. Мочи нет. Но я стараюсь! Чтобы не предаваться грусть-тоске, сам с собой разговариваю, сам себя успокаиваю.

— А о чём ты сам с собой разговариваешь? — Молодой врач пригладил волосы и глянул в окно. — Кызлар турында**?

— О маме... О том, что лежит она на смертном одре. О том, что умирает от рака желудка. Думать об этом ужасно тяжело, но я каждый день об этом думаю. И сам с собой об этом разговариваю.

— Из-за неё и плачешь?

— Да, и плачу.

Тимер вспомнил, как однажды ночью он вышел в коридор подышать. Там стена длинная, воздух есть. Сел в тёмном уголке и заплакал. Не надо было, но он сорвался... Во второй раз, это совсем недавно, в палате, сел на койку, и слёзы пошли сами собой. В этот раз ему особенно необходимо было — в груди возник какой-то комок, который вызывал сверлящую тоску. Казалось, только так он избавится от него... И правда, этот комок твёрдый исчез. А может, не исчез, а только смягчился.

— Как подумаю о маме, в груди твердеет комок, распирает.

— Лучше не плакать, — убеждённо сказал врач, — плакать можно, только чтобы... от этого комка в груди избавиться. А в другое время плакать не стоит. Плакать в другое время даже вредно, — он вздохнул. — Но вот если в душе ком встанет, ты можешь слезами от него избавиться. Конечно, неприятное это занятие, но что делать, если поскорее хочешь избавиться...

— Я, поплавав, всегда от него избавляюсь.

— От него иначе и не освободиться.

— А интересно, что ж это проявляется в душе таким тяжким комком?

— Об этом лучше не спрашивать, — подумав, ответил посерьёзневший молодой врач, — это можно объяснить, но об этом лучше не говорить. Да и не думать об этом лучше.

— Я стараюсь не думать.

* Айбат — хорошо.

** Кызлар турында — о девушках

- Вот-вот. Так оно веселей.
 - Даже приятнее. Только вот мама не выходит из памяти.
 - Мы не можем запретить думать о матерях. Врачи никогда не могут сказать больным, мол, не думайте о своих матерях. Вообще, мысль человеческая в этом мире — самая вольная птичка. Думу человеческую никто не может запретить или унять. Даже если это дурная дума. — Может быть, врач уже размышлял о своём. — Вот так, туган*!
 - Унять думу может только думающий? И одну думу может унять другая дума?
 - Это уже называется борением дум... В человеческой душе хорошая дума должна всегда побеждать плохую думу. Как в сказке. Там ведь тоже — побеждает добрый молодец, а не злой. А человеческая душа, как та же сказка... Верно, туган?
- Когда врач вышел, Тимер долго лежал, закрыв глаза. Как всегда, и на этот раз он думал не о будущем, а о прошлом.

3

Родное село глядит человеческими лицами, лошадьми, гусями, петухами, взобравшимися на крыши. На восточной окраине, сразу же за картофельным огородом дома Тимера, к небу уходит крутой склон. Гора мощно так вздыбилась, откосы такие отвесные, что с неё всё время сыплется мелкий песок. Он скатывается медленно, но безостановочно, по всему подолу, и поэтому здесь не может расти трава. Захожий человек, наверное, подумает со стороны — нет на этом склоне ничего живого. Но Тимер, выросший у подножья песчаного великана, не может думать об этой горе, как некий близорукий прохожий.

Прежде всего, здесь очень много красных стрекоз. В начале июня, случается, они со стрёкотом кружат над кривыми улицами села. В эти часы Тимер выбегает за жердевые бедняцкие ворота и смотрит вверх. На высоте всего в два человеческих роста ходит эта красная плоская туча взад-вперёд, огибая столбы и крыши, и вот, как эскадрилья бомбардировщиков, медленно уплывает на склон горы. Склон красен от заката. Тимер бежит вслед за стрекозами, отступаясь в песке, и карабкается вверх, ловит их — одну стрекозу, другую — с прозрачными розово-фиолетовыми вблизи крыльями, с чёткими голенастыми ногами... Иногда набирается их три-четыре спичечных коробка. Только что же с ними делать? Тимер снова их отпускает на волю. Правда, прежде чем выпустить, он стоит, прижав к уху закрытый коробок, и слушает, как они там, в коробке, возятся, шуршат. Тимер до смерти любил слушать этот загадочный треск и шорох. Может, только для того и ловит стрекоз...

Вот стоит он, мальчик Тимер, мальчик с именем, обозначающим железо и волю, стоит одиноко на песчаном склоне, рука с коробком возле уха. Он, закрыв глаза, улыбается. И вдруг смеётся, прыгает на месте. И снова замирает, увлечённый своим занятием... Чужой человек мог бы со стороны подумать, что Тимер сумасшедший, «тиле» по-татарски. Однако Тимер ни в коем случае не считал себя тиле. Сумасшедшие люди, бывает, ни с того ни с сего смеются раскатисто и подпрыгивают, но ведь зато они не любят слушать подолгу, как стрекозы возятся в спичечном коробке. А Тимер именно это любит слушать.

«Тут и при желании тиле не станешь, — думал Тимер. — Наверное, сумасшествие не приходит по желанию людей. Скорее всего, это странное, таинственное состояние... Я понимаю, если кто от рождения, с детства тиле. А как быть с умными, взрослыми людьми — почему они сходят с ума? Наш директор школы однажды тоже... Нет, не

* Туган — родной.



буйствовал, окон не бил, но всё же. Увидел — ученики играют в игру «Кто ударил?», пристроился к ним, глаза зажмурил, ладонь за спину, и ещё обижаются вместе с ними, бранится — не так бьют, нечестно, а потом надел задом наперёд валенки, шапку, пальто и ходил, хихикая, перед школой. Из райцентра врачи приехали и увезли в сумасшедший дом. Но через два месяца он вернулся, стал снова очень серьёзным, настоящим директором.

Мысль, родившаяся возле стрекоз, вон куда увела Тимера. «Нет, о сумасшедших не надо, — сказал сам себе Тимер. — мысль о сумасшествии — нехорошая мысль. Лучше, если о сумасшествии вовсе не думать. Оставь ты мысли о сумасшествии и сумасшедших! Кыш-кыш, брысь, дурацкие мысли о сумасшествии и сумасшедших!..»

Мне сейчас нужно думать только о родном селе. И о стрекозах. Сегодня ко мне после обеда друзья придут. Мне нужно, чтоб до тех пор, пока они придут, подумать думы мои о селе. А думать о сумасшествии не стоит. Не правда ли, каждая мысль должна духовно обогащать человека? А разве может обогатить мысль о безумии? Душу мою питают мысли о селе. Силы дают, свет зажигают... Думай, думай про деревенские крыши, про скворечник, сладкий запах бани, голубой дым печей...»

Да, на восточной окраине села, на песчаном склоне, жили красные стрекозы. А под плоскими камнями — молочные жабы. Кожа у них бугристая, как короста на ране, и цвета почти такого, как земля, не сразу разглядишь в углублении. Весь день, пока светло, они таились в темноте. Когда Тимер отваливал камень, они, словно котят, попискивая, прижимались к холодному песку. Они боялись солнца. А стоило Тимеру коснуться их пальцами, они вдруг всю шершавой кожей выделяли молоко. Тимер никак не мог понять, откуда у них молоко. Однажды оно даже попало ему на палец, и мальчик попробовал языком. Белёсая влага была горькой, горше полынной горе-

чи, горше любого лекарства. Никогда больше в жизни Тимер не попробовал ничего, горше жабьего молока...

Тимер, скривившись от жалости, заваливал плитками этих странных тварей. Но с заходом солнца они сами выползали из-под камней и, перекликаясь тоненькими голосочками, принимались ловить в сумерках всякую мелкую живность — комаров, мушек, бабочек, неопасных жучков... Но всего этого Тимер уже не мог видеть, потому что боялся оставаться здесь один, на склоне огромной таинственной горы, среди надвинувшейся ночи, когда плывут слои воздуха в лицо — то тёплый, то зябкий, будто какие-то огромные призрачные существа ходят вокруг и дышат...

Но днём Тимер опять прибегал сюда. Откидывал камушки — все жабы, большие и маленькие, были на месте.

Тимер отчего-то жалел их. Может, потому, что они пищали, словно брошенные котята... Может быть, может быть... Пусть все пальцем показывают на Тимера, смеются над ним, но он жалел их. Жалел, и всё! Он принёс им однажды хлеба, но хлеб они не ели — зато подскочила ворона и, каркнув, забрала кусок, взмыла в жаркое небо... Тьфу, чёрная ведьма! Дай ей волю, она клювом своим и лягушек поубивает. Тимер закрывал камнями ямки, словно кладовые, и, насупившись, думал. Неважно, почему человек жалеет кого-либо — он должен жалеть слабых. И не только жалеть, но и защищать. Цена копейка была бы Тимеру, если бы он смотрел, как гибнут лягушки, и не пытался бы хоть как-то уберечь их от беды. Что толку от твоих слёз, если ты не хочешь руки приложить. Откинут камень — положи на место. Иначе под солнцем жабы все высохнут и никогда уже не смогут подавать голос, как брошенные котята. И вообще, что-то нечаянно тронул в природе — восстанови, как было. Все камни — на место. Крышки загадочных кладов природы...

«Что-то я лишнего о жабах, — сказал Тимер сам себе. — там ведь, на горе, было много и чего другого. Корни торчали жёсткие, разветвлённые — от каких деревьев? Ни одного дерева над головой. Тоже тайна... А за горою волнами расстилалось пшеничное поле. Чего я не вспомнил о нём, прежде всего? О жаворонке над полем? И чего я только о своей, восточной окраине села? А где западная, северная, южная? Можно, например, подробно представить себе лесистый холм на западной стороне...»

Но Тимер уже устал. «Хватит, — буркнул он про себя. — так долго нельзя. Мне врачи советуют отдыхать и не думать ни о чём». Сказав себе так, Тимер начал старательно ни о чём не думать.

4

И тут к нему явились друзья.

Больница была расположена в лесу, далеко от Казани, и поэтому друзья прикатили на машине. Тимер услышал за воротами тройной гудок и приподнялся — посмотрел в окно. С обеих сторон «Волги» открылись дверцы и вышли друзья Тимера. Они выпрямились. Они были здоровые, симпатичные, с независимыми лицами. Казалось, они могут сесть в машину и поехать дальше, куда глаза глядят — хоть в Сибирь, хоть в Крым, где, говорят, хороший сухой воздух. Тимер смотрел на них сверху как бы новыми глазами.

Они приехали втроём. Рослые, солидные, в модных костюмах в мелкую клеточку (Финляндия? Япония?), с яркими кожаными портфелями. Они ослепительно улыбались, хотя улыбаться ещё было некому — они стояли во дворе, вдали от медсестёр и врачей. Но они так уже привыкли — победительно и легко улыбаться. «Антеи, Геркулесы, Алып»*... — затосковал Тимер. — А я вот в больнице лежу. Нет, я не завидую

* Алып — исполин из татарской народной сказки.

их здоровью. Ни капельки. Я горжусь ими — это же мои друзья! А зависти нет в моей душе. Плевал я на зависть. Нет ничего более недостойного, чем завидовать здоровью другого человека. Недостойно, низко, гнусно».

Тимер встретил их в дверях, выглядывая в коридор. Зайдя в больницу, друзья смеялись, может быть, готовили какие-то новости, шутки, но, увидев кудлатую чёрную голову Тимера, торчащую из дверей, неожиданно смолкли. «Почему это все, приходя в больницу, как-то сразу сникают? Даже жена?»

Однако ни сам Тимер, ни его друзья были не из тех людей, которые подолгу молчат. Первым ухмыльнулся баламут Миндуп:

— Ты чего тут валяешься, пёс, баран, верблюд? — начал он по обыкновению навешивать на Тимера слова. — В городе весна начинается, а ты тут лежишь, тухнешь... Айда, поехали в Казань, зачем тебе больница, плюнь на больницу, ты здоровый — посмотрите на него! Без тебя там, в Союзе архитекторов, мёртвая скука. — Миндуп обнял Тимера. — Хоть бы над тобой посмеялись, над унылой твоей мордой!

— Я плюю на болезнь, Миндуп, — сказал тихо Тимер, — да получается — с кровью... — Зря он так сказал. Надо было после шутилых слов Миндупа тоже что-нибудь легкомысленное. И добавил по-русски. — А вообще-то я кровь с молоком.

Низам с укоризной посмотрел на Миндупа.

— Отпусти человека... Ты к больному пришёл или в цирк? Тут нехорошо ржать, товарищи.

«А ты всё такой же серьёзный. — Тимер пожал широкую вялую ладонь Низама. — Низам по-прежнему заведующий отделом в Союзе архитекторов и уходить не хочет, как молочная жаба из-под камня».

Нет, Низам был человек как человек, и одевался модно, и обедал в ресторане, не боялся, что люди скажут, и даже, говорят, любовницу имел, но что касается серьёзности, то серьёзным был Низам. Он и смеялся редко. Точнее, когда шутили другие, он вообще не смеялся, но если сам изволил пошутить, пусть даже не шибко остроумно, смех, булькая, прыгал в его горле. Даже страшновато за него делалось. А громко смеяться он вовсе не умел. А если всё же приходилось ему расхохотаться, то он долго потом кашлял и болел, лицо становилось красным, словно обваренным. «Особой, видно, породы, — думал Тимер с удивлением про Низама. — Человек, болевающий от смеха, не может быть простым человеком».

После того, как Низам одёрнул Миндупа, в палате наступила тишина. Но это было уже слишком. Такую тишину Тимер мог и сам создать, сидючи один в палате. Если пришли — шумите.

— Ну, что там у нас на работе?

— О работе пусть Низам рассказывает, — ворчливо ответил Миндуп, — он её больше нас делает. И за себя, и за всех нас всю эту дрянную казённую работу. Бумажный червь, кабинетная крыса, протокольный паук, жук, шамакодявка!

На этот раз все засмеялись, заржали, как жеребцы, хотя Миндуп сказал глупость. Ну и что, что глупость?! Надо было засмеяться, вот и засмеялись. «Отличные у меня друзья, — вздохнул Тимер. — психологи! Без вас мне было бы тяжело... И всё-таки, братишки, не заменить вам мою маму... Нет, нет, о чём я? Не надо сейчас. О маме потом, когда они уйдут».

— На работе особых новостей нет, — подтвердил, чинно сидя на стуле, Низам. — Тебя недостаёт. Правда, работа движется, каждый заказ выполняем по плану, но твоё отсутствие время от времени ощущается, товарищ.

— Особенно вдовушки казанские тоскуют, — снова ввязался повеселевший Миндуп.

А Русти всё ещё помалкивал. «Всегда такой, — подумал Тимер о нём. — но это не из тщеславия. Он не из тех, кто говорит, взвешивая каждое слово. Рассуждает он, правда, редко и мало, но не из тех, кто говорит, взвешивая слова. Надо сказать, он никогда не говорит и глупостей. И не болтает где попало что попало. Но я бы не поставил его рядом с теми, кто говорит, взвешивая свои слова. Однако разве мешает это нашей дружбе с ним? — продолжал думать Тимер с тёплой улыбкой. — Наоборот, если бы он разговаривал, взвешивая каждое своё слово, я бы, может, и недолго любил его. Нет, Русти — хороший друг. А быть с ним в женской компании и вовсе удовольствие — вечерний университет культуры».

— Ну, Русти, скажи и ты пару слов, — попросил Тимер.

— Откуда новости в наше время? — Грустные глаза Русти притаились за толстыми линзами очков, — нет их. А просто так разговаривать, как вы, не умею я. Вот и слушаю с удовольствием. А насчёт женщин и вовсе нет новостей. — Глаза у него стали ещё грустней, прямо трагическими. — Может быть, никогда их уже больше не будет. Не женщин, а новостей, имею я в виду.

Это он так нескладно шутил. И друзья разом засмеялись. Они всегда ржали над неумием Русти пошутить и над его трагическим видом. Русти не обижался, он тоже улыбнулся. А что ему было обижаться, если в другой области жизни — в работе своей — он был гигант. Порученный ему архитектурный проект обычно выполнялся быстро, с блеском и принимался на «ура», так что он вполне мог и не уметь шутить.

«Это самое главное — делать успешно своё дело, — подумал Тимер. — каким бы оно ни было трудным, главное тут — не сорваться. Можешь с улыбочкой ходить, можешь на здоровье жаловаться, это никому неинтересно, но работу должен вытянуть. Пот обжигает спину, когда стоишь, раздумывая часами, над листами ватмана. Пот обжигает спину, словно кнутом тебя огрели. Но никто не торопит, не мучает тебя так, как ты сам. За эти годы я научился не жалеть себя, чтобы только дело шло. Приходилось не считаться с семьёй, женой, со здоровьем, со многими мелочами, которые хотели бы упорядочить мою жизнь. Относиться с ухмылкой лени к своему призванию я никогда не мог. Если уж я взялся проектировать дома, улицы, города, если я взялся указывать людям, как им лучше группироваться на земле, как слоями жить друг над другом, если уж я взялся быть их учителем и властелином (что с того, что жители домов, улиц, городов это не всегда осознают?!), то как я могу относиться к делу, как некий проходимец или циник? Голову отрежьте на операционном столе, чтобы она меньше задыхалась, — я на это не пойду. И Русти не пойдёт. И Низам. И Миндуп, Мин-дуп (по-татарски «мин» — это «я», а «дуп» — это по-русски, вроде бы, «дуб»). Так вот, даже Миндуп на это не пойдёт».

С улыбкой разглядывая своих друзей, Тимер восхищался ими. Он любил их, радость, вызванная их приходом, жарко прилипла к ушам, щекам. Собственно, это была радостная кровь. «Интересно, та ли это кровь, что течёт из лёгких? — подумал Тимер, — или во мне две разные крови — чёрная, больная, и красная, радостная? Или кровь одна, но радость, жизненная сила уже не уместается в мои рваные лёгкие, и вот выходит излишком крови в горло, а заодно бьёт в уши, в щёки, в затылок? Но если это так, зачем мне эти излишки, зачем мне эта радость? Радость, за которую платишь кровью, — пусть её собака жрёт! Пролитая на войне кровь — совсем другое, там её можно проливать не жалея, потому что льётся она за ребёнка твоего, за жену, за мать-старуху, за отца... за Отечество... за передовые идеи гуманизма... А здесь что — чёрная жижа, полная бацилл. Нет, это разные крови. Всё, и больше ни слова об этом, и думать больше не хочется!»

А тем временем Низам с Миндупом принялись спорить о недавно прошедшем собрании, где выступал Мардан-абый (!), старый архитектор.

— Выступление его было глупее пробки, — горячился Миндуп, — дешевле копейки! Вредное было выступление!

— А ты зря на него полез. Лишнего, товарищ! Старикам нельзя так резко возражать.

— А зачем они так резко на нас прут? Не только резко — танком пытаются своротить! Проект Русты — отличный проект. А Мардан-абый, ни фиги не шурупя, берётся ругать его. Смешно! Безграмотный осёл, дитё ликбеза, вульгарный социолог, картошка в мундире!

— Ошибаешься, — не улыбнувшись ни разу, отвечал Низам, как-то напрягаясь и становясь ещё более серьёзным, внушительным, — Мардан-абый человек очень даже образованный, учился в своё время в Москве. Он — самый, я тебе скажу, образованный архитектор из стариков. Конечно, сам факт выступления такого почтенного человека против проекта Русты... талантливого проекта... — на секунду Низам замолчал, кажется, увидел муху в окне и, может быть, мгновенно определил её параметры. — Но с другой стороны, пенсионеры-старики не должны покидать собрание с горькой мыслью, что они ни на мизинец не нужны. Есть в мире дорогая вещь, называемая тактом.

Миндуп со стуком прикрыв приоткрывшуюся дверь.

— Во-первых, в нашем деле нет ни первой, ни второй стороны! Ни пятой, ни шестой! Истина одна, как игла, и одна у неё со всех сторон сторона! Мы творческие, как мне хотелось бы верить, люди! И для нас существует один вопрос: талантливо это или халтура? Во-вторых, в деле творческом для меня лично нет такого понятия «такт», а есть понятие «факт»! Ты мне факт подавай, хороший проект, тогда и будет с моей стороны такт! Ведь, если подумать, Мардан-абый за всю свою жизнь не выполнил ни одного проекта, которым можно было бы восхищаться! Он всю жизнь поучал других с трибуны. Он умирать будет — попросит поставить рядом с гробом стакан и графин. Всё своё образование он потратил только на это.

— Учителя тоже нужны... — буркнул Низам.

— Новый проект Русты, — перебил Миндуп, — как буря, сметает все бумажные проекты Мардана-абый! Грош им цена!

«Вот такой разговор мне нравится, — улыбаясь, думал Тимер. — Ах, насколько же я истомился по творческим спорам! Их трём я слушаю, как симфонию! Однако здесь недостаёт голоса Русты. А уж Русты если скажет, так скажет, он не взвешивает слова».

И точно. Русты, не мигая, словно припоминая что-то очень грустное, пробормотал:

— Бросьте вы. Мне всё равно, выступал против меня Мардан-абый или не выступал. По мне, хоть пятнадцать Марданов выйди на пятнадцать трибун. С пятнадцатую графинами... Только время жалко, наше бесценное, золотое, алмазное. Ведь от этих выступлений мой проект не улучшится и не ухудшится. А там можно было бы кое-что улучшить. — Вдруг Русты оживился, сейчас пошутит, — от одного взгляда на мой проект у таких людей, как Мардан-абый, начинают со стуком выпадать зубы. Почему? Да потому, что новизна моего проекта бьёт их, как дубина по зубам!

«Вот это уже в его духе, — отметил Тимер. — Грубо, зло. Тептярь с мишарем* вперемешку, грубый татарин с нежной душой! А я, крещённый татарин, кряшен, как я выгляжу со стороны? Шутник-рационалист, оптимист-меланхолик?..»

Русты помолчал и, посложив после его слов смысла не было продолжать спора о Мардане, высокомерно бросил:

* Мишари, тептяри — этнические группы татарского народа.

— Отличные вы парни, но что вы понимаете в бабах?.. Вот я вспомнил... если разрешите...

Он явно дурачил Низама. Потому что Низам, каким бы серьёзным ни казался, какой бы пост ни занимал, даже имея — по слухам — любовницу, оставался, тем не менее, сущим ребёнком, когда речь заходила о женщинах. Каждый анекдот, каждый слегка фривольный разговор о женщинах он слушал, подавшись всем телом вперёд. И совестно слушать, и хочется. И на этот раз он попался с первой же секунды. По-краснел, кашлянул.

— Да-да? — сказал Низам и сел, как школьник, колени вместе, даже волосы пригладил. Миндуп, Тимер и Русти переглянулись, смеяться было нельзя. Игру надо было довести до конца.

— Я рассказывал тебе, — начал Русти, повернувшись к Миндупу, который, конечно, ничего подобного не слышал от Русти. — Помнишь? О той женщине... на пляже...

— А-а, о той женщине?.. Вот такой ширины?! — подхватил Миндуп, широко раскидывая руки. — Да, да, рассказывал. Ну-ка, расскажи ещё раз. Я ещё тысячу раз послушаю, не надоеет мне эта женщина!

Толстый Низам заёрзал на стуле. Он искренне верил в безнравственность своих друзей. Может быть, даже завидовал, хотя стать таким не позволяли ему должность, воспитание, здоровый деревенский характер.

— Я тебе говорил, как прошлым летом... — Русти закатил томительную паузу, поиграл глазами, как бы припоминая всё заново и решая, что рассказать, а что утаить. — Рано утром... ну, знаете, когда встаёт солнце... — снова пауза, — я пошёл искупаться на Казанку. Иду, вокруг никого. Солнце рассыпает лучи. Пляж золотой и совершенно пустынный. Ну, прямо пустыня Сахара. Или Гоби, — Русти, наконец, наслаждался младенчески трепетным безмолвным ожиданием Низама и перешёл к делу. — И тут я поднимаю глаза. Ой, Аллах! Впереди... всего в пятидесяти шагах от меня... знаешь что? Вернее, кто?

Миндуп отрицательно качал головой, словно бы не веря, боясь поверить, как это делают старики и старухи, слушая потрясающую историю. Низам сглотнул слюну, достал платок и вытер лоб.

— Да! Да!.. — шёпотом продолжал Русти, для большей впечатлительности переходя то на русский, то на татарский язык. — Эй! И притом совершенно голая!.. Бельсенме? Знаешь? Каждая конструкция... взяты несущие конструкции... цокольный этаж... или балконы... величиной с отдельно взятую женщину! Не женщина, а праздничная статуя, сотворённая из нескольких женщин! Тело от солнца, как шоколад... Ята*, малай**, навзничь! А тут... Отдашь пуд золота, чтобы прикоснуться!

Низам шурится, пытаясь противостоять этому сладкому яду, пытаясь недоверчиво или свысока усмехнуться, но только хрип в его горле, в горле пересохло, как в ручье. Пора бы уж парням расхотаться, но хочется ещё больше поддеть Низама, взять за живое, заморочить ум и сердце.

— Эх, парни... в такие минуты необходимо терпение, — продолжал Русти, — Низам бы на моём месте не стерпел, в барса превратился, в тигра. И всё бы испортил!

— При чём тут я?.. — еле слышно произнёс Низам, багровея и испуганно оглядываясь.

— Да, да, он распутник, — согласился Миндуп. — Айда уж, дорасскажи...

— Я приближаюсь... Приближаюсь к этой замечательной женщине... А она лежит, ята, не шелохнётся. А тут ещё солнце поднялось и бьёт в упор в лицо, мешает мне

* Ята — лежит.

** Малай — парень, а также традиционное обращение рассказчика к слушателю.

разглядеть это чудо природы. Золотая завеса! Я тогда обхожу её с другой стороны, издали, метрах в пятнадцати... Она, закрыв глаза рукой, улыбается. Гляжу... — тут Русти, вздыхая, закатывает паузу. Миндуп и Тимер смотрят на Низама, который ест глазами рот Русти — выше поднять стесняется. — Гляжу!.. Гляжу!.. — Русти интонацией подчёркивает, что он приближается к незнакомке. — А на ней! Оказывается! Купальник! Она надела купальник точно такого же цвета, как её загорелое тело! Лежит себе, греется! А смотришь издали, как голая! Вот ещё одна тайна архитектуры, товарищи. Я вам рассказал эту историю не из пошлых побуждений, а поделился профессиональным наблюдением. Как важен цвет! Что скажешь, Низам?

Одураченный Низам, помедлив, кивнул. В глазах его была тоска и растерянность. Что-то прекрасное мелькнуло в воздухе и исчезло. Русти, Тимер и Миндуп мысленно хохотали, наслаждаясь розыгрышем, но сидели с вытянутыми лицами.

Но шутка шуткой — разговор опять-таки вернулся к архитектурным новостям. Друзья развернули газету — оказывается, они принесли Тимеру в больницу тяжёлый, красочно изданный альбом Корбюзье. Даже не мечтал достать. Низам — это он купил в Москве — рассказал заодно о жизни столичных архитекторов. Проектируют коровники.

— Спасибо!.. — бормотал Тимер, пожимая его мясистую руку. — Спасибо, ребята!.. — Рука Русти была холодная, ловкая, а у Миндупа горячая, будто он веретено крутил. — Рахмат!..

Им, кажется, пора было уходить. А их уход означал, что Тимер опять остаётся в маленькой палате один-одинёшенек. А оставаться здесь невесело. Поэтому друзья мялись, тянули время, и никто не мог решиться первым сказать: пора.

«Это должен сделать я, — понял Тимер, жалобно улыбаясь друзьям. — Я и никто другой. Но как сказать? Мол, вы устали — уходите? Скажут: не устали. Притвориться самому? Мол, слаб, голова закружилась? Нехорошо. Каждая секунда с ними для меня, как глоток кислорода из зелёной подушки». Наконец, бойцовское начало в Тимере взяло верх, и он пошутил — он всегда спасался шуткой:

— Эй, вы, ночевать сюда пришли, что ли?! Я вижу, вы бессовестные гости, даже не думаете уматывать...

Парни со смехом схватились за свои портфели, но, конечно, всё равно они сразу не могли уйти.

— Если ты так гонишь, мы вообще можем больше не приходить! — как бы сердился Миндуп. — Ты почему нас гонишь?!

— Мне что уйти, что ночевать, — ухмыльнулся Русти, — как хозяйка скажут. Конечно, лучше, если — хозяйка.

— Ладно, ладно, — отозвался Низам, слегка сердясь на Русти. — Нас ждёт работа. А Тимеру надо отдохнуть. Если он хорошо отдохнёт, то сможет потом хорошо работать. А мы должны хорошо работать, товарищи...

Проводив по коридору друзей, Тимер вернулся в палату и лёг. Он не смотрел в окно, не кивал, улыбаясь, не махал рукой. Машина у ворот погудела и уехала. Бетте*. Вот были, ушли и ничего не изменилось. Те же стены. Та же старая железная кровать, стол, застланный скатертью в мелких красных блёклых цветочках. На столе полу-свернувшиеся листы ватмана — чертежи Тимера. И тяжёлый фолиант Корбюзье.

Ничего не изменилось. Боль и сомнения остались при себе. Но нельзя раскисать, нельзя лежать, свернувшись калачиком. Иначе конец. «Мне нужно движение. Как говорил мой тёзка Тамерлан, хромой хан, — движение, движение... Нельзя предаваться грусть-тоске. Встань и придумай себе занятие».

* Бетте — конец.

Тимер поднялся. Нет, что-то с приходом и уходом друзей в палате изменилось. Тот стул всё время находился в углу, а сейчас подошёл к самой кровати Тимера, застыл в изголовье. Настольная лампа, которая должна бы стоять на левой половине стола, отчего-то взгромоздилась на подоконник. Её убрал туда Русти. Это произошло, когда Тимер хотел показать несколько новых своих набросков, но сам же передумал: «Зачем мне их снисходительная похвала? Мол, человек болен, а смотри-ка ты, что-то такое ищет... Нет, успеется, когда выйду. Хватит и без меня прикованных писателей, прикованных художников, живущих нашей снисходительностью. Мастер должен тянуть, как ломовая лошадь!» Тимер вытащил из-под подушки картонную папку — что в ней, никто, кроме Тимера, не знает, это его сны, ночные видения — и сунул в тумбочку, на яблоки. От папки пахло яблоками. У каждого мастера должна быть папка, от которой пахнет яблоками. Чужой человек в неё может заглянуть только после смерти мастера... Тимер поставил стул на место и пробормотал: «Всю палату перевернули вверх дном». Но это он сказал нарочно, с кривой улыбкой, потому что в каждой вещи, которой касались друзья, как бы сохранилось тепло их рук. Альбом Корбюзье он бережно перенёс под подушку, в изголовье, чтобы во время мёртвого часа можно было полистать. Карандаш, который вертел в горячих руках Миндуп, он приложил к щеке. Стулья, лампа, бумаги, ластик, чертёжные принадлежности — всё, наконец, заняло свои привычные места.

«Вот так, — сказал Тимер своим вещам, — в мире каждый предмет должен находиться на своём месте. Лампа, тебе делать нечего на окне — там и без тебя света много! И твоё желание сунуться в дела солнца, по меньшей мере, вызывает удивление. Вот Мардан-абый, взобравшись на трибуну, начал поучать талантливых парней и точно так же, как ты на окне, которое освещено солнцем, стал посмешищем. Бог с ним, он старый... А эти чертежи, которые я сам решил не показывать и которые сползли со стола — один лист улетел в угол — вам место не здесь, в больнице, а на столе Председателя Совета Министров. Первая страна должна быть первой и в архитектуре. Так что лишь эти листы пока не на месте. Ну и что? Нужно или выздороветь, чтобы к ним объективно отнестись — без жалости, без снисходительности... или умереть. А быть больным ужасно».



Тимер, рассуждая подобным образом, ходил вперёд-назад по палате. Он многое мог бы объяснить настольной лампе, но она всё равно бы его не поняла. Ему оставалось разговаривать с самим собой и думать или о прошлом, или о будущем. (Настоящего пока не существовало). О будущем он не мог думать — разве только его чертежи грезили о будущем... Оставалось — прошлое.

5

Он устало вытянулся на койке. «Теперь можно снова о родном селе. Я не успел додумать мысли свои о родном селе до прихода моих друзей. А надо бы додумать до конца. Любое дело надо доводить до конца, как бы ни было тебе тяжело. Может быть, ты в конце размышления поймёшь что-то такое, что поможет. Или убьёт. Но что-то получится новое из всего старого, что было с тобой... Как из старых истин, карандашей, тысячу лет известной бумаги возникают иногда юные, небывалые по своей дерзости идеи... Но я это так, случайно вспомнил.

Почему случайно?! Разве не это — не архитектура — суть твоей жизни? Или вернее, разве не архитектура суть твоя жизнь? Только творчество подымает человека. Да, да, это неплохая мысль. Ты можешь болеть, умирать, но творчество — это то, чего нельзя не доводить до конца. Как же быть с Городом Наций?»

Ему уже несколько ночей подряд снился Город Наций — самый пёстрый и совершенный город на земле: мечети и небоскрёбы, церкви и круглые башни, храмы с золотыми масками Будды и треугольные модернистские дома. И всюду — памятники: люди, львы, собаки, дельфины... Всё прекрасное, что было и есть на земле. И всего-то весь город — километров пять в диаметре! И там, именно там отныне собирается ООН...

«Ну, ну... потом, потом, — рассердился Тимер. — где твоя воля? Если ты не умеешь сосредоточиться на одном, ты не мастер. Если уж начал думать о родном селе — думай о родном селе. Родное село важнее даже Города Наций. Я так думаю. На чём я остановился перед приходом друзей? Мне вспомнился лес на западной окраине села...»

Да, на западе от села тянулась покрытая густым лесом возвышенность. Своим подножием она упиралась в село и полого уходила в вечернее небо. Но лес был далеко — между лесом и окраиной версты две пашни. Хотя — разве это далеко? Это тогда, в детстве, было далеко, потому что ночью возвращаться из лесу страшно. То лошадь примешь за ведьму, то подсолнух покажется мертвецом. А то зажжёт зелёные глаза в темноте кошка, и всё в тебе замрёт, как во сне... Лес же не был таким жутким, потому что в сосновом бору всегда светло. Там сновали белки, стучал дятел. Гора с лесом поднималась выше, выше и круто валилась вниз, к лесу Бигадер, где Тимер никогда не был. Это была уже та сторона горы. «Значит, это меня уже не касается, пусть об этом думают жители Бигадера», — сказал себе Тимер. Но это он сказал только для того, чтобы удержать в душе плотную волну боли и радости. Ах, если бы забыть! Это уже тебе не мысль о красных стрекозах или каких-то там молочных жабах. Это куда серьёзней...

Двадцать лет тому назад одна татарская девушка — от горшка два вершка — окончила в Бигаdere семилетнюю школу и приехала в село Тимера, чтобы доучиться в средней школе. В ту пору в соседних сёлах десятилеток не было, такая школа была только в селе Тимера. Если бы это происходило сейчас, та девушка не появилась бы в селе Тимера, потому что теперь за лесом есть своя средняя школа. Нынче бы девушка окончила десять классов у себя, и Тимер никогда не узнал бы, есть она в мире или нет её. Оно бы так и лучше было. Конечно, было бы лучше. Но что делать,

если Тимеру и этой девушке пришлось целых три года учиться рядом? И она, эта тоненькая, невысокая девушка с пристальными, немного диковатыми глазами, проникла в душу Тимера, всё в ней порвала — рана не зажила до сих пор. Это третья, невидимая кровь в человеке — кровь, которая сочится из пораненной души. Только вспомни — и готово. Она горячая, сладкая, горло перехватывает... И никакие таблетки не помогут. Разумеется, нынче Тимер явился в эту больницу лишь для того, чтобы остановить кровь, идущую из лёгких, а вовсе не для того, чтобы заживить давнюю рану. Она нужна Тимеру, потому что это она научила Тимера в жизни быть человеком, чем-то отличаться от скульптур, которые он «привязывал» к проектам, научила любить детей, взрослых людей, леса, поля, реки, небо, наконец, саму архитектуру. Это и вправду так. И, наверное, только человек может беречь свою рану, охранять её от суеты и мелких подлостей бытия, чтобы не дать зарости. И, наверное, только такая рана может уберечь человека от падения, словно фонарик, горящий в груди. Во всяком случае, всё доброе, что сделал и делает Тимер, возникло из света, который сочится из старой раны. Иногда Тимер, поражаясь её неизбывной боли, начинал философствовать — и здесь неважно, мухи засидели потолок или звёзды сошлись над человеком. Тимер начинал понимать, что любовь — оружие посильнее, чем нож или ружьё. И это оружие может быть оружием воспитания. И жаль, что в масштабах государства оно пока не используется осознанно. Об этом могли бы подумать и в Верховном Совете, если мы уж печёмся о гармоническом развитии человека. И насколько меньше было бы среди молодёжи хулиганов, убийц, лжецов... Но как использовать? А, наверное, так: если хорошая девушка любит плохого парня, внушить ей, как она должна вести себя с ним, чтобы его поднять до себя, а не самой опуститься до него. Больше передач по ТВ о жертвенной, героической любви. И книг больше. И фризмов, барельефов на домах. Любовь, любовь, нежность, доверие. Когда угаснут масляные глазки ханжей, тогда загорится ярче рана в груди каждого человека. И станет он чище, сильнее, добрее. Что с того, что ему эта рана не дала детей или покоя?.. Не всем же...

«Это уже другой вопрос, — остановил себя Тимер. — если бы каждая любовь завершалась свадьбой, может, она и не была бы такой бесценной... Мучительно-недосяжимой... К любви нельзя привыкать, как привыкают к каше или чаю, к стёртому крыльцу или белой ванне, к двери с полумесяцами... Истинная, высокая любовь не всегда приносит счастье. И всё равно, я благословляю её. Целую землю, по которой прошла моя девушка».

Конечно, никто ни в чём не был виноват. Не виноват Тимер, не виновата школьница, которая сидела с ним в одном классе. Там крошился мел в руках учительницы, а у Тимера крошилось сердце. Иногда девушка оглядывалась на Тимера — и Тимер бледнел. Потом Тимер понял — она тоже его любила. Она ему потом сама об этом сказала. Сказала, что мучается в воскресенье, когда не идёт учиться в село Тимера. Сказала, что село Тимера для неё ближе, чем своё. Сказала, что быстрее добегает до его села, чем потом обратно в своё, даже если Тимер её провожает. Но всё равно, Тимер, Тимер, мы никогда не сможем быть вместе, говорила она, потому что, когда люди слишком крепко любят друг друга, они не могут быть вместе. Так говорят в нашем селе, говорила она, а наше село старинное, там такие случаи бывали, и никогда ещё не были счастливы люди, которых обвязала одна молния. Наша любовь будет несчастной, говорила она, но я без тебя жить не смогу...

Сказав эти слова, девушка плакала. А Тимер не мог заплакать. Он тогда ещё не умел плакать. И только через несколько лет, убедившись, что действительно их любовь будет несчастной, Тимер закрыл глаза рукой. И так сладко, долго он плакал,

словно в детстве во сне после рыбалки, когда клевала огромная рыба с золотыми глазами и отцепилась, ушла... и никто из мальчишек не верил, что она была... Тимер плакал возле какого-то дерева, окружённый коровьими засохшими лепёшками, обгорелыми сбоку — кто-то, видно, пытался костерок запалить от комарья... Тимер плакал, уже взрослый юноша, опустив тяжёлые мускулистые руки, и вот тогда, в первый раз, пожалуй, в горле возник комок, который подзуживает слёзы, и слезами кормится... Конечно, нынче этот комок стал куда более острым, болезненным — вдали от сына умирает мать. И это вот-вот случится. (Случится же — зачем обманывать себя?.. Но как можно, чтобы это случилось?! Небо почернеет, земля разойдётся, как жерло вулкана, — сын, сын, что же ты не смог свою Маму спасти...)

«Погоди, прости... я должен додумать всё про этот лесистый холм. И про девушку из села Бигадер».

Тимер встречал её каждое утро, кроме воскресенья, в половине восьмого на той стороне леса (не спускаясь в самое село Бигадер), а после школы провожал до той же опушки, до корявого пня, возле которого осенью высыпали опята, весной — ландыши, а зимой синели в снегу волчьи следы... Они не виделись только в воскресенье, и этот день был их нелюбимым днём. (И нынче Тимер ненавидел воскресенье — расхолаживают. Правда, прибавились ещё и субботы...) Если бы не было воскресений, думали они, было бы лучше для всей страны. Люди меньше пили бы и бранились. Тимер с девушкой поминутно целовались... О, первая любовь!

«Нет, я не считаю её первой любовью, — рассердился Тимер. — Слово «первая» предполагает, что дальше была «вторая». А может быть и третья, седьмая... Нет, я так не могу. Для меня или есть любовь, или нет её. Жизнь одна. И на всю человеческую жизнь даётся одна любовь. Ведь не может никто сказать: первая жизнь, вторая жизнь... Значит, ни к чему говорить — «первая любовь». Это понятие придумал или человек, не испытавший настоящей любви, или распутник. А люди легкомысленно подхватили, даже песни запели: «Не забывается первая чистая любовь, Не забывается красавица с Агидели*».

Этак я могу на ту же мелодию пропеть: «Не забывается вторая чистая любовь, Не забывается красавица с Караидели**».

Получится пародия. Нет, я не могу считать её моей первой любовью. Она моя единственная, цветик мой наивный, солнышко горькое в стоптанных тапочках...»

6

«Ну, а что ты скажешь тогда насчёт жены?» — спросил с усмешкой некий внутренний подловатый голос.

«Помолчи, — оборвал его Тимер. — как ты можешь встревать, когда я думаю о самой лучшей поре моей жизни?..» Но мысли уже скакнули в сторону, и Тимер улыбнулся. Нет, он не огорчился, — он улыбнулся, потому что любил свою жену. Она была его другом, товарищем, единомышленником и к тому же красивой здоровой женщиной. Тимер уже не смог бы жить без неё. Суп, который она варила, был вкуснее всех ресторанных. Бельё, которое она постирала, было чистым, пахло морозом. Носки, которые она заштопала, были теплее новых носков. А когда она вымоет пол, по сверкающим доскам хотелось ходить босиком. Тимер из командировок привозил ей разные подарки, потому что, оставаясь один в гостинице, тосковал по ней...

* Агидел — река Белая.

** Караидел — река Чёрная.

А любили они друг-друга как-то не по-взрослому, без ревности, без мук в сердце, без тёмного сладострастного захлёба, а скорее, светло, как дети. Летом, когда дочь уезжала в село к бабушке, они оставались одни, и это одиночество их таинственным образом сближало. Может быть, изливалась нежность, которую они привыкли отдавать дочери — и вот её нет. При ней они стеснялись многого, а теперь без неё жена могла стелить постель, улыбаясь Тимеру, и ласковый ветерок, рождённый тонкой голубой сорочкой жены, кружил голову. Тимер и его жена поминутно смеялись, как смеются дети, когда хорошая погода и никто их не обижает. Однажды Тимер включил настольную лампу и поставил её на пол, чтобы видно было лицо жены, и в то же время не падал резкий свет, от которого почему-то стыдно.

— Пусть сегодня так, — сказал Тимер, — пусть свет идёт снизу вверх. Природа почему-то устроила: солнце светит сверху... луна... фонари над головой... А я хочу сегодня, чтобы всё наоборот. И чтобы мы любили друг друга, как никогда ещё не любили...

— Я тоже...

Они накрылись мягким стёганым одеялом, а лампа стоит на полу, и между полом и стеклянным её абажуром кишит прозрачная туча бабочек. По стенам носятся тени. Загадочный свет озаряет дом — стулья, ножки стола, нижнюю половину книжного шкафа, где стоят тяжёлые толстые книги с золотыми буквами на корешках...

— Мы сегодня живём в странном мире... — шепчет Тимер, глядя пальцами смуглое прекрасное лицо жены. — Неужели это ты и я?

— Это не я... — смеётся. — А тебя я узнаю.

— Нет, это я — не я, а тебя я узнаю... Тебе восемнадцать лет, как тогда, когда я тебя встретил.

— Если мне восемнадцать, как же моей дочери десять?..

— И мне восемнадцать. И дочери нашей скоро будет тоже восемнадцать. Но, даже выдав её замуж, мы не покинем наши восемнадцать и никогда не поженимся. Останемся беспечно влюблёнными. Мне повезло с тобой.

— Но ведь у нас печати в паспортах...

— Они квадратные, а во вселенной признаются только круглые, как солнце, печати!

— Но... если мы не женаты... как мы можем лежать вот так, рядом... да ещё опустив зажжённую лампу на пол? — Она обняла его и долго молчала. И вдруг тревожно спросила. — Тимер... а ведь когда-нибудь один из нас первым умрёт. Я или ты. Должен будет умереть. Обидно в восемнадцать лет умирать... Но если это будешь ты — я не выдержу.

— И я, — ответил Тимер. — Если ты раньше... я тоже... Тут надо что-то придумать. Оставшемуся будет очень трудно. Что же тут придумать? Какую хитрость? Мы так любим друг друга, неужели не сможем что-нибудь этакое придумать против смерти? Мне лично не хочется умирать раньше тебя, а без тебя мне жить не захочется.

— Знаешь, что я придумала. — Жена приподнялась на локоть и сурово посмотрела в глаза. — Давай вместе умрём.

— Сейчас? — задумался Тимер.

— Нет, — сказала она, смеясь. — сейчас ещё рано. Да и причин никаких. Ни я, ни ты не больны. Ни от чего не страдаем. Мы доживём до сорока или даже до семидесяти. И вот тогда...

— Ты хочешь сказать, в тот день, когда умрёт один из нас, другой покончит с собой?.. — Он помолчал. — Конечно, можно. Но философия самоубийц — самая дрянная философия... чёрная религия.

— Это так. Но во имя любви... чтобы не мучиться, когда остался один... Книги про это написаны. Даже у Маркса дочь и зять покончили с собой.

— Их нельзя сравнивать с нами, — возразил Тимер, с досадой думая, что шуточный разговор зашёл далеко. — Другая эпоха, другие социальные условия. И вообще, в этой философии — слабость человеческая.

— Я из-за этого и сказала... Если я потеряю тебя — я ослабну, и зачем мне жить?

— Нельзя так, багрем*, дорогая моя... Самоубийцы только потому кончают с собой, что не видят дальнейшего пути. А если посмотреть иначе... взять да, например, лампу переставить — вот она, дорога дальше. Люди сами себе придумывают сложные ситуации. Не надо.

— Значит, и о смерти не надо думать?

— Конечно. Не думать, не разговаривать. Нам нельзя пропагандировать философию смерти. Хотя бы потому, что мы — герои литературного произведения. Прочтут книгу о нас критики, захотят поставить в ряд положительных героев, а как поставишь, если мы призываем умирать каждого, кто потерял любимого или любимую?.. Нет, литературе нашей страны нужны другие герои. И нашей татарской литературе тоже.

— Почему ты о какой-то книге заговорила?

— Я шучу... Я люблю тебя, мин сине яратам. Жизнь прекрасна. И тот, кто останется на земле после смерти одного из нас, будет рассказывать новым поколениям, какого любимого человека потерял и тем самым продлит нашу любовь... Разве нам было плохо?

Лампа с пола светила таинственно. Старинные книги сияли золотом. Новый красный стул плыл как туча... с четырьмя молниями.

— Да, да... красивые вещи приносят нам наслаждение. Я куплю ещё что-нибудь...

— Ты сердисься?

— Почему?!

— Вспомнил про вещи... Я с тобой готова жить на голой земле.

— Я не сержусь. Я действительно так считаю — человек должен украшать жизнь, чтобы она была ещё замечательней. А разговоров про мещанство я не понимаю. Это совсем другое.

— А что это такое?

— Когда человек испытывает счастье не от того, например, что у него хороший телевизор, сочный цвет, богатый звук... а только от того, что у него сосед профессор, так вот — у него тоже такой телевизор! Вкусы, вкусы... Я думаю, мы у нашей дочери воспитаем тонкий вкус.

— Главное, пусть она станет человеком, — вздохнула жена.

— Но это зависит от нас!

— Но ведь есть ещё школа... Друзья... Улица... Улица подальше... Радио... Телевизор...

— Книги. Природа. Природа воспитывает в человеке только хорошее. Деревня. А вот город...

— Но ведь в городе твоя архитектура? Разве она не воспитывает?

— Должна... Я говорю «должна», потому что в ней бывали ошибки. Это ведь не рисунок мелом на доске — взял да стёр. Эти дома остались — уродливые, помпезные, высокомерные или наоборот, серенькие, приниженные... Страшно, когда ничего не остаётся от национальных традиций. И ещё страшнее — примитивизм, потому что ему легче живётся во все времена во всех землях, чем талантливой необычной конструкции. Я считаю поддержку примитивизма политической ошибкой, потому что примитивные коробки представляют перед всем миром наше общество как безграмотное, бесталанное, не имеющее ни прошлого, ни будущего. И это происходит не потому, что

* Багрем — душа моя.

у нас нет гениальных архитекторов, а только потому, что некоторые руководители считают примитивизм сегодня не самой главной проблемой. Мы, мол, и в этих коробках проживём! Было бы во имя чего!.. Мол, это же временно. И не думают о том, что цемент от времени только крепнет, здания потом не снесёшь. Да и люди привыкают. Вот и растут города — унылые, из серых кубиков. И возникает у руководителей на местах новая философия: мол, живут же миллионы — и ничего, а вы что, какие-нибудь особенные?! Это всё Запад на вас влияет! И не знают того, что это мы влияли на Запад в двадцатые годы, что это наши революционные идеи в архитектуре преобразили Запад! А мы сами забыли эти идеи. Кто теперь помнит Татлина? Или Весниных?.. — Тимер разволновался, достал из-под кровати сигарету, закурил. Он редко позволял себе это в постели, но сейчас был такой момент. Тебе скучно?

— Нет, нет, говори... — жена смотрела на него во все глаза. — Правда, я плохо понимаю... я чувствую, твоя работа очень сложная, но ведь ты простишь меня, что я не могу ничего посоветовать? Всё, что ты делаешь, мне нравится. Милый мой!

Он курил. Они лежали рядом, глядя в потолок, и по стенам носились тени бабочек, облепивших настольную лампу. Тимер и его жена, одинаково освещённые розовым полусумраком, казались сейчас похожими друг на друга, как брат и сестра, и любовь их была ровной и весёлой. «Это счастье, — думал Тимер, — когда такая духовная близость. Когда она поддерживает всё, что я делаю. В этом сила женщины, помощь её». Тимер знал — им завидуют. У многих друзей не было такого счастья. Многие архитекторы плохо работали, может быть, только потому, что их жёнам безразлично было, какие дома они там чертят карандашами «кох-и-нор» на листах ватмана...

Да, всё было хорошо у Тимера. Но любовь его к жене была, конечно, совсем не такой, какой была когда-то у деревенского мальчика... Кто знает, может, та пронизательная печальная девчонка из-за леса иначе бы отнеслась впоследствии к работе Тимера — она говорила, что думала, а думала, как взрослая. «Вот говоришь — любил, любил... а что же ты на ней не женился, — снова хмыкнул гнусавый внутренний голос, — ага?!»

Я её любил! Причина, из-за которой мы не оказались вместе, пустяковая. Я даже об этом и говорить не хочу, потому что сейчас не имеет никакого значения. Но в моей душе она поныне моя рана, мой фонарик... Я, может быть, даже забыл лицо моей любимой, но до сих пор ощущение, будто она вблизи, принижает меня. Оно как радостное напряжение после физической работы на морозе. Я — стусок этой странной силы, меня никто не убьёт. Мне не страшна теперь никакая тёмная сила в мире — ни фашизм, ни садизм, ни атомная бомба, ни тупость человеческая. Поэтому я могу служить родине, прогрессу. И не спустя рукава — а только до дна, насмерть, не жалея себя! Что я и делаю... А девушка — она была всего лишь девушка, тоненькая, с густыми чёрными волосами, с веснушками на носу. И что же тут делать, если она не смогла противостоять словам матери: «Он бедный... он твой ровесник... а спутник в жизни должен быть мужчиной старше тебя...» Что же делать, если она любила свою мать и верила ей, потому что была прежде всего татарской девушкой, воспитанной в духе почитания старших. Как же я могу не простить её, если сам горько плачу по умирающей матери, и если бы она попросила сейчас что-нибудь — железное яблоко сорвать со столба, я бы зубами перегрыз проволоку, только бы ей было светлее. Но не светят фонари, притворяются дающими свет настольные лампы, и только рана в груди...

Да и что случилось? Ну, отказала она мне... в слезах, разрываясь, отказала... и может быть, сейчас рождает детей другому мужчине... но я знаю — она помнит меня, как я помню её. Деревья сбрасывают каждый год золотые листья, а она ни разу при мне не оголила плеча, но это была любовь.

Гнусавый внутренний голос не давал покоя: «А зачем же ты не украл её? Не увёз на коне, на самолёте? Мать бы простила... на дворе двадцатый век. Ах, ты! Может быть, она, любя тебя великой любовью, заставила бы стать гением? Ей бы не всё нравилось, что ты делаешь, не всё, жизнь стала бы мучительной, но ты бы прожил её, как молнию?..»

«Ну, это уже пошли размышления о другом, — оборвал Тимер. — И вообще, хватит о женщинах. Ты же хотел вспомнить своё село...»

7

Село Тимера было кряшенским селом. Правда, сегодня мало кто может объяснить, в чём отличие кряшенского села от других татарских сёл. И всё же кое-что сохранилось.

Это проявлялось в праздники, когда люди, говорящие на татарском языке, вдруг выходили в нарядах с непривычными узорами. Например, на свадебных платках красовались вышитые красные кресты или рисунки, напоминающие снежинки. На передниках было также много цветков, звёздочек, а рубахи имели оборки, ленты, кружева. У женихов рубахи были также вышиты крестом, так называемой «болгарской вышивкой», в затылок упирался стоящий ворот... Всего не перечислишь.

Что больше всего любил Тимер — это кряшенские песни. Песни совершенно отличались от татарских. Мелодии простые, завораживающе лёгкие, в них мало пентатоники.

Именно кряшены сохранили многое из древней культуры, что утеряли тептяри и мишари. В кряшенах много от древних булгар — в их праздничных играх, в свадьбах. Позже, когда Тимер приехал в Казань и побывал в оперном театре, он неожиданно для себя понял: кряшенские свадьбы — это поставленные экспромтом народные оперы, растянутые на три дня. В отличие от других татар, за столом у кряшенов поют многоголосием, а во время свадебного действия сваты, сватьи, дружки жениха обращаются друг к другу речитативом, разговаривают песнями. К сожалению, в детстве Тимер ни разу не слышал эти песни по радио. И не видел в деревне ни одного учёного, который заинтересовался бы обычаями кряшенов. Только в самые последние годы... Но это капля в море, как говорят — щетинка от свиньи, той самой, которую весело ела родня Тимера, в то время, как другие татары воздерживались от свинины...

А старики кряшены? Какие они озорные, хитроватые, всё видели, всё помнят, обо всём имеют своё суждение. Много русских слов пустили в оборот, но изменив их до неузнаваемости. Особенно побаивался Тимер и любил Чтуп-дедея, по-русски — дядю Степана. Он хлебнул обеих германских войн, не говоря о гражданской. Он был самым старым, с козлиной сивой бородкой, с облысевшим тёмно-жёлтым от загара черепом, но синие глаза смеялись, и трудно было сказать — привирает он или правду говорит, но попробуй не поверь — почтенный старик. Он рассказывал небылицы, какие и на бересте не писаны, в книгах не напечатаны! А уж если начнёт придиратся к молодым да грамотным — ничто тебя не спасёт...

Так получилось — в год окончания института Тимер защитил проект: «Семиэтажный дом для города в нефтяных районах». Здание, смело по тем временам задуманное и довольно экономичное, быстро собрали из панелей. О молодом талантливым татарском архитекторе написали в газете, говорили по радио. Счастливый Тимер приехал в родное село, поздоровался со стариками, и вот тут старик Степан, Чтуп-дедей, который, казалось, только и ждал первых слов Тимера, завопил:

— Эй, ты! Совсем испортился в Казани, чёрт побери! Не по-нашему говоришь, по-книжному говоришь.

— Как по-книжному? — удивился Тимер. — На чистом татарском ведь говорю.

— А ты не говори по-татарски! По-кряшенски говори, на языке отца и матери, — кричал Чтуп-дедей, подбегая ближе, поднимая скрюченные пальцы правой руки выше головы. — Тебе отец и мать по-кряшенски дали имя — Тимер! А татары дитю такое имя не дают! Они дают дитю, — снова повторил он исковерканное русское слово, — имя с добавлением таких слов, как «мулла», «дин» или «джан». Называют Мулладжан, Бикмулла, Насретдин, Котбетдин. А если и дают имя Тимер, всё равно прибавляют джан — Тимерджан получается. А просто Тимер — такое имя не дают. Потому что думают, что тимер — жилизя — может быть только в таких вещах, как топор, малатук! А вот мы, кряшены, и человеку даём имя Тимер. Чтобы и детвора наша была железу подобна. А ты, живши в Казани, не железом, а тестом стал. Справа сожмут — раз, и слева выходишь... слева нажмут — раз, и справа поехал. Если кряшен, будь кряшен. Если татарин, будь татарин. Н и ч у в оба края приспособливаться! Или к тарелке тянись, или к корыту.

— Чтуп-дедей, погоди, не горячись, — наконец, Тимер остановил старика. — В некоторых краях татары тоже своим детям дают имя Тимер...

— Я не говорю о татарах каких-то там краёв, — понёс дальше Чтуп-дедей, совершенно приблизившись к Тимеру и обжигая его горьким горячим дыханием курильщика. Один глаз смотрел на Тимера, другой в землю, словно старик прикидывал, достоин ли Тимер ходить по родной своей земле. — Чего не видел сам, того не видел, чего не слышал — того не слышал, я об этом г у п ч и (вовсе) не говорю. Татары в нашей стороне такое имя не дают, и всё тут! А ты ещё молодой, мог бы не обрывать старика. Чтуп-дедей много знает, голова — Дом Советов!

— Ладно уж, — взмолился Тимер, — татарин и кряшен в наше время одно и то же...

— Если раньше тарелка и корыто не было одно и то же, то теперь, оказывается одно и то же! Если раньше лопата и вилы не были одно и то же... — старик был неисправимый демагог. Он перечислял самые разные предметы и ещё выше поднимал скрюченные пулей и старостью пальцы.

— Погоди, — крикнул ему в ухо Тимер, — рассказал бы лучше о прежних временах, о своих дедах...

— Не расскажу! Ты проданся татарам, отца и мать забыл — не расскажу, — у старика даже слеза выскочила из глаза, который смотрел вниз. Он не мог позволить плакать глазу, надзирававшему в упор, но глаз, повёрнутый скорбно к земле, не выдержал. — Нет!

Слеза особенно поразила Тимера. «Надо же, из-за пустяка старый человек так горячится. А что? Молодец. Хоть и необразованный, а свой взгляд на мир имеет. Что с того, что я институт закончил, учёный. Ему это неважно. Как раз среди нас, образованных, многие не имеют своего взгляда на мир. Так, наверное, лучше быть неграмотным, но иметь свой взгляд на мир, чем быть с красной корочкой отличника и не иметь собственного взгляда на окружающее. В тысячу раз лучше. Это даже счастье!»

— Нет, я не продавшийся человек, — тихо сказал Тимер, пока старик сморкался и, как истинный актёр, оглядывался, примечая, много ли людей слушает. Слушали многие, даже дети, открыв от любопытства рот. — Я же всё время к вам возвращаюсь... Вот...

— В село может и продавшийся человек вернуться! Айраплан куда хочешь доставит, только деньги дай. Ну-ка, скажи по правде, проданся?

Тимер растерянно улыбнулся. Чтуп-дедей с таким укором глядел на него левым глазом, что Тимер в самом деле начал себя ощущать перед односельчанами неким преступником.

— А?! Докажешь мне, что не продался? Ну? Чего головой ворочаешь? Покажи — обрезал?

Тимер не мог понять, чего требует этот старик.

— Что показать... Что обрезать... — пробормотал он, закуривая и отступая.

— Покажи! — завизжал побагровевший от злости Чтуп-дедей и ткнул пальцем на ремень тимеровых брюк. — Покажи — обрезал?!

Только тут до Тимера дошло, и он захлебнулся дымом от хохота... И долго кашлял, приседая и промакивая слёзы рукавом. Ну, дед! Ну, дед!..

— Здесь неудобно ведь, — сказал он, показывая рукой на улицу, на любопытных. Старухи сердились, девушки прыскали и убегали. Старики сосредоточенно смотрели. — Я в порядке, старик, можешь мне верить!

— Ну, м а л а д и с , коли так, — нехотя сдался Чтуп-дедей, — не запятнал памяти предков. Спасибо, мальчик! Дай-ка закурить твою с и г а р и т , — они прошли сквозь смеющуюся толпу и сели на тёплый камень возле забора. Крапива ужалила через рубашку, но это было сейчас только приятно Тимеру. — Латна... Теперь можно рассказать и о дедях-кряшенах.

Чтуп-дедей изменился в лице. С этой минуты он был добрый учитель, которого слушает примерный ученик.

— Деды-кряшены были очень знатными людьми. Они происходили... Нет, я тебе сначала объясню. Вот в старинных книгах написано было — людей вылепили из глины. Я был в разных странах и везде смотрел глину. Нет, из неё живого человека вылепить нельзя. Мёртвого можно, но ведь как мёртвый будет детей делать, верно? Теперь говорят — люди пошли от обезьяны. Это правда. Я видел обезьяну в Казани, в клетке прыгает... ну, прямо наш пр-ид-си-дате-ль. Люди есть, сынок, жёлтые, белые, чёрные... все от одной обезьяны — немцы, русские, французы, негры... А вот мы, кряшены, от совсем другой обезьяны. Поэтому ты не татарин, а кряшен.

— Ого! — удивился Тимер. — Да ты, оказывается, расист!

— Чего сказал, сынок? — Чтуп-дедей пошевелил губами. — Это обозначает учёный п р а ф и с ы р , да?

— Нет, Чтуп-дедей... Это... ну, как тебе объяснить? Расизм — тот же нацизм. Вон как было у фашистов в прошлой войне...

Не успел Тимер закончить свои слова, как старик вскочил со своего места, взял за грудки Тимера, и крапива ещё раз ожгла Тимера сзади, уже сильнее. У старика снова глаза бешено разбежались в разные стороны, губы искривились:

— Что?! Что ты болтаешь, с б у л ы ч-малай?! Тьфу!

Старик дёрнул за рубаху, и две пуговицы слетели на тёплую землю.

— Как ты мог сравнить Чтуп-дедея с немцем?! Как твой язык шевельнулся? Я есть солдат, два раза ходивший на германца! Он трепетал передо мной! Так могу ли я быть похожим на немца?! Скажи, сопливый малый, могу ли я быть похожим на немца?!

Старик всё больше распалялся, и Тимер никак не мог успокоить его — Чтуп-дедей не давал слова сказать. По сивой бородёнке бежала слеза. «Неужели это он, — думал с горечью Тимер, — когда-то, по слухам, двухпудовой гирей мог перекреститься? Ворота поднять? Что делает с людьми время...» Он хотел объяснить старику, что неудачно пошутил, но Чтуп-дедей в это время уже ругал всех учителей Тимера: учёных, профессоров, которые не смогли объяснить мальчишке, что у Чтуп-солдата нет ничего, э п с э л ю т н о ничего общего с немцем! Разделавшись с учителями, Чтуп-дедей

перешёл к родителям Тимера — к отцу и матери, к братьям и сёстрам, к дядьям и дедам, не говоря о глупых старухах. Наконец, отойдя, пятясь, метров на пять, он смачно плюнул на пыльную дорогу, повернулся и пошёл прочь от Тимера.

Тимер всерьёз огорчился. «Как быть?.. Я вовсе не хотел его обидеть. Я хотел только сказать, что его вера в отдельную обезьяну ничем не отличается от философии расистов. Но я не хотел его самого сравнивать с фашистами! Он кровь проливал за родину и детей, и вот какой-то шкет обзывает его немцем... Сорви он ружьё с гвоздя, которое висит там со времени Золотой орды, выстрели в меня из окна — будет прав».

Тимер боялся, что старик не простит ему и, более того, поделится обидою со всеми стариками села, и они скажут матери Тимера: «Кого ты воспитала, Фекиля?!»

Но на следующий день, рано утром, когда городской человек Тимер только поднялся и умывал лицо, в избу вошёл Чтуп-дедей. Он виновато моргал и даже, кажется, стеснялся.

— Ты на меня сердисься, малай? Ты теперь и стул не дашь? — Тимер подал ему стул, старик сел.

— Вчера я внука попросил объяснить мне, что такое р а с и с т . Он не знал, принёс из библиотеки толстую книгу, называется инсыклапиди. Там всё написано, что есть в мире! И хорошее, и дрянное. Я думаю, неправильно печатают. Дрянное надо было на чёрной бумаге, а хорошее — на белой. Или красной. — Он придвинулся на стуле, почтительным шёпотом продолжил, — ты, оказывается, прав. С б у л ы ч и — р а с и с т ы — это те же немцы. Мы в сорок пятом думали — следа от них не оставили, а они опять появились! Бешеную собаку, даже когда она умерла, мой отец велел бить ещё полдня. Мы ошиблись, мы так не сделали...

— Это уже другой вопрос, — сказал Тимер. — не все немцы расисты. И не все американцы. Расизм — это болезнь. Ты правильно сказал о бешеной собаке...

Старик не слушал его.

— Надо было ещё полдня бить!.. — продолжал он. — Я всю ночь не спал, перебирал сон, как зёрнышки в мешке.

— Ты не сердисься на меня? Извини...

— За что тебя извинять?! — слегка стал сердиться по привычке старик. — Не хочу я тебя извинять! Ишь, извини его! Если вы, возвращаясь в родную деревню, не будете рассказывать о новостях, о расистах, кто же нам расскажет? Только понятней с самого начала должен говорить, чтобы мы, прастиу народ, поняли. А вернёшься в Казань — зайди на т и л и б и з о р , скажи им — пусть говорят, не присоединяя непонятных слов. И в газете скажи. Заруби им на ухе, ш т у б ы поняли. Н и ч у зря деньги расходовать! И тилибизору, и радио, и газете даём, не жалея, — пусть помнят! Спросят: кто сказал — ответь... — старик поднялся с места и положил скрюченную руку на спинку стула, словно фотографировался. — Маршала Чуйкова спросите, мол. Он вам скажет, кой такой красноармеец Жармиев Чтупан Жэгурович, показавший героизм у горы Чути. И вчу*.

Старик замер, как бы мысленно видя перед собой дым сражений. Во дворе бляла овца. «Ах, боже мой... — думал Тимер, с сочувствием и странной любовью глядя на лысого человечка с бородёнкой. — У него ведь и медали есть. Мы иногда совершаем невероятную ошибку, вытаскивая на трибуны подряд всех вот таких говорливых стариков. Они бьют себя кулаками в грудь, хвастаются, как петухи во дворе. И привычные истины кажутся затасканными. Их уже и дети не воспринимают, как яркие выстраданные истины бытия. А над стариками смеются. Как сделать, чтобы вникли? Как проводить митинги, чтобы не старики плакали от непонимания, а дети плакали? Как организовывать юбилеи, чтобы великие слова засверкали, как начищенные песком кумганы?

* Вчу — всё (искажённый).

Как сделать так, чтобы в рассказы стариков как бы заново вслушались всенародно? Не умеем. Пассивны.

Идеологическая лень. И она для нашей страны вредна. Вреднее колорадского жука».

8

Друзья ушли совсем недавно, а Тимер вон уже сколько успел мыслей передумать. Можно было бы сказать — воз мыслей передумал, но как нагрузить, на какой воз, да и уместятся ли? Конечно, если отсортировать, коленями примять, может, и получится воз. Но Тимеру не хотелось, хотя бы здесь, в больнице контролировать свои мысли. Пусть растекаются во все стороны. Надо же хотя бы раз в жизни подумать обо всём, о чём думается. «Но разве я сам, — удивился Тимер, — разве я сам не останавливаю время от времени себя — думай о том-то и том-то, не думай о том-то? Это привычка? В самом деле, как часто мы контролируем себя! А зачем? Вот, кажется нам, эта мысль дурная... Или кто-то говорил, что она дурная. А почему взять да и не додумать её до конца? Вдруг окажется, что это полезная мысль, плодотворная? И не только для тебя, для нас, но и для всего человечества? — Ох, ох, ох, — сразу же саркастически отзывается некий внутренний голос. — Без тебя не думали философы! Вон их сколько было! Всё продумали, и после них всё ясно. Занимайся-ка ты лучше делом!

А мыслить — это не значит заниматься делом?

Конечно, я не говорю об эгоистических мыслишках, мыслях гнусных, циничных — я бы их сам запретил! Я бы их сжёг, если бы можно было сжечь. Я бы золу от них — в железные пакеты да в старые колодцы и бульдозерами бы завалил! Не смейте никто думать о дурном! Но, с другой стороны, то, что мне покажется дурным, может кому-то казаться вполне милым, светлым, тогда по какому праву я решаю за другого: не думай! А он мне скажет: а ты о другом не думай! Где арбитры? Где судьи? Кто верховный судья?.. Не правы ли были древние мудрецы, которые говорили: в здоровом теле — здоровый дух? А если это так, сами собой отсеются дурные мысли. Надо только, чтобы тело было здоровым. Жизнь здоровой, творческой, чистой.

А кто здесь контролёр? Во веки веков — баня.

Зачем вы улыбаетесь? — говорил Тимер невидимым оппонентам и своему гнусному внутреннему голосу. — Чему вы улыбаетесь? Ещё Тукай писал:

«Есть баня телу, нет бани — душе...»

В наш век, загромождённый трубами в воздухе и трубами в воде, заражённый радиацией, химией, в наш век, замороженный грохотом транспорта и радио, в наш век суеты и спешки, когда пот обжигает глаза, в наш чёрный железный век так хочется иногда бани... не ванны, а бани! Где не только тело очищается, но и душа...»

Тимер подошёл к столу. Чего же ты тянешь? Ты уже полгода мучаешься над проектом бани. Работай, жми дальше? Ну!

Тимер сел за стол, расправил листы. Он хотел показать их давеча своим друзьям, но ещё рано. Надо так начертить, чтобы ахнули все перед дерзостью и красотой мысли Тимера и напроочь забыли, что он болен... Нет, я не собираюсь делать сверхпрекрасное архитектурное сооружение многомиллионной стоимости, не собираюсь стать лауреатом премии Бани. Но я хочу, чтобы городские люди получили удобную, светлую баню, где у них отдохнёт душа. Работать надо, мастер!

Удивительное дело — когда Тимер начинал ругать себя, возникали новые, сверкающие мысли. А когда его хвалили или он себя хвалил, на него нападало сладкое оцепенение, и он становился глупее себя в два или в три, а может быть, и в сто раз. Вот почему многие большие люди, которых захваливают, теряют вообще способность мыслить — именно

ту способность, которая отличает человека от коровы, — подумал Тимер. — Поэтому — вперёд, браня себя, критикуя, безжалостным образом порицая! Не гладь себя по голове, а щёлкай по лбу! Не смотри в окно, а смотри в свою душу... в которой фонарик горит...

Тимер на ужин не пошёл — работал.

9

Он опомнился, когда пришла медсестра, и настольную лампу пришлось выключить.

Привычно шутя от неловкости и смущения, он свернул листы и поставил в угол:

— Ты не думай, там нет бутылки... там только круглая бумага, а бутылки нет! — Он приподнял бумажную трубку, чтобы медсестра удостоверилась и забыла о главном — что ему нельзя много работать. — Видишь? Даже кефирной бутылки там нет!.. — и лёг на койку. Медсестра сделала два укола. — Ай, как приятно! Будто комар!..

Выслушав её укоризненные наставления, он потащился следом за ней по коридору, поел холодной каши в столовой, посмотрел издали на телевизор, в котором бежали маленькие синие люди с клюшками, вернулся к себе, выпил лекарства, включил радио — передавали концерт из Казани... Выключил и лёг спать.

И снова в голову полезли мысли. Он же не мог чертить, лёжа в постели. Значит, ничего не оставалось, как думать. Может быть, полистать Корбюзье? Он зажжёт свет, раскрыв альбом с толстыми лакированными страницами, увидел винтообразную конструкцию, которая никак не могла быть баней и даже просто домом, но была, разумеется, роскошна и загадочна... Захлопнул книгу и опять выключил свет. И снова, снова в голову хлынули мысли о матери, о завтрашнем дне...

«Почему не болят мои лёгкие? Когда они болят, я не могу ни о чём думать. Нет, ничуть не думают зудеть. И дыхание не рвётся... только кровь идёт. Скажешь «кхе» — и вот она, красная... Так у кого она не идёт! Врач сказал: остановим. Значит, остановят. А больше мне ничего и не надо. Чтобы только кровь не текла. А то на проекте Бани будут красные пятна, как будто я рябиной украсил баню или калиной. Калина и рябина — полезные ягоды, но только — внутри. Как и кровь полезна — внутри. Я сам не могу остановить кровь. И думать об этом не могу. Потому что об этом бессмысленно думать. Вот если бы лёгкие болели — я бы только о них и думал. Как эгоист. Люди, которые часто думают и говорят окружающим о своих болячках, — эгоисты. А я не хочу быть эгоистом...

Да, мои лёгкие не болят, а вот у мамы болит желудок... Очень сильно болит у неё желудок! Профессор в тубетейке сказал, что перед смертью будет болеть невыносимо... Так и сказал: перед смертью... улем алдыннан... А может, мама давно уже... Нет, нет, это невозможно! Я в письме просил: если что — телеграмму.

Правда, срок, определённый профессором, уже подходит. И вот-вот принесут телеграмму. А я и похоронить не смогу поехать. Врач сказал: всё лечение сведёшь на нет. Поедешь — в пути кровь может хлынуть изо рта и из носа... В такие минуты свернувшаяся кровь забивает дыхательные пути, и человек умирает. Родные писали из деревни: не вздумай, то, что мог сделать для матери, уже сделал, лечись, твоё возвращение может оказаться для нас вторым горем. Да и мать говорит: передайте сыну... Издали прощаюсь... Пусть не выходит, ни на минуту не отходит от больницы... Если вздумает послушаться — рассержусь... не прощу... А у меня ничего не болит. Вот уже целый день. Если и съезжу потихоньку домой, может, ничего не случится? Врач говорит: даже если кровь не хлынет, ты в дороге утомишься, похудеешь. А это значит, туберкулёз, обрадовавшись, снова прыгнет на тебя, как кошка. Он очень любит, когда люди истощены. Ну и что? Я не боюсь истощения. Только крови боюсь. Не хочу умирать. Нет, нисколько не хочу умирать...

А мама? Ей хочется умирать?

Но это не совсем правильно — так спрашивать. Мать в безвыходном положении. Её ничто уже не спасёт. А у меня, кажется, ещё есть шанс. Последняя возможность. А именно — шесть месяцев подряд лечиться, не выходя из палаты. Я решил воспользоваться этой возможностью, чтобы сейчас не умереть, а немного пожить. Мама, ты простишь меня за это? Я не смогу вернуться, мама, я остаюсь... Далеко от тебя, от деревни, далеко от друзей, от Казани, среди густого соснового леса, в крохотной палате-одиночке, как сирота. С надеждой, что меня спасут. Ты уже без меня уйдёшь, дорогая моя мама... Говорить об этом нехорошо, наверно, пока ты жива... Но я негромко об этом говорю, а тихо, в мыслях... Никто, кроме тебя, не услышит, не узнает. А ты ведь услышишь? Звезда звезде передаст. Птица птице. А если я опоздал со своим объяснением — жук жуку, червячок червячку... Я тебя бесконечно любил и люблю, и буду любить, пока сам живой. Я знаю, ты меня тоже любила, как любила всех своих детей. Нельзя расставаться, но всегда расстаются родители с детьми. Но что-то же передаётся? Что же я сохраняю, моя милая, от тебя? Имя твоё? Привычку к работе? Верность родной земле? Но что-то же останется и войдёт в мою дочь, а от неё передастся моим внукам... Мы — атеисты, ничего не знаем, хотя расщепили весь мир.

Когда ты вышла из больницы, старенькое твоё платье из сатина, блестящее то ли от многочисленных утюгов, а то ли сохранившее первоначальный магазинный блеск, мы оставили у себя в городской квартире, на память о тебе. Оно серенькое, с жёлтыми цветочками и крестиками по подолу. Когда я вспомню о тебе, я достану его из шкафа. Как будто в шкафу день и ночь ты, бесплотная, стоишь... А если заплачу — а я, наверно, заплачу, — я слёзы вытру об эти жёлтые цветики, об эти блёкло-красные кресты. Это платьишко никогда не постареет, мама, кровью не изойдёт и от рака не потемнеет. Будет всегда блестеть — просвечивать, как душа твоя, мама... В руки возьму — по рукам светлые блики побегут и в сердце проникнут... Прости меня, прости меня, прости, прости, прости...

ГЛАВА ВТОРАЯ

10

После операции она жила три месяца. Когда наступил февраль и начались метели, она уже ничего не могла есть. Фекиля-апа исхудала, стала восково-жёлтой, а потом и вовсе чёрной, как старый воск.

Но она не была ещё мёртвой. Она ещё дышала и полузакрытыми глазами видела окружающий мир, потому что ей вливали глюкозу и кололи наркотиками. После укола ей становилось легко, ничего не болело. Она слышала, как кричит петух у соседей. Как возле ворот Чтуп-дедей бранит мальчишек. И Фекиля-апа иногда даже улыбалась.

Она могла разговаривать, но о чём и с кем говорить? С людьми, которые рядом, обо всём уже было переговорено. Одно её беспокоило: она умрёт и за шестьдесят лет не шагнув, а ведь старшие сёстры дожили до семидесяти, мать умерла в восемьдесят восемь. Значит, было ей богом отпущено лет семьдесят, не меньше, но вот она умирает и никому не может отдать эти десять лет, как могла бы отдать неиспользованные деньги или одежды из сундука. Несправедливо. Но если она не может отдать, возможно, она ещё поживёт? Но зачем, зачем такие муки?..

Рак внутри её буйно торжествовал. Из желудка он полз к печени, к почкам, он поглощал всё, что попадалось на пути, и креп, весело разрастался. Знал ли он, что умрёт

вместе с Факилёй-апа? Он был жив, как жив огонь — дровами сегодняшнего дня. А завтра он был обречён. Фекиля-апа уже привыкла к нему, она даже хотела подумать о нём насмешливо, как о последнем ребёнке в себе, но уж слишком он был злой и жгучий, с ногтями на руках и ногах. «Скорее бы... — думала Фекиля-апа. — Я устала». Но дни шли за днями, а она не умирала.

Иногда мысли путались, окна и лица менялись местами, откуда-то из глубины в голову входил сладкий дурман, Фекиля-апа освобождённо плакала, но снова темнел и обретал привычные очертания мир вокруг неё, и было слышно, как тикают на стене часы.

И снова тело её будто резали старой пилой, она задыхалась, стонала, говорила себе: «Всё... На этот раз всё...», но ей делали укол, и она смущённо радовалась возможности ещё раз посмотреть на родные стены, на рыжий мох между брёвнами.

Если она не может отдать своим четверым детям свои непрожитые десять лет — как раз бы по два с половиной года вышло... Что же она оставит им? Этот старый дом? Избу, в которой они выросли и из которой улетели? Но вся беда в том, что никому из них эта избёнка не нужна. У всех четверых есть свои дома, с газом, с водой, с баней и со всем прочим. Дворы, улицы у них заасфальтированы, весной-осенью грязи нет...

«Все четверо оказались порядочными людьми, дети мои. Все четверо трудятся честно на своей работе, ни одна не вышла дважды замуж, ни один не женился дважды. До сего дня по дурной дороге не ходили, не воровали, в тюрьму не попадали. Теперь уже, своих детей родив, порче не поддадутся, я могу быть спокойна и могу спокойно умереть. Только вот этот дом... Никому он из них не пригодится. Я же не могу сказать — мол, бросив свой город, казённую работу, возвращайтесь сюда, чтобы эта печь жила, как жила она сто лет. Если им там нравится, пусть там и живут, что поделаешь. А то, что этот дом умирает вместе со мной, — что ж, он на мне и держался. После меня здесь начнут жить другие люди, деньги за эти стены дети разделят на четверых... Да, да, хоть деньги пригодятся!

Значит, после меня дом станет чужим. Вот о чём моё первое сожаление. А второе — не дожила до семидесяти. Хоть бы год ещё или два — погостить у детей по полгода, внуков понянчить, хорошим привычкам научить — чтобы руки мыли, морковь ели, маму целовали. Не получилось... Не успела я у них у всех побывать — только они у меня. Всё некогда, думала — потом, когда состарюсь. А смерть не стала ждать, когда состарюсь, взяла и приехала на санях. А может, ещё лето увижу в последний раз? Господи, разве не я год назад своими руками картошку садила, а осенью — всего, стало быть, семь месяцев назад — копала её, в мешок складывала, сама в подпол ссыпала? Ещё соседка, больная Лукерья, говорила: молодая ты ещё, Фёкла!.. Вот и молодая. Вот и лежу.

О чём я ещё жалею? А больше ни о чём и не жалею. Была война, варили крапиву, ели ракушки из озера... Но ведь это разорение было у всех — значит, об этом нельзя жалеть. Голодной спала, раздетой ходила, как мужик, надрывалась на колхозной работе — брёвна ворочала, мёрзлую землю ломом долбила, тогда и опущение желудка, наверное, произошло... Тогда и вены на ногах вздулись, в чулках ходила, как старуха, с тридцати лет... Но ведь многие наши так — чего же жалеть? Не о себе пеклась, не себе пекла. Вон петух соседский поёт... Из моего, наверно, бульон сварили для меня, хоть и ни капли не могу проглотить... Жаль, если ребятишки подъедут дом продавать — даже закусят нечем будет.

Ничего, лишь бы жили честно. Не будет войны — будет мир. Будет мир — будет благодать. И еда вкусная, и мыло праздничное, которое земляничкой пахнет, — привозил мне как-то из Казани покойный муж... Я им под конец только лицо мыла, а руки простым, хозяйственным.

Хоть и сказала я, что жили, как все, жили мы с мужем, конечно, беднее других. Так, наверно, нам нужно было.

Он — первый комсомолец на селе, активист, со скрежетом зубовым выступал против личного богатства. В избе шаром покати. Открой окно — на стол синицы не слетятся, ни крошки. Муж увидит хищным глазом в углу гвоздь — несёт в колхоз, вдруг он там пригодится. «Мы должны жить по-новому! — говорил. — Построим коммуны — хорошо заживём!» Может быть, он лишнего увлёкся этой самой коммуной, знаний-то у него не было. В отличие от своего отца буквы едва различал, ведь сыном пастуха был. Всё детство шагал по коровьим блинам, волочил за собою кнут, обливался потом и давил пауков на шее. Кто пограмотнее — не шли в комсомол, шли вроде моего — оборвыши с восторгом в глазах.

А коммуна не получалась. Видно, одних гвоздей и старых телег было мало. Позже, перед войной, и учить моего мужа пробовали, только на какие такие курсы его пошлешь, если он еле-еле грамоте кумекает? А тут война. Через четыре года вернулся коммунистом. «Всё! — говорит, — немца победили, теперь настоящую жизнь построим!» А мужиков нет. Временно председателем колхоза назначили его. Он порядок навёл — в четыре утра весь народ вставал, а дети честь ему отдавали. А тут уже свои четверо... Времени нет у человека. Бегает, орёт, воодушевляет. На складах пусто, что народится — всё увозят, поскольку колхоз не вылезает из долгов. Привезут зерно — увезут зерно. Конечно, увезут больше, чем привезут, но не намного. Кто-то ворует... Даже самогон гонит — а мы оладьи из картошки печём. Суп из картошки. Котлеты из картошки. А если дети рыбку поймают — праздник в доме, только есть её не могу — словно косточка в горло попала, сижу и плачу от счастья, какие дети у меня...

А тем временем молодёжь в колхозе подросла — грамотные парни, вот им бы руководить, но отец не мог и подумать об этом. Он ещё сильным был, горло зычное, глаза боевые... Но ничего, ничего не получалось. Видно, на одном «ура» не пройдёшь. Над нами смеялись — председатель, а дом, как у нищего. Вон, в соседних сёлах — если уж председатель, то крыша не соломой крыта, ворота не ветровые, из жердей, а тесовые, русские. Но отец хмурил брови, как вождь, и даже усы отрастил: «Нет! — говорил. — Мы не должны жить лучше других. Не имеем права!» В чём была его беда — он верил людям, особенно тем, кто из бедной семьи. Скажет — и думает, что дело будет сделано. А люди разные, даже кто из бедных. Вот и подводили его.

В районе видят — не тянет человек, и сняли его с председательского поста. Приехал муж домой и запил с каким-то пастухом в коровнике. Его бригада ждала, а он пил. Вызвали в партбюро, выговор вкатили — не перестал. Предложили заведовать фермой (тот же пастух, только на новый лад) — не пошёл. Опух, скрипел зубами, ворочал кулаки в карманах и пил, пил, как воду, самогон и брагу — на водку денег не было, а самогоном и брагой угощали односельчане — кто из жалости, а кто со злорадством... Правда, мой муж не валялся пьяный, не бездельничал, а, надрывая сердце, шёл работать самую чёрную работу — навоз выносил, косил сено, солому скирдовал, может быть, находя утешение в работе, которую почти забыл... Ему говорили: это неприлично. Предлагали ещё куда-то пойти, маленьким начальником. Он послал к чёрту. Тогда ему приказали выложить партбилет на стол. Он в ответ показал секретарю парторганизации дулю...

После этого решили его не трогать. В партии оставили — учли прежние заслуги. Но теперь он пил — не просыхал, в поле и дома. Усы сбрил. Правда, о чём всегда помнил — об уплате партвзносов. Мог тулуп потерять, всю зарплату посеять, но партвзносы в срок заносил напуганному секретарю...

Как только мы его не уговаривали бросить пить: «Нехорошо... Подумай о детях... Люди пальцем показывают... В доме ни копейки...» На неделю переставал, ходил, пряча глаза, а потом всё начиналось сначала. Он занимал у соседей — я платила. Он стал вещи из дому продавать — я их потом находила и выкупала. Я ещё была крепкой и что-то в колхозе зарабатывала. Муж впал в белую горячку. А выздоровел — снова куда-то ушёл... Дети боялись его. Я и сама стала остывать к нему, сколько же можно, сил моих нет. Что он ест — не знаю, во что одет — не вижу. Мне уже безразлично и моё собственное здоровье, лишь бы детей поднять...

И вот в один из осенних дней, когда мы под дождём убирали в поле колхозную свёклу, он повесился... Об этом сообщил бригадир с таратайки, весь заляпанный грязью из-под копыт коня. Мне показалось, что поле переворачивается... И бурты собранной свёклы рассыпаются...

Но я не упала. Боль и стыд за мужа, страх за детей погнали меня пешком через всё поле, хоть и сзади ехал бригадир: «Фекиля, утыр, утыр*...» Пока я добежала, был полон дом народа. Верёвку с шеи моего мужа сняли, он лежал, вытянувшись, на полу у порога. Люди стояли на крыльце, во дворе, на улице. Только из правления колхоза никого не было, из сельсовета. Да, конечно, коммунист не должен был умирать на верёвке. Неправильно поступил отец моих детей. О нём долго ещё будут говорить по всем деревням нашего района. Ему теперь легко, а мне и моим детям горе...

Так думала я тогда, дело прошлое. Вот я и сама собираюсь в дорогу... И жаль мне, всё-таки жаль, что я плохо заботилась о нём в последние его дни. Надо было прилаздить... И ещё я обижаюсь на сельский актив. Конечно, у моего мужа были ошибки, но ведь он молодость свою отдал коммуне, как мог, как умел — что же вы ни на одном собрании не помянете его имя? Может быть, он не смог сдать государству сколько-то тонн зерна, но будущих руководителей, преданных революции, он воспитал. Страстные, смутные годы, он — ваш...

Ладно, чего уж теперь делать — всё осталось позади. Хорошо хоть, Чтуп-дедей его помнит и уважает. И меня рядом с ним положит. Обещал из ружья выстрелить два раза — за моего мужа и за меня... Я ему там, в земле, обо всём расскажу. Детей подняла, хорошими людьми стали. И муж мой простит меня. И я ему всю вину на этом свете прощу...

Вот мне снова делают укол. Сейчас начнёт клонить в сон, тело сладко занемет... И, может быть, я уже больше не проснусь. Если так, прощайте, дети. Прощай, свет в окне. Прощайте, родные стены, мох между брёвнами, который в детстве курили мои мальчики — я ведь знаю. Прощай, игла, ты сейчас входишь в моё тело, разрывая жилочки... Здравствуй, сырая земля, муж, тишина.

11

Она уснула. Но она ещё проснётся — и не раз. Потому что у неё сильное сердце.

Когда она лежала в больнице, врачи изумлялись: «Фекиля-апа! Сердце твоё работает, как часы Гринвича!» «Не знаю, кто такой Гринвич, — думала Фекиля-апа, — только зачем мне уносить с собой такое здоровое сердце? Оставить бы кому-нибудь из детей. Говорят, нынче пересаживают».

Но, конечно, она ошибалась. Она уже отдала своё сердце раньше. Кусочками хлеба, глотком сохранённого молока, лаской рук своих ороговевших она отдала своё сердце людям. И теперь вот лежит на старой перине, в шею уткнулось вылезшее пёрышко.

* Утыр — садись.

Сама она сидеть не может, ей надо помочь. А если подушками не подпереть, голова падает. Поэтому дочка Роза усаживает её спиной к стене, справа и слева кладёт подушки и под затылок суёт подушку. И Фекиля-апа растерянно сидит, как ребёнок, глядя перед собой. Но долго так не получается, потому что начинает болеть в животе.

— Опять взыграл, — бормочет Фекиля-апа. — стоит шевельнуться — начинает, как змея, играть. До самого горла огнём поднимается. Пока снова не лягу, он не успокоится. Ну, никак. Вот нечистая сила!..

Полежав, она снова просит усадить её. Ей хочется видеть дом, хотя бы вот так, сидя. «Когда лежишь на спине, — объясняет она, едва шевеля губами, Розе (а может быть, ей кажется, что объясняет, а сама только думает?), — когда навзничь ляжешь, глаза видят один потолок. Три месяца ведь уж лежу. А когда сядешь — весь дом видно, и дверь видно, и вешалку возле неё, старый брезентовый плащ мужа... И дощатую полку над ней, крем для сапог... а ещё видно другую дверь — в переднюю ведёт... Стол и старый диван... Помню, пружина вырвалась — и Тимер стрелял в потолок при помощи этой пружины, используя вместо пули кусочки сырой картошки... И ещё видно угол печи. А вот чело печи не ухвачу... надо голову повернуть... А голову повернуть сил нет».

— Роза... доченька... — она страдальчески скашивает глаза влево. — Роза... — ей хочется увидеть устье печи, огонь под котлом.

Дочь подходит и привычно поворачивает чуть влево лежащую на подушке голову матери.

— Эйе... — шепчет Фекиля-апа, — Так... — и, собрав все силы, устремляет зрение своё на чёрное нутро очага. Да, да, она всё различает. Полукруглый свод... Закопчённые кирпичи... Каждый день, каждую зорьку, принеся со двора, из-под навеса, мелко нарубленные, сложенные ещё летом сухие дрова, Фекиля-апа разжигала в этой дыре огонь. Над устьем печи — ниша, в ней сохнут шерстяные варежки. Фекиля-апа всегда надевала эти белые варежки, выходя во двор за дровами. И когда шла по воду в студёные дни, надевала, и когда выбегала присмотреть за скотом. Зайдя с мороза, она и нос утирала этими варежками. Вот уже три месяца, как эти варежки при ней никто не надевает. Хоть бы раз использовали, неужто руки не забнут? словно котята, забравшиеся погреться в нишу, лежат они белые, сырые, и не шевелятся вот уже три месяца...

Вдруг Фекиле-апа показалось — в печи красные языки огня. Они бегут изнутри, ласковые и бесшумные, и в лицо больной женщине ударяет мягкое, нежное тепло. «Тепло очага — это тебе не электрическое тепло, — думает Фекиля-апа. — посидишь возле электрической плиты, голова начинает болеть, тошнит. А тепло углей — совсем другое. Нет ничего мягче и заботливей, чем тепло горящих дров».

Воображаемое пламя в печи отгорело. И на дне устья, посапывая, улеглись красные угли. «Самая пора блины печь... Я люблю печь блины на молодых углях. Особенно вкусно получается! А ещё можно такие угли в большой чугунок засыпать, старой сковородкой прикрыть. Они погаснут, не рассыпаясь, сохранив блестящие грани. И потом как хороши эти угли для самовара! Пять-шесть кусочков — и на тебе, за минуту вскипятят самовар. Хорошие угли... — продолжала любоваться женщина невидимым огнём. — Никакого тебе угара, потому что сейчас самый шумный жар. А минут на двадцать замешкаешься — пропадёт твой уголь, в золу превратится. А зола — она ни для выпечки хлеба, ни для супа не годится. Только зубы чистить. А вот если успел угли отгрести направо, в маленький очажок, в глубине кирпичи остаются тёмно-красными, аж горят, задень кочергой — искры. Теперь хоть хлеб туда... хоть картошку накидай...»

Фекиля-апа достала из-за печи кочергу с деревянной ручкой и, радостно морщась от жара, выгребла угли. «Вот так будет лучше, сюда их... Когда под котлом много потрескивающих, огненных комочков, быстро нагревается вода для скота... Корове тоже хочется тёплой воды зимой».

Она потянулась было к посудной полке, чтобы взять ковш и добавить воды в котёл, как внутри у неё что-то словно порвалось... Горячим истекло... И она сникла от слабости, уронив голову на грудь.

Услышав её стон и шорох упавшей из-за головы подушки, дочь Роза метнулась к ней из соседней комнаты и уложила навзничь.

«О, господи, — подумала Фекиля-апа через час, когда боль в животе утихла. — неужели мне больше не суждено никогда печь натопить? Мир волшебный, несть числа твоим уладам и удовольствиям! Считать не сосчитать, пальцев не хватит, и среди них самое большое наслаждение, как я теперь понимаю, — топить печь. Сколько раз я дрова морозные заносила, сколько раз лучину поджигала, сколько раз, надрывно кашляя, кочергой по раскалённой печи скребла! Разве подумала я хоть раз, что это самое удивительное дело — хлебы печь, супы варить, сухари сушить. Разве могла я предположить, сотни и тысячи раз совершая однообразные движения у этой каменной горы, что когда-нибудь пожелаю о невозможности ещё раз заглянуть под её щедрые своды? Почему раньше я не понимала, что это счастье?»

Да потому, что времени не было остановиться и как бы со стороны посмотреть. Утром — утренние дела, днём — дневные, вечером — вечерние. Дети, куры, корова, муж, полы, суп, огород, вода, уют, колхоз, огород, куры, корова, полы, дети... Слава богу, здоровье у меня было. Сил хватало на всё. А вот времени посмотреть со стороны и понять, какое это счастье — обычная печь, времени не было ни минуты.

А вот теперь — всё наоборот. Здоровья не осталось, сил нет, зато времени свободного много. Да и его много ли? Скоро кончится. Ещё день, два, неделя... Но уже нельзя сказать, что его много. Это я зря сказала...»

12

Да. Фекиля-апа в последние недели разговаривала только сама с собой. С детьми она уже раньше поговорила, со всеми, кроме Тимера, за руку попрощалась. А Тимеру через родных наказала передать, чтобы лежал в больнице... Ему жить надо, совсем молодой. И в то же время очень, очень хотелось увидеть его.

«Если бы силёнки были... Всё равно помирать... Сама бы к нему потихоньку съездила, — думала Фекиля-апа. — Встала бы ночью, когда все спят, и на попутную... Но не смогу. А ему нельзя. Ладно уж, если нет возможности обнять его на прощание, я прощаюсь издали с ним... Так можно, говорят старики».

Фекиля-апа всех детей своих любила одинаково: и картошку поровну, и гусятину, и молоко... Но к Тимеру всё-таки относилась чуть иначе. Она скрывала это даже от самой себя, но, как говорят в народе, она была ближе к нему на малый кончик иглы... Во-первых, она его никогда не ругала — как посмотрит в его чёрные внимательные глаза, так и руки опускаются. А во-вторых, она его стеснялась, как будто он был не ребёнок, а взрослый человек. Что-то в нём таилось особенное... Хотя и в лапту играл, и мячи гонял, и окна бил, но, казалось, он это делает лишь потому, что все его сверстники делают, а глаза, серьёзные, дымчатые, смотрели в сторону. «Из него выйдет большой человек, — говорил старый учитель Шарыпов, — он придумывает новые дома». «Наверное, ему плохо у меня, — вздыхала Фекиля-апа, — крыша соломенная...

Окна зелёные из-за плохого стекла... Он мечтает о новой избе, может быть, даже из трёх комнат, как у нового председателя». Но разве о таких домах мечтал Тимер?

Прошли годы, и когда в газетах, по радио начали сравнивать её сына с поэтами и художниками, сердце Фекиля-апа залила горячая радость, и вдруг почувствовала она, что ей давно хочется говорить про себя складными напевными словами, как в детстве, — она помнит — на праздниках говорили слепцы. Это не были песни. Фекиля-апа их не пела, и не были стихи, как в газете, где строчки аукаются, как эхо на реке, когда она бьёт вальком бельё... Это были складыши, где слово тянется к слову, как маленький кутёнок за кутёнком, жёлтый утёнок за утёнком, складыши, полные восхищения этим миром, его молниями и белыми лилиями на воде, горячим хлебом в печи и умными глазами коровы. Фекиля-апа стеснялась этих длинных своих молитв, обращённых не к богу, а, стыдно сказать, то к божьей коровке, а то и к бельевой верёвке, на которой сохнет рубашка Тимера, которую, может быть, он наденет, когда приедет погостить. Складыши множились, запоминались. А не сочинять их не было силы — они сами лезли в её мысли, в её сны. «Что скажет Тимер, — думала мать, — если он послушает мои складыши? Я очень бы хотела, чтобы они ему понравились. Он стихи любит, может быть, мои складыши покажутся ему немного стихами, как маленькому ему картофельные оладьи заменяли оладьи из дорожного теста? Послушал бы он их как-нибудь раз — и я бы постаралась забыть свои глупые складыши».

Правда, некоторые складыши были совсем грустные. И даже мрачные, Фекиля-апа никак не могла забыть свекольное поле, которое под ней перевернулось, и мужа, лежавшего возле порога в одной рубашке, хоть было тогда сыро и холодно. И лезли слова в голову, среди них «араки-араки-араки»... — водка, водка... Обличительные складыши ещё более мучили её, но Фекиля-апа никому бы ни за что их не пересказала. А только радостные, полные любви — они в ней словно отдельное место занимали. Они истомили Фекилю-апа и, наконец, однажды она не выдержала.

«Розе расскажу, — решила она, — Тимеру боюсь... Он образованный, высмеет меня, а Роза только восемь классов окончила, она не будет смеяться над матерью. Если ей понравятся, пусть перескажет Тимеру. А если Тимер засмеётся, он засмеётся не при мне». И в один из вечеров, подоив корову и поставив вариться суп, она завела дочь в чулан и в полумраке прочитала складыши.

— Ничек? — спросила. — Как?..

Роза ожидала чего угодно от матери в чулане — порки за слушание, секретного рассказа о кознях новой председательской жены, признаний в сердечных делах, но только не складышей, горячего шёпота матери о небе и красной утренней реке, о коровах и свирели, о родной улице и звёздах... Роза всплакнула — ей очень понравились нелепые складыши матери. Она тут же их переписала в тетрадку, чтобы показать Тимеру... И когда матери не было дома, прочитала брату.

Тимер выслушал, грустно глядя тёмными дымчатыми глазами вдаль, и ничего не ответил. Было видно — он не в восторге. В самом деле, что может сочинить неграмотная женщина? Даже если она мать Тимера, он не мог сказать — хорошо, если это плохо. Тимер вообще не признавал авторитетов... Роза огорчилась за мать, но решила ничего ей не говорить... Фекиля-апа подождала-подождала и смирилась. «Видно, чепуха на гороховом масле мне голову забила, — подумала она. — Надо забыть, и надо, чтобы дети забыли...»

Много лет прошло — ни дети, ни она ни разу не поминали длинные складыши Фекиля-апа. Но вот горькие, обличительные мысли о водке до сих пор не давали ей покоя. Складыши забылись — горечь жила.

— Три месяца лежу, думала — все слова высказала... а, оказывается, ещё осталось одно слово, — тихо зашевелила Фекиля-апа жёлтыми сухими губами. — слышишь, Роза?..

Дочка склонилась над матерью.

— Скажи, скажи, любую просьбу выполню, — попросила она печально и ласково. И даже на стул присела.

— Ни разу не поминайте меня с водкой... И когда похороните, и на третий день, и на седьмой... И на сороковой... И через год... Поняла? Смерть отца вашего и свою... Вижу только от водки.

— Свою-то почему?.. — тихо удивилась Роза. У неё под глазами были синие тени от недосыпания.

— Потому, дочка... — Фекиля-апа немного отдохнула, чтобы продолжить разговор, закрыла и открыла глаза... — что страшное горе вызвал во мне запой отца... И когда я заболела, врачи сказали — мой рак на нервной почве... Вот и прошу — на моих поминках чтобы не было ни капли водки. И родным, и братьям-сёстрам передай — мол, мать просила.

— Ладно, — согласилась Роза. — только вот дяденькам, которые могилу роют... Которые хоронить-то будут... Им будет невесело.

— Пускай, — рассердилась Фекиля-апа. — В какие это времена похороны человека считались весёлым делом? А? Пусть не только мои похороны, а похороны самого наипустого человека на земле никогда не станут весёлым делом. Ведь это не скотина — человек...

Роза смутилась, не те слова у неё вырвались.

— Я только хотела сказать, теперь все угощают этих дяденек водкой... Все люди так делают.

— И плохо делают, — возразила мать еле слышным, но суровым голосом. — это идёт поперёк обычаев предков... — Она помолчала. — Господи!.. Не мне, конечно, менять сегодняшние привычки, поучать людей... Я об одном прошу — на моих, моих поминках не пейте. А там, как хотят. Скажи, не могу, мол, завещания матери нарушить... Деньгами дай. Накорми хорошенько. Угощения не жалейте. Чаю заварите с душицей, мёду достань, чтобы не простудились на кладбище... Мёд в чулане, душица висит над дверью чулана. С табаком не перепутай — там старые листы для Тимера... хорошо хоть, сынок курить бросил...

Она что-то ещё бормотала, думая свои последние думы. Роза тихонько всплакнула и пошла заниматься домашними делами. Часы стучали на стене.

Фекиля-апа смотрела на чёрные стрелки и горестно размышляла о том, что водка страшнее рака. Рак погубит её, но водка ещё тысячи и тысячи людей погубит. Только бы не её детей. Правда, они не пьют, дочери у неё послушные, благочестивые, да и мальчишки пока обходятся без прозрачного яда. Но ведь жизнь теперь такая: хочешь дрова привести — ставь бутылку, распилить — ставь бутылку, надо во двор машину песка — ставь бутылку. Все дела стали мерять не добрым словом, а бутылкой. Людям сейчас и деньги не нужны, не берут, а поставишь бутылку — довольны, уважила. «Что ты, Фекиля-апа, как я могу у старушки, живущей на колхозную пенсию в двадцать рублей, взять хотя бы рубль за свою работу? Ни за что. Да и машина не моя — колхозная, и песок, что я привёз, — вон, с горы, из-за вашего огорода... За что же деньги брать? Деньги я и в колхозе получу. А вот немного голубиноного молока отведать после трудов праведных — хорошо-о!..»

Если бы только после трудов праведных. А то ведь и во время работы пьют. А чаще всего и на работу не ездят, а вот так — от соседей к соседям, там бутылку, здесь бутылку — за дрова, за песок... А вечером идут в магазин и уже на свои глохнут. И все так: шофёр по-своему химичит, тракторист — по-своему, пильщик досок — по-своему. А то, что они поминают мои двадцать рублей, так это не из жалости, а чтобы только воспитанным человеком показаться. Или смутить меня слегка, чтобы пощеднее угостила. Ведь все знают — кроме пенсии, я от детей получаю. Почти каждый месяц кто-нибудь да что-нибудь пришлёт. А почтальонша — звонок, всё раззвонит, ну и хорошо. Слава богу, не война, это в те годы приход почтальона был страшен... Да, изменились времена... Много хорошего, но пьют, пьют. В годы войны или сразу после войны на всю округу бывал один пьяница. О нём, хохоча, на всех базарах говорили. Когда мой муж запил и не мог остановиться, слух об этом дошёл до всех его товарищей, с которыми он когда-то начинал в районе комсомольскую работу. Теперь они были на больших постах. Один даже из Казани на полдня заехал — чтобы только отругать моего мужа: как, мол, не стыдно, мы должны быть примером для молодёжи, понял? Сел в машину и уехал... Вот какие в то время были мужчины. А теперь не так. Теперь наоборот. Над непьющим смеются, бабой называют. И непьющему мужчине в любой компании тяжело. Нет, не говорю, что нынешние мужчины не работают. Работают так, что земля дрожит. Но десять человек поставят столб, а один его свалит. Колхозы нынче богатые, доярки по двести рублей получают — когда, в какие времена так было?! А механизаторы и по триста. Это же три тысячи по-старому, господи прости... Нет-нет, любит и умеет работать наш народ, но одна беда — многие пьют. Не от горя, не от тоски — а просто пьют, как чай. Вот и давят людей машинами... И пилят друг друга пилами... А сколько умерло на снегу пьяниц — заблудились в метель, избы своей не нашли? А сколько под трактор попало? В прорубь сползло с удочкой? Я уж не говорю, сколько народу покалечили во время драк... Как пьяные мужики баб своих бьют...

Всё, всё от водки, — вздыхала Фекиля-апа, глядя на часы, которые она два раза выкупала у дальних жителей села. — Раньше на праздниках как радостно было! На конях скакали, боролись на кругу. Теперь, если и поскачет, — слетит где-нибудь под мост. А выйдет бороться — уснёт. Какой это сабантуй, если потом все больницы в районе заполнены порезанным, изувеченным народом? Желудки себе портят, сердце — и всё этим белым прозрачным ядом!

Почему руководители мер не принимают? Сами они меньше пьют, наверно. Во всяком случае, в канаве не валяются. Или пьют что-то такое, от чего не упадёшь. Тогда пусть все пьют это что-то такое. А то водка — страшнее не придумаешь. Человек перестает газеты читать, радио слушать... Это если, не дай бог, война, надо будет неделю всем в уши кричать, пока поймут.

Горе, горе... Я сама это испытала и никому бы не пожелала испытать. Но женщин вроде меня всё больше. Вот спроси любую вдову, отчего умер муж... В космосе сгорел? На войне? От приличной болезни скончался? Нет. От водки.

Милые мои, дети... Не садитесь, пьяные, за руль. Не копайте, пьяные, землю. Не стройте, пьяные, ваши дома. Не разговаривайте, пьяные, с людьми. Люди! Поберегите моих детей! Не встречайтесь им, пьяные, в тёмных переулках! Не обижайте их, пьяные, на собраниях! Господи, убереги моих детей и весь мир этот от водки!.. Это я прошу тебя, бедная женщина, мужа потерявшего не на войне, не под Берлином, а между магазином и порогом... Я прошу, ладонью глядя живот свой, в котором боль и гибель моя... Господи, минуты, часы мне остались и ни о чём больше не прошу — ни о здоровье, ни о деньгах — только об этом... Спаси их, господи!..

— Мама, мама, ты бредишь?.. — Роза склонилась над матерью.

Невнятный хрип в горле Фекили-апа прекратился, и она медленно открыла глаза. Роза держала в руке ложку воды. Старухи-родственницы, которые дежурили возле умирающей каждую ночь, стояли поодаль. Фекиля-апа повела языком по губам — и язык приклеился.

— Ещё... не смогла умереть, дочка, — прошептала Фекиля-апа. — Да, дай... — Она ткнулась губами в холодную мокрую ложку, ей стало легче. Капля скользнула на шею, на грудь, что-то вспомнилось и тут же забылось. — рахмат...

— Не говори спасибо — пей.

— Опять не смогла умереть... — удивлённо повторила Фекиля-апа. — Так плохо мне было, думала — уже всё. Нехорошо столько месяцев ждать... Вас измучила.

— Глупости, мама, — нахмурилась Роза. — Мы вовсе не хотим, чтобы ты умерла. Неужели мы тебе так надоели, что ты хочешь умереть? Мы не устали и никогда не устанем.

— Устали... Под глазами синие тени.

— Это я покрасила! Мне привезли чешский карандашик... так получается красиво. Хочешь, покажу?

— Стыдно мне, золотко моё... Доченька моя... Не ругай меня, ладно? Ещё немного.

— Не говори таких слов! Вот тебе от Тимера письмо пришло.

На тёмно-жёлтом лице Фекили-апа дрогнула левая бровь. Когда-то, когда она была здоровой и весёлой, в минуту радости, эта бровь взлетала высоко. Сейчас кожа лица напоминала глиняную маску, и всё же что-то изменилось в лице.

— Что пишет? — тихо спросила Фекиля-апа.

— Пишет, что попытается приехать...

— Нет! — заволновалась Фекиля-апа, руки её зашарили вокруг, глаза страдальчески устремились на Розу, державшую в руке письмо. — Попроси — не надо... пусть не едет, не выходит из больницы. Мы ведь уже говорили об этом... Неужели не понимает — умирающему не легче, если за ним умрёт дорогой человек... Он может погибнуть. Телеграмму дай. А потом письмо пошли — будто я диктовала... Отругай...

— Мама, успокойся... Сейчас же я схожу на почту... — Роза положила письмо за зеркало, где уже лежали другие конверты. — Он и не пишет, что приедет. Он пишет, что хотел бы... А врачи не соглашаются... Он уже который раз их просит. — Роза поправила подушку. — О твоём здоровье спрашивает. Подробней сообщите, говорит. И просит тетрадку не потерять с твоими складышами... Говорит, очень они замечательные. Как стихи Тукая.

Да, Тимер так и написал в письме. Он, конечно, говорил неправду. Но он понимал, что это святая ложь. Вдруг да матери станет легче...

Фекиля-апа удивлённо выслушала дочь и закрыла глаза. Она была счастлива. Нет, вряд ли она верила, что Тимеру нравятся её нелепые складыши, но она была счастлива, что сын помнит о них. «Белые лилии, молнии, кнут пастуха за рекой, белые молнии, лилии, стадо стоит на мосту, то ли оно испугалось, то ли на воду глядит — белые лилии, молнии, кнут пастуха за рекой...» А может быть, сыну в далёком городе и вправду иногда по-доброму вспоминаются её слова, в которых одна любовь к родной земле, к вечной чужой прекрасной жизни... Если это так, она очень рада.

Надо же, как бывает — умирает человек, а сердце полно счастья. Даже если кожа черна от боли, и скоро часы остановят и зеркало завесят, выронив письмо сына — всё равно, левая бровь немножко поднята, глаза закрыты и на жёлтых сухих устах слабая улыбка...

В эти минуты сын её, Тимер, лежал, усыпленный наркозом, на высокой и жёсткой постели, похожей на операционный стол, в маленькой тёмной комнатке на третьем этаже больницы. Он теперь не скоро проснётся.

Вчера в больнице было заседание коллегии врачей по поводу болезни Тимера. Присутствовал сам профессор. Лечащий врач, молодой, розовый, ввёл в курс дела.

— Лечение в общем-то даёт хорошие результаты, — сказал он. — Больной окреп, хорошо ест, спит, все лекарства переносит хорошо. Только вот кровотечение не останавливается. По всем данным, ему бы пора уже прекратиться. Теоретически на этом этапе кровохаркания не должно быть. Я перелистал много историй болезни, лет за пять. Такого не встретил. На этой стадии обычно слюна чистая. Поэтому я попросил вас, товарищи, уделить внимание моему больному.

На стене — выпуклый белый экран, он освещается изнутри. На него вешают рентгено снимки лёгких Тимера. Лечащий врач водит указкой.

— Откуда кровь? Из лёгких? Если из лёгких, то из какого участка? Нигде уже не должно быть крови.

— Не идёт ли она из носоглотки? — сказал кто-то. — Бывает, знаете ли, такое.

Толстый врач «ухо–горло–нос» категорически замотал головой:

— Нет. За верхние дыхательные ручаюсь. Правда, у него когда-то были носовые хрящи разбиты. Однако это случилось давно, хрящи совершенно зажили. Кровеносные сосуды в горле воспалены... но кровь не идёт и оттуда. Ниже где-то, ниже.

— Как бронхи? — спросил профессор.

— Ещё не проверяли детально, — ответил лечащий врач. — Но не должно быть.

— Проверьте. Немедленно сделайте бронхоскопию.

Затем профессор высказал мысль, что кровь может вполне идти и из самих лёгких. Наука не отрицает подобных случаев.

— Лечение продлится долго, — сказал профессор. — Ещё не проделана и первая половина работы. Необходимо больному время. Наиболее сильные лекарства приберегите для более позднего периода. Как он с психологической точки зрения?

— Он по профессии архитектор, и мы ему разрешили в палате заниматься своим делом. С психологической точки зрения на него это хорошо действует. Только у него в деревне мать умирает от рака.

— Давно она?..

— Третий месяц.

— Как переносит больной этот фактор?

— Тяжело, очень тяжело. Бывает, плачет.

— В эти минуты не мешайте. Лишь бы не замкнулся в себе... Это будет плохо, очень плохо. Чаше заходите к нему, спрашивайте о работе. Почитайте что-нибудь об архитектуре. Будет лишнего работать — не ругайте. В этом конкретном случае даже при нарушении режима пользы больше, чем вреда. И завтра же сделайте бронхоскопию, результат сообщите мне.

Тимера начали готовить уже вечером. К нему зашли три медсестры. Так много?! «Вера, Надежда, Любовь... — усмехнулся Тимер. — Интересно, как их зовут? И чего так суетятся? Подумаешь — операция». Он слышал, что такое бронхоскопия. Человечка усыпляют и суют стальную трубочку с малюсенькой лампочкой на конце через гортань в дыхательные пути. Её там зажигают и при помощи крошечных зеркал и линзочек осматривают внутренние стенки. Говорят, это можно делать и без наркоза, если очень недолго. Но врачи, видимо, решили покопаться в Тимере основательно.

Одна из медсестёр попросила Тимера утром не завтракать, а другая дала две таблетки снотворного, проследила, чтобы он выпил. Третья свернула листы ватмана на столе и унесла, сказав, что завтра отдаст, а сегодня ему нужно спать и думать, если он хочет, о ней. Зовут её Шаргия, Шура. Девушка показала золотой зуб, две другие медсестры тоже засмеялись, и Тимер остался один...

Его разбудили в девять утра. Он по привычке быстро вскочил, прибрал постель и пошёл в процедурный кабинет за очередным уколом. Но там, видимо, ему опять вкололи снотворное, и он, чувствуя, как тёплый дурман заполняет тело, поплёлся за медсестрой с золотым зубом. Он оказался в упомянутой тёмной комнатке, здесь было много врачей в белых халатах. Тимеру велели раздеться и лечь на жёсткую кушетку, высокую, как лошадь. Тимер после укола был, как пьяный, глупо что-то шутил, но врачи не улыбались, а внимательно разглядывали его, как некий экспонат из музея, который предстояло обследовать. В вену на правой руке воткнули иглу, и из стеклянной бутылки, подвешенной над постелью, через красноватую резиновую трубку в тело Тимера стала вливаться какая-то жидкость. Тимер почувствовал, что руки и ноги у него становятся вязкими, словно тесто. Затем Тимеру велели показать язык и надели на нос наркотозную маску, нечто сладковато-влажное. Тимер лежал, скашивая глаза то вправо, то влево. Всё было очень интересно. Маску сняли и снова велели показать язык. «Обсох», — сказал кто-то, и снова надели маску. Однако с этой минуты Тимер уже плохо помнит. Он обмяк, перестал слышать перешёптывания врачей... Он уже почти засыпал, как в голову пришла неожиданная мысль. «Наверное, и мама после наркотического укола пребывает в таком же состоянии».

Тут ему вдруг почудилось, что мать рядом в комнате, лежит на таком же высоком и узком ложе. И точно так же, как сын её, пьянеет от запаха наркоза, улыбается слабой улыбкой, глядя на искажающийся мир. Тимер тихо окликнул её:

— Мама, разве и ты в этой больнице лежишь?

— Нет, сынок, — ответила Фекиля-апа. — Я ведь уже умерла. Ты разве не слышал об этом? Я ведь уже три дня, как умерла, и теперь под землёй лежу, рядом с твоим отцом. Нас разделяет всего метр земли. Но разговаривать можно.

— Вот ка-ак, — протянул Тимер. — Но почему же я не знаю, что ты умерла? Разве телеграмму мне не отбили?

— Не знаю, сынок. Я ведь уже мёртвая, откуда мне такие вещи знать?

— Значит, телеграмма ещё не успела дойти, — вздохнул Тимер и стал считать на пальцах. — Пока в район передадут... пока в Казань... пока из Казани... вот уже три дня. Надо ведь, наверное, памятник поставить над вами, мама? А? Как лучше, отдельный тебе и отцу или на двоих один?

— Одного хватит, сынок. Мы уже об этом с отцом поговорили, и он согласен: пусть, говорит, на двоих один. Так даже лучше.

— Хорошо, мама. Вот выйду из больницы — и такой памятник отгрохаю! Я ведь архитектор...

Тут он почувствовал, что внутри его тела перемещается какой-то посторонний предмет. «Трубка с лампочкой! — понял Тимер. Интересно, горит уже или не горит? Я даже не ощутил, как она в рот вошла...»

Да, действительно, то, что перемещалось в эту минуту в его бронхах, было трубкой бронхоскопа. Тимер подумал — сейчас его стошнит, и трубка выскочит, потому что это неприятно, когда внутри тебя копошится железная пулька. Но его не тошнило. Тогда он вспомнил — можно руками вырвать. Левая рука свободна, но что же это, она как чужая, лежит рядом с бедром, и хоть режь её на кусочки — не слушается... «Вот уже и рука моя меня не слушается, — обиделся Тимер. — Вы что, из меня робота сделать хотите?»

Но в это время откуда-то издалека, словно с облаков, донёлся шёпот: «Он просыпается... Просыпается... Укол в вену...» Тимер ощутил, как чужие ловкие пальцы сжали его левую руку, стальная прохладная игла вошла в вену, и Тимер снова вспомнил, что рядом лежит мать.

— Мама, извини, мне тут какую-то трубку внутрь ввели, и я немного отвлёкся.

— Ничего, пусть проверяют, сынок, — отозвалась мать. — Хорошо, когда вовремя. Вот я не проверилась вовремя у врачей, а потом уже было поздно.

— Что теперь об этом? — сказал Тимер, словно они разговаривали о вещах обыденных. — Это так, но что теперь об этом? Ты уже умерла, и говорить об этом нет никакого смысла. Давай лучше продолжим начатый разговор, моя милая. О чём мы говорили?

— О памятнике, сынок.

— Да, да... — Тимер вспомнил. — Я ведь уже большой архитектор, мама. Я на вашу могилу такой памятник поставлю! Нет, он не будет из чёрного мрамора, внушающего ужас и почтение. А ты видишь на песчаной горе, за нашим огородом, огромные серые камни? Они торчат на склоне, подобно наростам на стволе берёзы! Вот из такого камня я и вырублю вам памятник, мама. Когда я был маленьким, я пробовал взять их пиллой — они внутри белые-пребелые, как сахар. Это сверху только они тёмные — из-за дождей и ветра, а внутри белые. И мягкие. Их вполне можно распилить ножовкой. Я теперь сильный, я распилю. Я вырою один из этих валунов и он закувыркается с горы. Конечно, плетень повалит, но я потом подниму плетень. И там, посреди огорода, вырублю вам памятник. Упрошу колхозного тракториста — и перевезу на кладбище...

— Не делай из большого камня, сынок.

— Почему?! Пусть все видят — это мои родители.

— Тяжело тебе будет устанавливать его.

— Да ну!

— Если камень будет огромным, придётся тебе бутылку ставить трактористу. А я не хочу из-за меня чтобы водку пили...

— Я ему хорошую книгу подарю — Корбюзье. Он не откажется — красивая толстая книга. Рублей десять стоит. — Тимер продолжал, — конечно, я не буду ставить безобразно большой камень. Надгробный камень должен быть скромным, но не таким скромным, чтобы его не замечали, ботинки на нём перешнуровывали. Я вам сделаю лучший памятник — средней величины.

— Ты что-нибудь напишешь на нём, сынок?

— Он будет четырёхгранным, мама. Чтобы на все четыре стороны света смотрел. И на всех ваших четырёх детей. А что я напишу? Очень немного. На одной грани, северной, — фамилию, имя, отчество отца, год рождения и год смерти. На противоположной, южной, — всё о тебе. На плоскости, которая смотрит на восток, напишу четыре слова: ВАША ЖИЗНЬ — БЕГУЩАЯ ВОДА.

Я вырежу эти слова глубоко в камне, и когда солнце будет всходить, лучи его залют красным золотом эти четыре слова, будут говорить о том, насколько чистой и искренней была ваша жизнь, а когда солнце повернёт к полудню, в углублениях букв возникнут чёрные тени, и люди поймут, как быстро прожурчала она. А на той стороне, которая обращена на запад, я нарисую волны. Как будто здесь родник. Каменные волны этого родника будут шевелиться в вечернем сумраке, предвещая вечную жизнь и вечный покой. А над памятником будет кружиться шар звёзд...

Постой, кажется, иглу из правой руки вытянули. И стальную пульку с фонариком давно из груди вынули. Зачем она нужна, когда у меня у самого в груди рана источает свет... Тимер открыл глаза и увидел, как из комнаты выходят люди в белых халатах. Подошли два здоровенных санитаров с носилками. «Я сам, сам...» — пробормотал Ти-

мер и, словно пьяный, едва перебрался на носилки, его понесли. Вот и его палата. На столе чертежи бани. Медсестра накрыла Тимера одеялом и попросила полчаса-час не спать. «Нельзя», — сказала она. И подмигнула. И улыбнулась. Но глаза у Тимера неудержимо смыкались. Он, преодолевая слабость и дремоту, спросил у неё о чём-то. Она что-то ответила. Потом, на следующий день, Тимер, как ни пытался вспомнить, о чём они говорили полчаса, решительно ничего не мог вспомнить. Наконец, медсестра, посмотрев на часы, ушла, и Тимер мгновенно потерялся...

16

Он проспал весь день, до семи часов вечера. К нему никто не входил, его не тревожили. Он не завтракал и не обедал, и проснулся от голода. Но сразу подняться не смог — в голове плескался туман, руки и ноги ныли. Глазные белки казались тяжёлыми, как какие-нибудь шарики от подшипников, с трудом ворочались. И очень, очень хотелось пить, рот высох, как широкий ремень.

Тимер увидел — рядом на тумбочке стоит стакан с розовой водой. «Какие заботливые медсёстры!», протянул руку и, стараясь не расплескать ни капли, сдерживая жадность, чтобы продлить удовольствие, мелкими глотками выпил клюквенный сок. И снова уронил голову на подушку и долго лежал, стараясь не двигать глазами яблоками.

«Чёрт возьми, что же это со мной сделали! Там лежал — рукой не мог шевельнуть, а теперь глаза... А вдруг так и останется?! Нет, я вас заставлю!» — Преодолевая боль и слабость, он принялся шевелить пальцами рук и ног, стрелять глазами вправо и влево. Его замутило.

В эту минуту вошёл лечащий врач.

— Ну, как? Ноют мускулы?

— Немного. А когда кончится?

— Сегодня ещё нет. И завтра будут болеть. Завтра даже ещё больше. Может, и встать не сможешь. Но ты не расстраивайся, а просто лежи эти два дня. Так всегда бывает после бронхоскопии.

— Я ещё не ел сегодня...

— Знаю. Сейчас принесут. В столовую не ходи, тебе всё принесут. И завтра тоже. И послезавтра. Лежи, пока не кончится боль в мускулах.

— Как бронхи? Нашли что-нибудь?..

— Результаты ещё до конца не обработаны. Но мы уже знаем — ничего опасного. Завтра снова собираем на пять минут медколлегию, всё окончательно разъяснится. По моему мнению, кровь сочится всё-таки из лёгких. Так думаю я после бронхоскопии. Однако это случай редкий, очень редкий. Профессор так сказал.

— А редкий случай — он опасней обычного?

— Когда как. Иногда так, а иногда не так. По моему мнению, твой случай вовсе не опасный. Просто дольше будем лечить, чем обычных больных. Только в этом разница. Дело, видно, в том, что твой организм медленно усваивает лекарства. Вот и затянулась история с кровотечением.

— Это ваше окончательное решение?

— Думаю, да. Вряд ли завтрашний разговор внесёт что-то существенное в мои мысли.

Тимер удивлённо смотрел на румяного, словоохотливого мужчину.

— Скажите, а почему вы так со мной откровенно разговариваете? Даже о том, что ещё не выяснено. Вроде бы по медицинской этике больному мало что говорят. Тем более, о своих предположениях, сомнениях...

— А я только с тобой так разговариваю, — улыбнулся врач, зажёл настольную лампу и задёрнул штору.

— Почему?

— Ты архитектор.

— Какое отношение имеет архитектура к медицине?

— Никакого. Но ты, будучи архитектором, человек творческий. Так? Поэтому, если бы я чего не договаривал, ты бы тут же почувствовал. Ты бы, разумеется, не знал, о чём я умалчиваю, и терялся бы в догадках, беспокоился. Может, и вовсе пришёл бы к мрачным выводам, сдался. Поэтому я в открытую.

— Это правильно, — согласился Тимер. — Всё действительно было бы так... А почему вы на «ты»? Извините, я не сержусь, но мне интересно... Вы же не намного старше меня. Я к вам на «вы», а вы — на «ты».

— Мне так удобнее, — сказал от дверей врач, пристально разглядывая Тимера. — Когда говорят «вы», возникает отчуждение... Холодок... Какой-то барьер. А у «ты» возможность убеждения сильнее. А я врач. Мне очень важен контакт с больным. Даже если вы обидитесь на меня за мою невежливость, всё равно в глубине души благодарим за этот неявный знак доверия — «ты», — он улыбнулся. — А вот больные обязаны говорить врачу «вы». Этого требует больничная этика. Ведь я представляю здесь не только себя, но и всю медицину, а вы — конкретно себя... Верно?

Тимер кивнул, и врач ушёл. Он всё больше и больше нравился Тимеру.

Принесли ужин, и Тимер поел, не вставая с постели. Ему стало тепло и приятно. Он отдохнул с полчаса, туман и голове рассеялся, и он решил попробовать встать. Ноги дрожали. Тимер походил по палате взад-вперёд — ничего, жить можно.

Он потёр себе уши, как делал в детстве, когда готовился к экзаменам, а голова не варила, сел за стол и углубился в свои листы. Он работал часов до двенадцати и даже очень хорошо. Пришло несколько прекрасных мыслей...

Наверное, из коридора было видно полоску света из-под двери. Он услышал мягкие, крадущиеся шаги медсестры, выключил свет и юркнул в постель... Но поскольку координация движений была всё-таки нарушена, едва не разбил голову о спинку кровати... Застонал, усмехнулся и уснул.

17

Но среди ночи он проснулся, не в силах вытерпеть боль во всём теле.

Нет, ни кашель его не бил, ни сердце не колело, но будто между жерновами его валяли, все мышцы ныли, как порванные. На какую-то минуту Тимер подумал, что и в этом состоянии есть что-то интересное. В конце концов, он же знал от врача заранее, что тело будет болеть. Значит, врач прав. Значит, он не ошибается и в остальном, а именно — в том, что Тимер выздоровеет. Но этих здравых размышлений Тимеру хватило ненадолго. Он тихонько стонал, не зная, как лечь, — в любом положении боль пронизывала всё его существо. Горло, казалось, распухло так, что и слюну не проглотить. «Проклятая пулька с лампочкой!»

Кажется, чуть стало светать, когда в палату вошла медсестра. Она не улыбнулась, как обычно, а заботливо, даже слишком заботливо поправила одеяло на больном, отёрнула штору в окне. «Наверное, жалеет меня. А если она так откровенно жалеет, наверное, мне будет ещё хуже...» Медсестра присела сбоку на койку и, взяв руку Тимера, нащупала пульс. «Почему она мне в глаза не глядит?» Медсестра посмотрела ему в глаза.

— Ночью... ничего не снилось?

По телу Тимера прошла горячая судорога.

— Мама?.. — прошептал он дрожащими губами. Как он сразу не понял?..

— Да, — ответила тихо сестра милосердия в белом халате с красными буквами «Ш. О.» на кармашке. Она достала из этого кармашка сложенную пополам телеграмму и протянула Тимеру.

Тимер не взял, и она положила телеграмму на тумбочку. И снова зачем-то сжала пальцами кисть левой руки Тимера, слушая пульс. Тимер закрыл глаза, ему хотелось страшно закричать, разорвать руками весь этот дом, в котором его зачем-то спасают, куда-то бежать... но он лежал, зажмурив глаза, и две болезненные ржавые слезы пробилась на белый свет. Медсестра не уходила, слушала пульс, и это продолжалось долго. Слезинки, наконец, откатились к ушам, они стали холодными, как чужие.

— Отсюда можно в Казань позвонить? — спросил Тимер.

— Прямой связи нет, но если попросить — дадут Казань... — ответила медсестра, отпустив руку. — Какой телефон заказать?

Тимер повёл скрипуче-поющими белками глаз на стул.

— Вон... Пиджак висит... В левом внутреннем кармане блокнот с телефонами...

Медсестра подала блокнот. Тимер не смог ухватить его непослушной рукой. Он ткнул пальцем, девушка, пахнущая эфиром, записала фамилию, номер телефона и вышла.

«Так всё болит... Захочешь убежать — не убежишь... Захочешь повеситься — не повесишься... Ну, пусть, пусть болит — может, отвлечёт меня от мыслей. Я же знал, что так будет. И мама знала. Так чего же ты, малай?.. Но и боль не спасала от скачущих, страшных мыслей. Вспоминалось плачущее лицо матери... Покосившееся крыльцо... Узлы вен на её ногах... Керосин в сенях в широких бутылках... Синие зябкие рассветы зимой... Корова хрумкает солому...» И почему-то странная злость начала переполнять Тимера. На кого он негодовал? На что? Он встал и принялся истязать своё тело зарядкой... Приседал, чуть не рыдая... Махал руками... В палату заглянула медсестра:

— А вот это зря...

— Шпионите?! — в бешенстве тихо спросил Тимер.

— Я позвонила, — слегка обиделась медсестра. — Я хочу сказать, что такие движения вредны вам... Лягте, Тимер.

Тимеру хотелось излить свою злобу на кого-нибудь, это была уже ненависть, чёрная, чугунная, но при чём тут эта девушка с круглыми глазами, подведёнными синей тушью? Он заскрипел зубами, сжал кулаки, он метался по палате, готовый разбить одним ударом настольную лампу, стол, он готов был обвинить весь мир в предательстве, в равнодушии... «Почему я не плачу? — мелькнуло в голове. — Ведь, кажется, когда плачут, люди смягчаются... А у меня душа всё страшнее и страшнее становится, как стальной кол. Ведь пока мать жива была, я плакал... а теперь не в силах... Что-то подлое во мне теснится и ищет выхода. Это всегда так — человек становится зверем, когда у него отнимают маму?..»

Медсестра стояла в дверях, в замешательстве глядя на Тимера. Наверняка по учебникам реакция человека, которому сообщили о смерти матери, должна была быть иной.

— Может, вам хочется одному остаться? — тихо спросила она, всё-таки опасаясь оставить его.

— Да! Да!.. — бросил Тимер, хотя он ещё не знал, будет лучше ему одному или тоскливей. — Да!

Девушка вышла из палаты и, помедлив, закрыла дверь. Тимер рухнул на койку. Казалось, всё тело его порезали на ремни. И точно такими болезненными комками глядел на него окружающий мир — лысая настольная лампа, которую можно совать в пасть акуле, если делать ей бронхоскопию... стул с пиджаком, карман оттопырился, будто в нём пистолет... белая дверь, за которой нет ни одного родного человека... Он

закрыв глаза, может быть, открыл глаза — и из темноты в палату вошёл Чтуп-дедей. Лицо у него было скорбно.

— Что, сынок? — тихо сказал он, садясь поодаль на стул. — Рвётся твоя душа на кусочки? Весь мир разваливается, как при зимлитрисини? Что делать, так должно быть. Только не ожесточись. Горе может сделать человека злым и грубым. А потом тебе ещё хуже будет. Один офицер в царской армии получил письмо о смерти матери и погнал среди бела дня на пушки своих солдат. Больше половины полегло. Ему стало легче. А на следующую ночь он сам застрелился... Не поддавайся горю, сынок. Завтра у молодой врачихи попроси лучше прощения... а то сейчас она плачет в коридоре. А вдруг ещё укол сделает кому-нибудь не тот, тебе от этого легче будет? Быстро ты стал сдаваться. Мать твоя была не такой. Уж какие беды на неё, золотиночку нашу, свалились, а душа чистой оставалась. Все мы, соседи-знакомые, в трудный час к ней приходили на совещания. И она всем помогала, от любого горя знала лекарства. Поэтому что сама повидала все виды горя. И оставалась доброй, золотиночка наша.

Тимер молчал. Ему стало немного легче. Чтуп-дедей смотрел одним глазом на него, другим в потолок, словно прикидывал, имеет ли право Тимер считать своей матерью эту святую женщину, которая, сейчас, конечно, в небесах. И, видимо, решил, что Тимеру простится его грубость.

— А мне, сынок... стыдно перед ней.

— Почему? — тихо спросил Тимер.

— Она и шестидесяти не добрала... А мне вот уж за девяносто. Может, я вместо неё живу?.. Если это так, горе мне, горе. — Чтуп-дедей заплакал, подбирая под стул старые войлочные боты. Тимер вздохнул — только-только стали отпускать душу свирепая тоска и боль. — Эх, Тимер... — продолжал Чтуп-дедей, смахивая слёзы рваным рукавом полушубка. — Я человек не из вашего рода. Даже ниточки нет между нами. И всё-таки я пришёл к тебе, потому что люблю тебя, как сына или внука, выбирай сам. Я ведь теперь в селе самый старей, и все — будто мои дети. Фекиля была тоже моим ребёнком. А теперь ты остался. Я не утешать тебя пришёл, а только сказать — мы себя прощаем. И не обижайся, что я на тебя однажды накричал, когда ты меня назвал расиситом. Мы тогда были здоровые и вполне могли потерять час-другой на болтовню. А сейчас говорю тебе только о твоей матери — она была святой человек, золотиночка наша...

— Спасибо, Чтуп-дедей, — отозвался с койки Тимер. — Я думал, я круглая сирота... А у меня есть ты. Спасибо, что пришёл.

— Чего там... Приятно умному человеку с умным человеком встретиться. Живи долго, сынок! Фекиля перед смертью сказала, что непрожитые десять лет вам отдаёт, детям своим... Смотри, не расплещи по пустякам матушкины годы. Трать только на добрые дела. Эх, эх!..

Сказав эти слова, Чтуп-дедей ушёл в стену...

Он ушёл и унёс все некрасивые злые мысли Тимера. Он будто напоил его отваром трав с родной стороны, а там есть травы и от гнева, и от чужого глаза, и от бессилия... Только нет травы от светлой печали по матери своей. А если и найдут такую, Тимер вырвет её и сожжёт.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

18

Днём к Тимеру приехала его жена.

Она, видно, по дороге уже наплакалась, нос покраснел, в кулаке был скомкан платочек. Ей дали длинный халат, и она в нём показалась старше своих лет. Тимер по-

смотрел в её скорбные глаза и вдруг почувствовал, что теперь иначе будет относиться к своей жене. Она ему была отныне не только как жена, но и как мать. Это странное чувство и раньше в нём возникало, но так сильно ещё никогда. Жена бережно погладила Тимера по голове, села рядом, прижалась...

Тимер сидел, глядя в жёлтый гладкий пол, и думал о том, что после женитьбы жена и вправду во многом заменила ему мать. Раньше он, помнится, старался приходить домой непоздно, чтобы не огорчить мать. И уж стыд охватывал возле ворот, если выпил водки. Точно так же было в новые времена, в женатой жизни... Раньше в деревне мать варила суп, кормила сына, обстирывала, одевала, пуговицы оторванные пришивала на место, а теперь всё это делает жена. «Они, кажется, даже в чём-то похожи, — подумал Тимер, обнимая плачущую женщину. — И я сейчас обнимаю её, а кажется, что я обнимаю маму. Она же мама моего ребёнка, моей дочери, а значит, немного и моя мама...» Если раньше нежное чувство привязанности раздваивалось — мать в селе, а жена в городе — теперь оставалась только одна жена, и ей принадлежали обе нежности, обе привязанности, обе верности... Конечно, Тимер съездит на могилу матери, но мать теперь принадлежит земле, всей земле, и эта больница стоит на той же земле, и жена приехала по этой земле, и Тимер выйдет на прогулку, если поправится, на эту же мягкую печальную землю...

Тимер с досадой вспомнил мысли о девочке из-за леса. Нет, он не забудет её, но редко будет вспоминать. Потому что он теперь другой — остался без матери. И только жена у него есть, самая ранимая, умная, заботливая. С платочком в сжатом кулаке. Из-за красных ногтей ему показалось — она сжимает красный платок. Но откуда у неё-то кровь? Достаточно того, что кровь идёт у него... И шла у матери...

— Где? — спросила она.

Тимер показал глазами на тумбочку. Жена развернула телеграмму, и Тимер, хоть и не хотел смотреть, всё равно из-за плеча увидел ЧЁРНЫЕ БУКВЫ на БЕЛОЙ БУМАГЕ. Они все были заглавные. В этом была леденящая душу непререкаемость... Тимер снял со спинки кровати полотенце, прижал к лицу и зарыдал. Он, казалось, только теперь поверил, окончательно поверил в ужасную весть...

День прошёл, как туча сквозь ворота... Жена уехала последним автобусом, взяв слово с Тимера, что он будет лежать, лежать, лежать, пока врачи не разрешат подняться... Он и лежал всю ночь, глядя, как в окне крутится блестящий шар звёзд.

А утром приехали друзья. Они были на этот раз притихшими, даже виноватыми, словно их просили достать Фекиле-апе волшебного лекарства, они могли, да забыли... Низам сел на стул, Миндуп встал у стены справа, а Русти около стола. Кашлянув, Низам сегодняшнюю газету протянул Тимеру. Тимер пожал плечами и увидел на четвёртой полосе внизу траурную рамку. Кто-то, видно, умер. Что ж, а у него мать умерла... Приглядевшись, Тимер понял — это сообщение о её смерти. Союз архитекторов Татарии разделяет его, тимерово, горе. «Что ж, хорошо, разделяйте, — подумал Тимер. — В первый и последний раз имя моей матери в республиканской газете. Наборщики набирали. И спасибо — не перепутали. А то ещё напечатали бы — Фелиса... Фахерниса...»

— Как здоровье? — спросил Низам. Друзья, видимо, ещё в дороге решили говорить с Тимером только о его болезнях. Клин клином. — Пришли врачи к какому-нибудь определённому мнению?

— Да, — пробормотал Тимер. — Шли и пришли.

— Ну? Ну? — зашевелились Миндуп и Русти.

Тимер вернул газету Низаму — зачем она ему, Тимеру?..

— Выяснилось — кровь идёт из лёгких. С помощью трубки смотрели. Говорят, будем лечить лёгкие, всего только лёгкие.

— Хорошо, — сказал Миндуп. — Точный диагноз — это уже половина успеха.

— А у вас что нового? — тихо спросил Тимер. — Как дела? Как наш Союз архитекторов? — По тому, как нетерпеливый Миндуп оглянулся на Низама, Тимер понял, что новости есть, и может быть, даже важные. — Говорите! Окна у нас, наконец, побили?

Низам заскрипел, раздумывая, на стуле.

— Нет, окна в Союзе архитекторов никто ещё не бил, но вот Мардан-абый письмо написал. В вышестоящие инстанции.

— На кого? — поднял левую бровь Тимер. — Я не удивлён, что он мог телегу накатать. Но на кого? По-моему, при нашем болоте и не на кого!

— Если ты не отказываешь нам всем в таланте, — сказал Русти, — то хотя бы на талант.

— На весь Союз архитекторов, — негромко заржал Миндуп. — Слоп, осёл, червяк, бактерия!..

— Погоди, — важно остановил его Низам. — Я расскажу. Мардан-абый пытается доказать, что наши проекты абсурдны и вредны, вне татарских традиций и даже вне русских традиций. И кафе Миндупа — его должны были вот-вот начать строить... И проект кукольного театра, — Низам кивнул на Русти. — Его должна ещё утвердить Москва. Ну, и моя фабрика для пошива ичигов*. На всё набросился.

— Не понимаю, — недоверчиво улыбнулся Тимер. — А доказательства?

— Какие тут доказательства. Бьёт цитатами. И самое интересное, наши работы не противоречат ни одной цитате.

— Чего ж тогда расстраиваетесь? Пожалейте старика.

— Потом пожалеем. А пока, видишь, в чём дело — он так написал своё письмо, что вопрос могут решить только специалисты. Поэтому письмо переслали в Союз архитекторов, то есть к нам же, назад. Но ведь надо объяснить, что наши проекты не противоречат хорошим цитатам, а наоборот. Человек, которого назначили рассмотреть жалобу, просит полтора месяца для подготовки обоснованного доклада. И это правильно, товарищи, тут нельзя на бегу.

— Да взял бы, выкрал «телегу»... Порвал, — не удержался Миндуп. — Нету и всё!

— Не имею права. Тем более, она и против меня, товарищи. Тем более, человек назначен, машина закрутилась...

— Моё кафе, моё кафе!.. — страдальчески закатил глаза Миндуп. — Начали рыть подвал — бросили. Бульдозеры стоят. Прожектор кто-то вывернул. Это ещё ничего, если только полтора месяца... Ведь результаты проверки пойдут туда, наверх, а там — пока решат... Может, месяц пройдёт, может, два. А может, и полгода.

— Н-да-а, — задумался Тимер, — а что с проектом Русти?

— И он будет лежать месяца полтора. И пойдёт в Москву вместе с общим докладом.

— Сволочь Мардан-абый, — процедил Русти. — Марионетка из моего будущего театра.

— Не надо так о пожилом человеке, — нахмурился Низам. — И какой он марионетка — это его собственные идеи. — Он посмотрел на Тимера. — Тебя он тоже задел. Но не беспокойся, так, немножко.

— Меня? Он же ещё не видел мою баню.

— Он считает, Союз архитекторов заказал тебе чересчур сложный проект. Ещё не осилит, говорит, молодой. — Миндуп захохотал и закрыл рот ладонью. — Извини. Ну, не дурак?

Тимер болезненно поёжился. Чего сейчас раньше времени кулаками махать?

— Низам, — вдруг усмехнулся Русти. Глаза заблестели, нижняя губа оттопырилась. Сейчас, наверняка, выдаст глупейшую шутку, — а почему ты не говоришь, что

* Ичиг — татарская национальная обувь.

Мардан-абый написал о тебе? Говорит, морально неустойчив, то есть устойчив, но в другом смысле!

— Чего об этом, — смутился Низам и ощерился, как бы пытаясь небрежно улыбнуться. — О главном поговорим, товарищи.

— Ну, ну, скажи? — попросил Тимер, понимая, что всё равно Русти расскажет — он как таран, в работе и в разговоре, пока не выложится — не остановишь.

— Пустяк, — не дал всё-таки рассказать другу Низам. — Пишет — любовница есть... Но разве это правда? Я не могу себе этого позволить, потому что занят главным делом жизни — сапожной фабрикой.

Русти и Миндуп переглянулись, туго покраснели, но всё-таки им удалось сдержаться от смеха. Тимер пожалел Низама.

— Послушай, но как же так? Твоя фабрика выдвинута на премию. Все прочитали в газете. Как же можно замахиваться на проект, если он представлен на премию?

— До заседания комитета по премиям остался месяц, — кивнул Низам. — он этого не учёл. Собрание по проверке его письма состоится после присуждения премий. Но проект могут отозвать... Хотя мне наверху сказали, чтобы я пока не беспокоился. Подождём, говорят, какие письма придут от народа.

— От какого народа, — усмехнулся Русти. — Подговорит тот же Мардан-абый какое-нибудь СМИ... и напишут: нам, рабочим, такие фабрики не нужны.

— Брось, — оборвал его Миндуп. — Зачем шутишь? В комитете не дураки. Верно, Низам?

— Нужна мне эта премия... — пренебрежительно буркнул Низам. Конечно, он говорил неправду. Он был горд, что его проект понравился, и был бы счастлив стать лауреатом. — Конечно, вся эта история довольно неприятная. Но тут есть ещё более неприятная заковырка.

«Что ещё?..» — подумал Тимер.

— Под жалобой Мардана-абый подписался... Имаметдинов.

Это был тот самый Имаметдинов, который учился на два курса ниже Тимера и его друзей, боготворил Корбюзье, чертил бог знает какие фантастические проекты — их трудно было представить претворёнными в жизнь, настолько странные и дорогие. Жаль, жаль, человек он талантливый.

— Не понимаю, — сказал Тимер. — Но ведь Мардан-абый терпеть его не мог.

— Он и нас терпеть не мог, — напомнил Миндуп.

— Сложный вопрос, — озабоченно заскрипел на стуле Низам. — Давайте об этом в другом месте, давайте крепко подумаем... А пока не будем особенно распространяться при случайных людях. Это к тебе относится, — он посмотрел на Русти.

— Вопрос наипростейший! — разозлился Русти. — Ясен, как зеркало. Два козла нашли кочан капусты и грызут с двух сторон. Между козлами никакой разницы. Один белый, другой чёрный. Один старый, другой молодой. Только и всего!

— Не надо так грубо о пожилых людях, — сказал Низам, вставая. — Тут всё-таки что-то неясно...

Конечно, Низам был прав.

Друзья ушли, и снова Тимер остался в палате, пахнувшей эфиром и засохшим хлебом на столе. Но мысли уже его безраздельно принадлежали работе.

«Какие они сегодня встревоженные, мои друзья. Имаметдинов — это серьёзно. Вот уж думать не думал, глядя на его хитроумные, роскошные, даже безумные проекты, что он когда-то объединится с примитивным Марданом-абый. С каким трудом мы приняли

его в Союз архитекторов! Нам говорили: это формалист — и в общем-то были правы. Нам говорили: он пижон... Западник... Оторвался от жизни... И, что греха таить, мы сами это знали. Но надо было помочь человеку талантливому, пусть даже запутавшемуся, и, смотри-ка ты, какие фортели выделяет жизнь! За это нос бы ему расквасить!..»

Но Тимер понимал — Имаметдинов не с бухты-барухты поставил свою подпись под жалобой Мардана-абый. Он, кричащий везде, что ненавидит этого старого профана, всё-таки не такой уж оторванный от земли мечтатель. Он по-своему умён и даже, видимо, хитёр. Вспомнив его тонкий длинный нос, заканчивающийся шишечкой, уклончивые глаза, монотонный голос, вечную бледность щёк, Тимер кивнул в ответ своим мыслям — да, да, он очень себе на уме. Увидев, что Мардан-абый пошёл в бой на молодых архитекторов, он, разумеется, сообразил — вот пришёл и его час. Если он, «левый» архитектор, поддержит старика, это произведёт эффект бомбы. Люди подумают: значит, Мардан не так уж и не прав? А фамилия Имаметдинова станет менее опасной в глазах вышестоящих организаций, где по привычке издавна уважали Мардана-абый. И значит, Имаметдинов со временем получит хорошие заказы. И уж если начнётся бумажная склока, то напористый, тёмный Имаметдинов много крови попортит — любит писать прожекты, рассуждать, цитировать, ссылаться к месту и не к месту на философов древности... Будет ерошить свои кудри и строчить по сто писем в день. Да, сильного союзника нашёл себе Мардан-абый.

«Где-то мы просмотрели, прошляпили, — отругал себя Тимер. — Теперь квась нос, не квась — делу не поможешь. Надо было раньше поговорить по душам с Имаметдиновым. Но мы думали после того, как приняли его с трудом в Союз архитекторов, он молится на нас, сильную молодую группу, что он, несомненно, наш, самый наш, и я полагал, ей-богу, что его ещё не раз придётся одёргивать, чтобы не лез в драку на Мардана-абый. Что теперь будет? В любом случае, победим мы или Мардан-абый, мы с Аликом Имаметдиновым уже враги. Если они победят, это плохо. Во-первых, Алик перестанет думать. Его роскошные глупые дворцы могут кому-то и понравиться, и он может стать лауреатом, повлиять на развитие национальной архитектуры. Мы и так почти погубили Казань коробками! А тут появятся ещё замки. Хрен редьки не слаще... Во-вторых, жалко талантливого парня. Всё-таки из него могло выйти что-то оригинальное. А вдруг — нет? А вдруг он был и есть всего-навсего циник, который оригинальничал, чтобы только обратить на себя внимание?! А в душе такой же серый и квадратный, как Мардан-абый! Потому что если бы в нём была искра гениальности, как я по горячке подозревал, то он ни за что и никогда не пошёл на союз с таким человеком, как Мардан-абый... Должна же быть в талантливом человеке некая щепетильность, брезгливость, в конце концов. А может, я ошибаюсь? У нового молодого поколения, возможно, свои представления о том, что разрешено и что нет... Да, да, это же грядут совсем иные, чем мы, ребята. Они хоть с чёртом заключат союз, чтобы только выскочить самими! А значит, Имаметдинов вполне может быть талантливым человеком... но тогда это ужасно... во что мы превратим Союз архитекторов, если здесь начнут царить молниеносный расчёт и цинизм?

И ещё. Бог с ним, с Имаметдиновым. Но тенденция строить дорогие дома — с этим я не могу согласиться. Дело даже не в том, что деньги летят на ветер... Нет, искусство архитектуры с давних времён предполагало строить здания максимальной красоты при минимуме затрат. Но, мне кажется, и сами излишества, чрезмерная роскошь могут подействовать на время, на людей — мы должны быть осмотрительны, как политики. Если, конечно, всерьёз относиться к архитектуре.

А насчёт моей бани... Что знает Мардан-абый о моей бане? О моей боли, которую нужно отпарить? О Чтуп-дедее, которого я первого привезу в свою баню? Если Чтуп-

дедей скажет: баня хорошая, плевал я с раскалённого полка на Мардана-абый и на Алика Имаметдинова! Баня дешёвая и светлая. А у вас совесть тоже недорогая, но тёмная...»

И вот накатила весна, посыпались с громом ледяные веретёна с крыш. И вот расеялось рыжее солнце так, что в мёртвый час никак не уснёшь — шторы не помогают, в палате светло, как на вулкане.

Март прошёл, апрель миновал... Сладкая черёмуха отцвела... И вот уже май... В лесу вокруг больницы сквозь чёрную корящуюся листву прошлого года выстрелили нежно-зелёные травинки. И вскоре их стало много — так много, что не видно старой листвы и старой жёлтой травы, сплошная зелёная стена. «Так и наши заботы, — подумал Тимер, стоя на опушке. — Сегодняшние заботы перекрывают прежние, словно иголочками пронизывают их и рвут... но память о матери я не сравню с коричневыми жухлыми листьями. Я о ней помню всё время. Она, как полотенец света, повисшее на ветке». Тимер остановился под старой бронзовокожей сосной. Сосна устремлялась в небо нагая, только там, метрах в десяти от земли, разбрасывала во все стороны чешуйчатые поблёскивающие сучья с хвойными шапками на концах. Зелёная, вечнозелёная. «Мы не замечаем, как старая хвоя осыпается, нам кажется — сосна зимой и летом зелёная, прежняя. Вот так и память моя о матери. Много о ней воспоминаний. Время от времени одни воспоминания будут теснить другие, будут замещать, но всегда я буду помнить мою дорогую, единственную, как эта сосна всегда останется зелёной, как и те сосны, что на западе от села...»

Тимер поймал себя на мысли, что думает о будущем. А ведь ещё недавно он не мог заглянуть и на день вперёд. А теперь — пожалуйста. Хоть каждый день думай о будущем, потому что кровь перестала идти. Тимер, уйдя в лес, иногда нарочно кашляет — проверяет, нет ли красных точек на носовом платке. Нет, ничего нет. Правда, ещё колят иглами, много колят, но, наверное, так нужно. Главное, Тимер стал сильнее, он много работал последний месяц. Он столько начертил вечерами, что и за иной год не начертишь. Не потому, что не найдётся столько ватмана или карандашей, а «потому, что потому», как говорит жена. Он ещё покажет Мардану-абый и Алику Имаметдинову тоже покажет.

К счастью, проверка жалобы Мардана-абый прошла как нельзя лучше. Молодых архитекторов защитили, а Мардану-абый с Имаметдиновым крепко попало. Формулировки: беспочвенная склока, создание нетворческой обстановки в Союзе архитекторов. «Чёрная зависть», — добавляли другие. Дело кончилось тем, что два новоявленных друга были вынуждены с трибуны каяться. Мардан-абый, седой, курносый, хмуро буркнул, что ошибся, но что хотел только помочь делу, потому что критика — двигатель общества... есть на этот счёт правильное постановление ЦК... Молодые архитекторы с интересом ждали, как будет вести себя Имаметдинов. И что же? Он вышел с таинственной улыбочкой, правда, красный от стыда, а может, не от стыда, а от злости. Пробормотал: «Надо работать, товарищи... Время покажет, кто чего стоит... А насчёт... Извините... Я доверился... Подписал, даже не читая...» Потрясённый Мардан-абый, говорят, с изумлением и страхом смотрел на молодого кучерявого парня, который вот так легко отрёкся от него. «Конечно, они ещё не раз объединятся в будущем и не одну пакость подстроят... Но это в будущем, в будущем... Как хорошо, когда есть будущее. В городе строится прекрасное кафе Миндупа. Проект Русты вернулся из Москвы с наивысочайшей оценкой. А Низам стал «сапожным» лауреатом! Значит,

будет в Казани новая фабрика, и люди получат замечательные тёплые ичиги! Может, не только за границу пойдёт товар, может, и нам достанет. Только надо будет поменьше шутить о выдуманных любовницах Низама — еле отмылся парень от обвинений Мардана-абый... Люди юмора не понимают.

Да, да, а баня — у меня. Проект оставили за мной. Разве это не победа?»

Проект был почти готов. Теперь его можно показать друзьям. А может, им ещё кое-что показать?

Тимер повернул обратно, в лесу хорошо, но к нему должны приехать...

21

Друзья немного опоздали. Чёрная «Волга» остановилась у дверей больницы. Тимер сбежал вниз, на мягкий от жары асфальт двора, и обнял поочерёдно каждого. Ему стало невероятно весело.

— Ты что, — закричал он на Миндупа, как прежде Миндуп на него. — Ты что такой бледный? Дома лежишь, да? Осёл, верблюды, корова. Воздухом не дышишь? Приезжай сюда, вместе дышать будем!

— А ты, — не растерялся Миндуп. — б и г и м у т ! На казённых харчах как его разнесло!

— Давай, давай, ругай... — поддержал Низам. — Мы там воевали за него, а он тут в идиллии.

— Ладно, — Тимер завёл их в свою палату. — Я вам сейчас одну штуку покажу... — Он достал из угла листы ватмана и разложил на койке — Уэт*!

Друзья, толкая друг друга, принялись разглядывать чертежи.

— Это баня? — удивился Миндуп. — Вот это ба-ня!.. Даже под лопатками зачесалось — туда хочу.

— Идеально! — закричал как всегда серьёзный Низам. — Именно такую баню мы и ждали от тебя.

— Да, да... Действительно, без женщин... Тут хорошо, — пробормотал Русти, не мигая. — Но как же ты не учёл кабинетик для его девушки?

— Хватит! — взревел Низам, багровея. — Я тебе выговор вкачу! За то, что ты небрежно оформил полгода назад подписи под своим проектом!

— Ну, ладно, ладно... — примирительно сказал Тимер, собирая листы. И улыбнулся... — Это ещё цветочки. Ягодки будут сейчас...

Он потёр лоб, не зная, решиться или нет, но, конечно, он давно уже решил — руки сами полезли в тумбочку, достали и небрежно кинули на койку новые листы. Парни обступили их и долго молчали. «Неужели плохо? — вдруг похолодел Тимер. — Ведь говорят, так бывает — больному человеку кажется, что он придумал что-то необычное, великое, но, поскольку он болен, теряется внутренний контроль, да и не все силы в наличии... не весь талант... вот и получается на бумаге нечто жалкое, вымученное... Господи, не приведи! Но я же столько времени обдумывал, неужели ошибся?»

Низам обернулся к Тимеру и засопел. Он казался мрачным и растерянным. Но Тимер ошибался — Низам был растроган. Он, косолапя, подошёл к Тимеру и обнял его. Они по случаю жары были оба в рубашках, и Тимер услышал, как стучит сердце Низама и слышал, как гулко колотится его собственное сердце.

— Руку на отсечение — следующая премия твоя, — оттолкнув Тимера, серьёзно сказал Низам. — Обе руки!

Миндуп стукнул Тимера по плечу:

* Уэт — воот! (искаженно-ироническое).

— Ах, ты, баран, пёс, верблюд! Что скрывал от нас, что делал! Вот тебе, пёс, баран, верблюд!

Русти достал из кармана очки, посмотрел в очках на Тимера.

— Убийца! — процедил Русти, — мой убийца. Не говоря о бездарностях, вроде Алика и Мардана-абый.

В горле у счастливого Тимера возник тот самый острый ком, который возникал, когда ему вспоминалась мать. Тимер задохнулся, Тимер кашлянул и вдруг засмеялся... И всё прошло, и ему стало легче. Оказывается, можно и не плакать. Если тебе станет смешно, ком куда-то исчезает. И Тимер смеялся над бедными врагами, которые не работой хотят чего-то добиться, а сплетнями, жалобами, письмами...

— Правда, ничего, да? — спросил он у друзей, и сам, как бы новыми теперь уже глазами, посмотрел на свои наброски...

Он всю весну размышлял про Город Наций. Там будут и голубые небоскрёбы, и церкви, и мечети, и круглые башни, все века и все стили; ему во сне слышалась разноречивая речь, индийские и татарские песни, негритянские, венгерские скрипки... Но однажды Тимер подумал: со временем люди перейдут на искусственный хлеб, на какую-то совсем непонятную еду. Хорошо бы сохранить наши огороды, поля хоть в миниатюре. И он решил так, что на задах у каждого дома будет огородик, как в его родном селе, — и там картошка цветёт, подсолнухи поднимаются, там рожь колосится или рис растёт, или кукуруза... Растения со всего мира... И никаких тебе машин в городе нет. Все ездят на лошадях.

Или в кошёвках, как у председателя, только колёса на резине, чтобы не стучали. Увидели попутчика — остановили, посадили. Лошадям в гриву вплетены ленты. Сбруя украшена золотом. И всюду деревья, деревья. К ним привязаны специальные дощечки, на специальной ниточке висит кусок мела. Мальчишки могут взять и написать: ЛЕНА + ВАСЯ = ЛЮБОВЬ. То же самое на заборах — хотя нет заборов... Можно сохранить один забор и табличку прибить: ЗАБОР. И мельче написать: такими заборами люди раньше отгораживались друг от друга... Что ещё? Посреди Города Наций — большой дворец культуры, как в деревне у Тимера, а лучше назвать его: ДОМ ДЛЯ ВСЕХ. Здесь и кино показывают, и в бильярд играют, и в шахматы, и в нарды, как в Грузии, и в лапту, в городки... Сохранить все игры народные... Здесь плясать учатся, и лопату разглядывают... Да,



конечно, без музея не обойтись. Стоит живая корова, экскурсовод объясняет, как раньше доили молоко... Можно с фермы каждый день новую приводить, чтобы корове здесь не было скучно стоять. И конечно, улья, улья с пчёлами, мёд в чашках тёмно-золотой, настоящий, а не синтетический... И одежды, наряды русских, татар, кряшенов... Обязательно всех, даже самых малых наций... А на магнитофонных плёнках записаны свадебные и похоронные песни, сказы, шутки-прибаутки...

А может, рано думать о Городе Наций? В мире идут войны... льётся кровь... не до этого... Может, будет лучше спроектировать пока небольшой агрогородок, который разрастётся между песчаной горой и лесистым холмом, на месте родного села? Всё оставить, что начертил Тимер, — и сады, и фонтаны, и голубой пруд с золотой рыбой, и лошадей с повозками, и дощечки на деревьях... чтобы жили здесь люди, работающие в сельском хозяйстве, а горожане чтоб с самолётов завидовали: «Как тихо у них! Как чисто!..» «И, приехав к себе домой, взрывали бы асфальт и садили смородину, рябину, берёзу. В Доме культуры, конечно, будет музей кряшенов, хотя бы здесь, в деревне, но свой музей... Сверкнул платки с красными крестиками по краям. Развернуты праздничные платья с рисунками дикого хмеля и ягод. Как будто над людьми парят не платья, а бесплотные тени древних кряшенов. Подумать только — татары, но православные!.. И среди них — мать Тимера. Но это случится только после того, как он умрёт и его дочь, — пусть тогда и возьмут серенькое платьишко матери... А сама она останется вон где — над входом во Дворец мозаика. Люди приближаются — и видят её доброе, терпеливое лицо. И старый внук Чтуп-дедя думает: «Где я встречал эту женщину? На фотографии? Может быть, в газете?..» И вот ведь какая штука — ближе подойдёшь — не похоже, одни драгоценные камни сверкают на стене. А отойдёшь подальше, за дорогу — снова улыбается Фекиля-апа...

Листы, восемь листов — от Города Наций до скромного агрогородка — лежали на больничной койке. Тимер слегка раздвинул шторы, и яростное майское солнце залило золотым светом последний лист — преображённую деревню Тимера, оставив в синей густой тени до поры до времени всё остальное.

— Хорошо, — сказали друзья. — Это очень хорошо...

Через несколько дней состоялось очередное заседание медколлегии, на которой пять минут было уделено и Тимеру. Врач доложил, что его больной практически выздоровел и дарит больнице альбом Корбюзье. Люди в белых халатах рассеянно полистали тяжёлую книгу с блестящими лакированными страницами и перешли к более важным делам.

*Перевёл с татарского
Роман СОЛНЦЕВ.*





ГОД РОЖДЕНИЯ

ОТЕЦ*

*Я знаю – никакой моей вины
в том, что другие не пришли с войны...
Александр Твардовский*

Меня могло на свете и не быть -
хотели до рождения убить.
Летела пуля в голову отца.
Случайный взмах! И капля свинца
попала в руку, в локтевой сустав,
навекы быть смертельной перестав.
Был госпиталь. Блокадный Ленинград...
Я не хочу об этом невпаде!
Я ничего не знаю о войне!
Но дух отца тревожит память мне.

Отец вернулся к матери моей,
его там ждали двое сыновей,
и дочке (старшей) было девять лет,
а нас с Верунькой и в помине нет...
Два брата у меня и две сестры.
Мы друг для друга – разные миры.
Един для всех нас корень родовой.
Войне конец. И наш отец живой!
И я горжусь (кто помнит, тот поймёт):
мой год рожденья – сорок пятый год.

Но первые рассказы о войне
не от отца пришлось услышать мне.

* Мой отец, Алешков Пётр Федорович (1912–1986 г.г.), в 1940 году участвовал в Финской кампании, с 1941 по 1942 год – в Великой Отечественной войне при обороне Ленинграда. Красноармеец 13-й роты миномётного батальона 657-го стрелкового полка. Был дважды ранен.

Отец молчал. Я видел, вертопрах, –
в его глазах застыли боль и страх.
Но брал своё в застолье самогон.
И поддавался уговорам он.
– Петруха, легче станет, расскажи...
– По Ладоге осенней три баржи
из госпиталя раненых везли –
добраться б только до Большой земли.
В блокадном небе «Юнкерс» вдруг завыл
и в три захода баржи разбомбил.
И в ледяной барахтались воде
от взрывов уцелевшие. В беде
мне повезло. Я грёб одной рукой,
готовясь утонуть. Но вдруг с доской
рука в воде столкнулась. Та доска –
моё спасенье и моя тоска.
За край доски (будь проклят этот век!)
ещё один схватился человек,
такой же, видно, раненый солдат.
Коль есть ты, Бог, верни меня назад –
я лучше в сорок первом утону.
Не спрашивайте больше про войну!
Ведь та доска не вынесла двоих.
Я, а не он обнял детей своих...
Отец скрипел зубами, слёзы лил
и матерился так, что свет не мил...

Запомнил я рассказ, когда подрос.
Зачем запомнил – тут другой вопрос.
Я на него ответить не могу...
Я дважды был на сонном берегу
у Ладоги, где думал об отце
и о себе самом – в его лице.
Я был и в Колпино, где на передовой

был ранен Пётр Алешков, рядовой...

Плетёный, чёрный помню тарантас.
Гнедок возил в том тарантасе нас.
Я хлебушек делил с ним пополам.
Мы ездили по фермам, по полям.
Последышем в семье тогда я был.
Отец меня особенно любил.

– Заглянем-ка, давай, сынок, в Бурды, –
сказал отец. – Тут полчаса езды.
Не зря стоит деревня на пути.
И мне нельзя деревню обойти.
Иначе прокляну свою судьбу...
И мы вошли в татарскую избу.
Черёмуха под окнами цвела.
Бабай там жил, абийка там жила.
А на стене – их дочери портрет.
Я понял, что её на свете нет...
Отец мешок зерна в сарай занёс.
– Рахмат, рахмат...
Не обошлось без слёз.
Потом мы пили чай. Бабай молчал.
Лишь белой бородой бабай качал.
Рассказ отца печально слушал он:
– Бибисара́ услышала мой стон.
И к госпитальной койке подошла.
Висела бирка там. Она прочла –
откуда, кто. Узнала, что земляк.
– Как жизнь, солдат?
– Спасибо. Кое-как.
Вот только рана ноет всё сильнее,
но без неё бы стало голодней.
– Солдат, ты шутишь?

Значит, будешь жить.

– Хотелось бы, конечно. Может быть.
Сестрёнка! Если всё же я умру,
ты за меня родимому двору,
когда из ада выйдешь, поклонись,
а мне сейчас, прошу я, улыбнись.
– Ты прав, солдат. Блокада – это ад...
Я до войны попала в Ленинград.
Учёба. Медицинский институт.
Война. Приказ. Я оказалась тут.
Поверь, солдат, на берегах Невы
мы голодаем так же, как и вы.
– Держись, землячка!

Вот наступит мир –
на родине с тобой закатим пир.



— И ты, солдат, держись. Надежда есть...
 Через неделю смог я перелезть
 с кровати на носилки. Ваша дочь
 сумела всё же земляку помочь,
 определив меня на самолёт.
 Я плохо помню тот ночной полёт.
 Конечно, немцы нас пытались сбить.
 В Москве очнувшись, попросил я пить...
 Потом другой был госпиталь, в Перми.
 Так перед смертью хлопнул я дверьми.
 Но почему, бабай, — не знаю сам —
 я здесь, а Ваша дочь осталась там...

Я ничего не знаю о войне.
 Отец, зачем тревожишь душу мне?
 О чём я должен миру говорить?
 Тебя, отец, мне не в чем укорить.
 Я у твоей могилы вновь стою
 и сам себе вопросы задаю.
 Лежишь ты рядом с матерью моей.
 Вас поминают пятеро детей,
 и внуки есть, и правнуки у вас.
 И близится к финалу мой рассказ.
 Отец, на свете снова меркнет свет!
 Ответа нет, ответа нет, ответа нет...

2004

РОДОСЛОВНАЯ

«В лесах зверьё, а в реках рыба.
 Богат мой край — и ешь, и пей!
 Пойдём со мною, неулыба,
 жить вместе будет веселей.

Не видишь разве — ты мне любя.
 Уйду, коль я тебе не мил...»
 Мой дальний предок не был грубым —
 слова медовые дарил:

«Цыганка ты или татарка —
 Поверь — мне это всё равно».
 И целовались двое жарко
 в былых веках. Давным-давно...

Алешковы — русоволосы.
 У Пашенковых кудри — смоль.
 Каких кровей они? Вопросы
 задать столетиям изволь.

Вот мой отец двадцатилетний
 на снимке — чистый славянин.
 А в маме тюркское заметней.
 В большой семье я — третий сын.

Храню их свадебное фото —
 его дорожке сердцу нет.
 Красивы оба. Жить охота.
 И до войны — аж восемь лет.

Отцовский дом... Сижу на камне
 у речки, названной Челной.
 Разноязыкое Прикамье,
 где жизнь прошла, — мой край родной.

Я сам себе слуга и барин.
 Я не чуваш и не мордвин,
 и не удмурт, и не татарин,
 а равный с ними гражданин.

Я на прищур прицельно-узкий,
 не опуская глаз, смотрю.
 Кто я такой? Конечно, русский.
 Не видно разве — говорю...

2013

* * *

Памяти брата Саша

Только услышу: гармонь заиграла —
 сердце на миг встрепенётся в груди...

Лёгкое пёрышко с неба упало,
 утро настало, вся жизнь — впереди.
 Песня исчезнет и... снова приснится.
 Вот я бегу босиком по тропе
 сквозь золотистое поле пшеницы
 солнцу навстречу, навстречу судьбе.
 А за околицей, а на лужайке —
 праздник престольный, Кузьма и Демьян*
 Там на гармошке и на балалайке
 брат мой играет, не нужен баян.
 Песню подхватят и бабы, и девки.
 Сдвинут стаканы молчком мужики.

* 14 июля и 14 ноября в моём родном селе отмечается престольный праздник святых бессребренников Космы и Дамиана, в честь которых названа церковь. *Автор.*

И далеко разлетятся припевки
до горизонта, до самой реки.
– Что за гулянка? Наверно, без спроса? –
скажет начальство. Ответят ему:
– Это Орловка вернулась с покоса,
с дальних лугов – аккурат на Кузьму...
Небо в глазах опрокинется навзничь.
Воздух июльский полынью горчит.
И одноногий Максим Афанасьич:
«Мы победили! – сквозь слёзы кричит.–
Руку подай, одногодок Петруха!
Мне деревяшка житья не даёт!
Мы-то живые. Другим – невезуха,
тем, кто с войны никогда не придёт.
На зиму хватит и сена, и хлеба.
Раны болят? Потерплю, заживёт...»

Русская песня, дороженька в небо,
только услышу – зовёт и зовёт.
Зреет пшеница. Луга покосили.
И нагулялись. Пора и домой.
Как же охота вернуться в Россию
послевоенную, Боже ты мой!..

2015

* * *

Дрогнет рябины ветка
вдруг за моим окном...

Я к середине века
добрым пророс зерном
сквозь чернозём с навозом
в послевоенный быт.
В нашей семье колхозом
не был никто забыт.
В кузнице утром ранним
батька огонь вздувал,
в правую руку ранен,
левой рукой ковал.
Засветло мне на конный
двор – жеребят пасти.
Молится у иконы
мама: «Господь, спаси!»
В зыбке сестрёнка – помню –
сладко спала тогда.
Братья – в лугах и в поле:
лето, покос, страда.
Старшей сестре работа –

веелка на току.
Жарко. И всем охота
с берега да в реку...

Детство за мной живое
катится по судьбе...
Слышали вы, как воеет
ветер зимой в трубе?
Десять коленок острых
рядышком на скамье:



братья мои и сёстры —
пятеро нас в семье.
С печи да на полаты,
кубарем утром вниз:
сёстры мои и братья —
Люба, за ней Борис,
а за Борисом Саша,
значит, за Сашей я,
следом Верунька. Наша
вся на виду семья...

Дрогнет рябины ветка,
и разомкнётся круг.
Видимся, братья, редко,
видимся, сёстры, вдруг.
Сельское всё, простое
вижу теперь во сне.
Солнышко золотое
светит оттуда мне.

2014

ВОСПОМИНАНИЕ О МОЕЙ МАМЕ

От зимнего солнца закапало с крыши
уютного домика бабы Мариши.
С карниза сосульки висят, как свирели,
С них в марте капли вовсю зазвенели,
а к бабе Марише скворцы прилетели,
уселись на крыше.

И внук её, Юрка, беспечен и весел,
на старой рябине скворечник повесил.
Мариша и рада — чирикают пусть
и в дом не пускают унынье и грусть...
Хоть место известно на сельском погосте,
ещё в домовину не просятся кости.
Из города — видишь! — нагрязнули гости:
три сына, две дочери: мама, встречай,
в твоём самоваре — особенный чай!

Все взрослые стали! И хлеба не просят.
Мариша смеётся: «Наверно, не бросят.
Видать, пятерых поднимала недаром»...
А Юрка: «Бабуля, следи за базаром,
ты самая главная в нашем роду!..»

На яблонях почки набухли в саду...

Найдут сыновья молоток да топор —

починят калитку, поправят забор.
А в горнице снохи — и хохот, и топот —
пельменей настряпают, баньку натопят.
Румяны бабёнки, румяны блины!
Сто лет бы жила от весны до весны...

2015

* * *

Вспомню детство у ласковой речки,
что петляет, ключами звеня,
вдоль села, где на летнем крылечке
дожидается мама меня.

Не она ли, в реке полоская
вперемешку с бельём облака
и меня от себя отпуская,
вслед крестила? Ты помнишь, река?

Я вернулся, а мамы уж нету.
И река укоряет с тоской,
что напрасно я рыскал по свету
за удачей, неясно какой.

Где друзья, где бывшие подруги?
На кого опереться в тоске?
Все вернёмся на вечные круги,
проплывая в небесной реке.

А земная река захирела,
и обрушился сгнивший мосток.
Что стоишь? Принимайся за дело!
Кто очистит родимый исток?

2014

* * *

Отряхнул от пыли коврик с чердака.
Не его ль вязала мамина рука?
Постелил у двери — и холодный дом
начал согреваться маминым теплом.

2014

ЛЕТНИЙ СОН

Когда в тепле и ласке
душа найдёт приют,
и соловьи, как в сказке,
в округе запоют...

Среди берёз и сосен,
мелькнув листом резным,
прольётся с неба просинь
над озером лесным.

И льнут к ногам травинки,
и мне легко идти
по луговой тропинке
вдоль Млечного Пути.

В печали нету проку!..
В избушке лесника
несёт меня к истоку
небесная река.

2014

* * *

Приснилась осенью весна,
приснилась Пасха...
В далёком детстве тишина
сиренью пахла.
Что ж, та весёлая пора
теперь у внучки.
А мне за пенсией пора –
целую ручки!
Господь терпел, и я стерплю –
удел поэта.
Я осень всё-таки люблю
и бабье лето.
Но верю: вновь придёт весна.
И внучка ахнет:
– Дед! За калиткой тишина
сиренью пахнет...

2014

* * *

Прощай, холодная зима!
Весна – для подвигов причина.
Весной готов сойти с ума
любой порядочный мужчина –
за взмах ресниц,
за поцелуй,
за нежный шёпот: «Не балуй...»

2015

НЕ РАЗМИНУТЬСЯ

Он свернул налево, я шёл прямо.
Кто кого задел? И в чьей стране?
Человек, похожий на Обаму,
по Анапе шёл навстречу мне.

Я сдержался, а вот он с нахрапом
по-английски что-то говорил.
За моей спиной была Анапа,
а за ней Россия – до Курил...

А потом был суд. Снимите шляпу!
Вы мне подскажите, Ваша честь, –
городок, похожий на Анапу,
рядом с Вашингтоном тоже есть?

В Штаты я, конечно, не поеду.
Русский в тех краях – незванный гость.
Над фашизмом праздновать победу
нам придётся в этот раз поврозь.

Русь моя, цветочки полевые!
Я не толерантен, может быть...
Штраф платить? Так это не впервые,
я готов и негру заплатить.

А наутро (оба мы упрямы,
угадайте, кто из нас свернёт?)
Человек, похожий на Обаму
мне навстречу по морю плывёт...

2014

ПРАЗДНИК В ТАМАНИ

*25 августа – ежегодная годовщина
прибытия казаков на Таманский
полуостров по велению
Екатерины Великой.*

Чистое небо, горячий песок,
солнце и море!
Не холодит поседевший висок
старое горе.
Сердце моё, атамань, хулигань,
удаль не пряча.
Вон собирается снова в Тамань
сила казачья.
Мне поднесут гонорар за стихи –

рыбу на блюде.
Рад я отведасть кубанской ухи,
добрые люди!
Гости из Крыма:
– В Судак приезжай!
– Ладно, приеду.
Выпьем за нашу («Славянку» играй!),
братья, победу!

– Порох сухим, стихотворец, держи –
правда – в таланте.
Мы не оставим свои рубежи
новой Антанте.
Лермонтов с нами. И «Бородино»,
где б ни спросили.
И одолеть никому не дано
силу России.

2014

P.S. Дорогой Николай Петрович! Поздравляю тебя, подлинного русского поэта, с 70-летием! Главное, что хочу тебе пожелать, – вдохновения! Пусть оно сопровождает тебя, когда ты пишешь стихи, когда создаёшь один из лучших современных литературно-художественных журналов России «Аргамак-Татарстан», когда ищешь и находишь талантливых людей и единомышленников, когда общаешься с родными и близкими людьми! Пусть вдохновение всегда сопутствует тебе в жизни настолько, чтобы некогда и незачем было думать о возрасте и неизбежной житейщине! Пусть вдохновение на своих крыльях поднимает тебя над сиюминутной суетой и дарит совсем другой ракурс обзора всего того, что мы называем Родиной! Ты автор прекрасных стихов о любви и верности, о Татарстане и России – стихов, которые греют русскую душу на сквозняках современности, дарят русской душе надежду на лучшее. Оставайся таким на радость всем друзьям, коллегам и читателям ещё много лет! И хотя русские люди не умеют этого делать, но всё-таки по возможности береги себя! Многая лета!

*Диана Кан, член редколлегии
литературного журнала
«Аргамак. Татарстан».*





ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ

МЕДЛЕННЫЕ ПТИЦЫ

(Бытийный круг в поэзии Николая Алешкова)

*...Я по Каме впадаю в Волгу
и взлетаю на Млечный Путь.*

*Зачерпнув из реки небесной
благодати, увижу вдруг
правый берег, покрытый лесом,
левый берег – цветущий луг.*

Николай АЛЕШКОВ

*...Узкая-узкая, дальняя-дальняя
в поле дорога мерещится мне.*

Дмитрий КЕДРИН

В последние десятилетия в русской литературе утвердился мотив возвращения. Как никогда прежде он силён и особенно отчётлив в сегодняшней поэзии. В прозе, сопрягая минувшие времена с настоящим днём, авторами исподволь проводится мысль о неверности пути, которым идёт страна, и о реставрации многих поруганных святынь и постулатов, на которые в прошлые эпохи опиралась русская жизнь. Фактически перед нами тот же мотив, только воссозданный на конкретном материале и закреплённый художественно вычерченными характерами героев произведения.

Поэзия обладает исключительной возможностью преодолевать границы реальности, не говоря уже о линиях, которыми расчерчено наше пространство и время. И здесь уже возвращение выглядит как акт волевой и метафизический, которому воспрепятствовать житейскими, видимыми действиями, практически, невозможно. Именно потому русская жизнь, напитываясь духовными энергиями поэзии, во многом сохраняет себя под давлением западного образа жизни, устроенного с сатанинским лукавством и жестокостью.

Вместе с тем, понимание русского бытия связано с его цельностью, несмотря на многие и многие нестроения в отечественной истории и действительности. В нём есть некая задача, которую русский человек чувствует интуитивно, но обозначенная словами, она теряет свою убедительность и неземной объём и становится очередной сентенцией или философским построением.

Только в поэзии интонация и волшебная способность самого строя речи пронизать невидимые стенки и непреодолимые рубежи позволяет воплотить внятно сокро-

венный смысл и сердечные движения лирического героя и народа, частью которого он себя чувствует.

Интуиция народа бывает подавлена искушениями и заблуждениями, в реальности — иной раз самого кровавого толка. Однако с течением лет эти глубоко спрятанные мысль и чувство набирают силу и заявляют о себе вновь. И потому русская поэзия, не споря с Православной Верой, является хранительницей и проводником народной души — идеального образа русского человека, способного освободиться от всего низкого и поклониться изначально высокому и светлому.

Стихи Николая Алешкова в этой связи могут показаться совсем не сосредоточенным совокупным лирическим высказыванием. И здесь — их тайна, когда за пустяком высвечиваются важнейшие вещи, а за лёгкими словами — смысл, охватывающий жизнь и судьбу.

Его литературная биография охватывает последние четыре десятилетия. Перед глазами поэта прошли события, изменившие страну и её нравы, а сам он, когда-то работавший монтером связи, электриком, диспетчером на стройке, стал одним из любимых русским читателем в Татарстане авторов. Десять книг, множество стихов, опубликованных в периодике, строки проникновенные, иногда несерьёзные. Вот самая краткая характеристика творческого пути Алешкова. Однако есть ещё некая бытийная тропа, незримые шаги по которой связаны со смыслом прожитого и понятого. О ней и пойдёт речь. Но прежде стоит назвать самые общие свойства его лирики.

У Алешкова поэтическая речь проста, порой обыденна, в ней нет литературной изощрённости («я простой и понятный»). Его пейзажные, элегические стихи очень естественны, а природа, как правило, олицетворена. У неё есть характер и повадка, словно у знакомого или прохожего. Это позволяет автору снять дистанцию как между читателем и поэтом, так и между человеком и миром («Август <...> чуть прошёл по листве и с особою охотой по просёлочной траве»; «как невесты, стали чинно с жемчугами да с фатой и берёзы, и осины вдоль дороженьки пустой»).

Обыкновение, повадка его героя — скорее, сельские, чем городские. И тут особенный срез сознания: селянин, живущий в городе, но тоскующий по деревне («деревенским поэтом по Отчизне иду»).

Он — земляной человек, не асфальтовый, и ценит прикосновение порою даже больше созерцания — именно так он входит в природное перетекание света и темноты, предметов и тел. Физика любви почти магнетически притягивает его, но и то, что осталось только порывом в отсутствии телесного соприкосновения, очень значимо: «...необъяснимая словами жар-птицей нежность промелькнёт. Прекрасно всё, что не случится!»

Алешков — один из самых предметных поэтов, приверженных русской лирической традиции. Картины жизни человека и природы у него удивительно точны в изобразительном отношении. Прочитав стихотворение, будто через увеличительное стекло видишь описанное. Причём его строки вмещают в себя и переживание, и затайную мысль: «Отзовётся детство гулко: с лёгкой удочкой в руке по широкому проулку босиком бегу к реке».

В его сюжетах много житейского, ему нравится укладывать в стихи ту или иную реальную историю («достану, молча, книжку записную и что-нибудь о жизни расскажу»). Делает он это с завидной лёгкостью, очень точно прописывая мизансцены и вскользь роняя характеристику происходящего: изображая, осознавая и, одновременно, ведя читателя.

Алешков всегда чувствовал себя поэтом — особенным, отдельным человеком: «Кто-то в небе поймал журавля. Я услышу небесное слово». Но только со временем стало понятно, чем оплачивается такая жизненная роль («с одиночеством дружи»; «всей душою, всюю кровью, птицей в небе — песню спеть»).

*Ах, все мы скитальцы и все богомольцы,
с надеждой и верой глядим в небеса,
как будто бы слышим — меж звёздных околиц
родные зовут нас к себе голоса.*

В этом реальном и духовном скитании хорошо читается «какое-то странное русское чувство: во всём раствориться, от всех убежать». Подобное внутреннее противоречие не понятно иноземцу, оно его раздражает видимой непоследовательностью желаний. Однако способность соединять земное и небесное подразумевает сосредоточенность души и одновременно — её открытость Божьему миру. Поэтому важно отметить неизменные ориентиры, замыкающие пространство, в котором движется поэт, — реальное, смысловое, ценностное: «Свет небесный, хлеб насущный, твердь земли моей родной».

В свою очередь, каждое из понятий, перечисленных в авторской строке, оказывается своего рода входным наименованием целого спектра сюжетов, вполне человеческих и конкретных. Коллизии здесь перетекают на соседнее художественное поле: житейское переключается с духовным, а родное — с повседневным и надмирным. Потому и «хлеб насущный» для поэта связан с «заветным зерном», которое он роняет «на ниву русской речи», со стихами о природе, с любовной лирикой и всем, что сопровождает его в пути по тернистым земным тропам. А развёрнутый образ Родины, сердечный и насыщенный реальными деталями, обладает метафизическим отражением в «небесных» пределах — это не только Святая Русь, но и подвиги подвижников и героев, русский стоицизм и способность к возрождению наперекор тяжести прежних поражений.

Родная сторона у Алешкова — и географическое место, и часть жизни. Не однажды он замечает в своих стихах, что его родина — детство («и забыть нельзя, что есть истоки — чистые из детства родники»). Собственно, так могут сказать многие — для поэзии подобное утверждение не является открытием. Но когда оно воссоздаётся при помощи поэтического образа, органично наполненного оттенками лиц и характеров, подробностями радостей и бед, чертами действительности, которые сжимают оком до границ детского царства, — всякий раз в словах поэта возникает маленькое чудо.

*Вот по лугам вечерним кони
бредут чуть слышно. И верхом,
небрежно повод сжав в ладони,
я восседаю на Лихом.*

<...>

*Озёра плаваются в закате.
И запах трав, и вкус ухи!
Растут из этой благодати
мои негромкие стихи.
И если пристальной глядеться
в судьбу свою и жизнь свою,
я б навсегда остался в детстве,
как ангел в сказочном раю.*

Для поэта детство оказывается не священным — в такой характеристике очевиден сухой ум, но «райским» — невинным, свободным, светлым, доверчивым. Он мог бы привести в стихах свидетельства тягот и горечи, поскольку рождён в год Победы, а послевоенное десятилетие требует от художника суровых красок и жёстких линий. Но Алешков оберегает детскую радость и упоение жизнью от поздних рациональных суждений зрелого человека. И такое отношение — одна из самых твёрдых опор его творческого сознания: «Боже, как же нас в детстве любили! Нам бы, Господи, так же любить».

*А на лужайке Настенька и Ванечка,
две светлорусых детских головы, —
и золотые брызги одуванчиков
рассыпаны по зелени травы.*

<...>

*И над садами дачными рассеялся
вишнёвый и черёмуховый дым,
но не грущу я больше по-есенински,
что я не буду больше молодым.*

<...>

*А на лужайке Настенька и Ванечка
весёлым смехом радуют гостей
и белый пух сдувают с одуванчиков,
и он летит над памятью моей!*

В этой солнечной картине светятся блики счастья — как детского, так и взрослого. Заметим: когда хранит русский человек интуитивное ощущение собственной причастности к роду, тогда и возникает в его душе подобное «райское» эхо...

Умудрённость души и её широта — отличительные черты облика лирического героя Николая Алешкова. Все умозаключения, «хорошие советы» и предостережения ещё прежде автор испытал на себе, и это сказывается в искренности поэтической интонации («ты сам выбираешь — в добре или зле возрастать»). В его стихах не найти амбивалентного отношения к жизни и человеку — здесь поэт открыт, определён. В его голосе слышна сокрущённость, когда он упоминает о своём жизненном пути, который переоценивает и переосмысливает. Бережно берёт всё светлое, живое, порывистое, страстное — и судит свои метания, здесь сюжеты стихотворений достаточно красноречивы.

Размышления о чистоте скрытого душевного родника, который помогает ему освободиться от всего наносного, тяжкого и грязного, почти постоянны в лирике Алешкова («тело моё — грешное, а душа чиста»; «пусть живу, греша, но в стихах останется чистой душа»; «но по ночам я вижу сны, в которых ты меня простила»; «если в пьяном бреду ни за грош пропаду, нет прощенья, мой свет, мне за эту беду»; «да, велика моя мука, но велика и вина»).

Небесный свет струит добро.

*Январский снег, как серебро,
на солнышке бликует.*

*Я опускаюсь в полынью,
чтоб душу грешную свою
очистить — пусть ликует.*

На таком фоне графика смыслов стихотворения об эмигранте-стихотворце, который занят исключительно собственным успехом и благополучием, врезается в сознание читателя правдой о неистинном герое: «Он как поэт здесь никому не нужен. Стихи — давно забытые грехи. <...> Народу ненавистная порода кумира сотворит из ничего...».

Между тем, исповедальные строки Алешкова о родном крае становятся свидетельством не только его лирической биографии, но и самой личности.

*Правый берег, поросший лесом,
левый берег — цветущий луг.*

*Здесь крестьянским ржаным замесом
был я втянут в житейский круг.*

*От истока реки до устья
рыба плещется под волной.*

*Если вдуматься, каждый кустик
мне с рождения здесь родной.
Здесь отец мой всю жизнь трудился.
Здесь мой дом и моя родня.
«Где родился, там пригодился» —
эта присказка про меня.*

Кама — река, на которой прошло детство автора. Словно в духовном видении, он соединяет её течение с жизнью и космосом: «Я по Каме впадаю в Волгу и взлетаю на Млечный Путь». Его герой, вкусив благодати из «реки небесной», внезапно видит родные берега — всё земное, что бесконечно дорого его сердцу. И происходит метафизический цикл слияния земли с небом и неба с землёй. Одновременно возникает, согретое воспоминаниями, странное прикосновение «давней» души героя, ещё не повреждённой беспощадными поздними искушениями, — к его «изношенной судьбе».

Alter ego поэта в стихотворениях — человек довольно буйного нрава. Влюблённый в земное чувствование, в женскую телесную красоту, он совершает поступки, о которых позже горько сожалеет: «Душа, как астроном, тоскует о небесном, а тело о земном!» Кажется, что лирический герой самозабвенно купается в водах жизненной реки и чувствует её течение, а в его сознании нет впечатления возможного конца. Так звери и птицы проживают дни и годы, не подозревая об их краткости и конечности. И это — примета давней, отменённой первым грехопадением и позабытой принадлежности к Раю. Однако для человека всё иначе, ему дано понимание добра и зла и чувство скоротечности времени.

У Алешкова первое и второе восприятие жизни взаимно переплетаются, и возникает движение вспясть: от устья — к истоку, от космоса — к земному уголку. Чувство жизни без предела — как вселенной! — превращает цепь житейских забот в бытийный круг, в котором «небесная благодать» и детство перекликаются, всё самое родное и близкое становится нетленным, а небеса оказываются Отчиной («...из поднебесья летит благая весть, что там, среди созвездий, твоя Отчина есть»). Тут сказывается устройство души корневого русского человека, который может внутри себя соединить землю под ногами с небом над головой. И подобное сочетание будет обладать для него приметамы тёплыми, осязаемыми, знакомыми...

Очень большое место в поэзии Николая Алешкова занимает любовная лирика. Надо сказать, что эта тема по устоявшемуся порядку вещей отдана поэтессам. Ахматова и Цветаева не только подарили русской литературе стихи такого рода, но и как будто обозначили художественную территорию, где женский тип лирического высказывания кажется главным и единственно возможным. Разумеется, стихи о любви у современных поэтов встречаются часто, однако они, практически, никогда не становятся приоритетным направлением их творчества. И Алешков оказывается редким исключением из «цехового» правила.

*Целуй же! Мне твои желанны губы.
Их дикий мёд я только пригубил.
Не мсти за то, что не был однолюбом,
что не тебя сильнее других любил.
Рассудит Бог — лишь он меж нами третий.
А в небесах, где Млечный Путь блестит,
одну лишь душу я хотел бы встретить,
которая за всё меня простит.*

У Николая Алешкова любовная тема выходит из собственных берегов и достигает русской природы, дыхания небес, земной тяги и всего круговорота жизни человека.

Причём начало этого созерцательного движения дано в современности — в таком контексте у поэта нет размышлений над историей и её фигурами.

Стихи его отличаются печальной мудростью и мальчишеской безоглядностью, а также — завидной простотой, когда из реальных деталей возникает метафизическая дымка любовного чувства. Порой он может изобразить, на первый взгляд, избыточное количество подробностей события, что более свойственно прозе, но почти всегда в его строках есть замечательная недосказанность, «послесвечение» слов. В свою очередь, множество реальных черт происходящего придают достоверность стихотворению, после чего рука поэта сообщает тексту «волшебство» — и он оживает...

Алешков обладает способностью передать в строке черты, доступные глазу — и внутренние, психологические: «Как горестно сжаты и плотно желанные губы твои...».

*Птиц щебетанье в прибрежных кустах
то ли на Каме, а то ли на Волге,
ветра порыв, поцелуй на устах —
долгий.*

Как хороша здесь последняя усечённая строка, протяжное ударение в первом слове: и форма торжествует, и чувство царит безраздельно!

Возлюбленная поэта, ставшая затем его женой и матерью сына, ушедшая, но оставшаяся навсегда в памяти — вот центр огромного числа поэтических сюжетов Николая Алешкова и содержание лучших его стихотворений. Он сопрягает семейный лад с природой, сердечное движение у него неотделимо от физической близости.

*Мы оба с тобою не знали греха,
как роща, как озеро. Гладкая кожа
была после бури смиренна, тиха.
Весенние грозы... Ты пашня, я пахарь.
И сроки наступят. И вырастет сын...
Душа твоя — нежная певчая птица —
покажется в просини между рябин.*

Время беспощадно разрушает союз двух сердец, появляется новая семья, приходят другие лирические коллизии. Но память о любимой возникает в стихах Алешкова постоянно, во все последующие годы. И здесь перед нами — жестокий конфликт бытийного кольца и житейского поля. Он неизбывен для всякого человека, теряющего родных и ждущего собственного смертного часа.

Подобная раздвоенность художественного сознания непреодолима для художника, который погружён в телесный мир и затаён в собственных душевных переживаниях. Жизнь духа, несомненно, являет собой некий тоннель в запредельное пространство, однако главным вопросом для человека оказывается вопрос памяти. Узнает ли он в тонком космосе тех, кого любил и берёт, сохранится ли вместе с ним то драгоценное, живое, искреннее, узнаваемое, что делало существование на земле осмысленным и порой счастливым? И поэт обращается к реке, что втекает, кажется, в саму вечность:

*Развей мою печаль, река, развей!
Иная жизнь — и женщина иная.
Возврата нет. Я о любви твоей
как о воде протёкшей вспоминаю.*

Не однажды в стихах Николая Алешкова возникает образ журавлей. Обычно в русской поэзии их полёт связан с наступлением осени, когда птицы и родная земля разлучаются и приходят холода. Однако у Алешкова этот образ связан с возвращением на родину: «Мне журавли под осень прокричали, что я по снегу к матушке вернусь». Здесь — важный, объёмный знак, однако его смысл не выходит за границы

житейского распорядка. Тем не менее, подобная «осенняя» дорога в родные края обретает у поэта черты надмирные, когда «у бездны на краю проплывают медленные птицы к северу, на родину твою».

У Алешкова тезис «пора подумать о душе» неотделим от телесной жизни, он словно бы спорит с ней и примеряется к границам земного существования. Однако при всех таинственных предчувствиях и предзнаменованиях ощущение полноты жизни от детства до старости сопровождает большинство стихотворений поэта.

Но избежать роковых вопрошаний не удаётся и ему: «Мы тоже уходим, сами не зная — куда»; «Легко ли душе возвращаться, откуда однажды пришла?»

*Когда моя душа простится с телом,
не сразу мне закрой глаза, скорбя.
Я, может быть, ребёнком оробелым
в последний миг почувствую себя.
Я, может быть, увижу, как вдали
душа летит к таинственному лону,
и медленные птицы — журавли —
за нею вслед летят по небосклону.*

Величие и грозное содержание беспредельного бытия, куда малой песчинкой попадает освободившаяся от брэнного тела душа человеческая, читаются здесь в образе оробевшего ребёнка, который чувствует ещё только самого себя — как средоточие индивидуальной жизни, полной эмоций и тревожных ожиданий.

Знание пути не отменяет сам путь. Вот почему в стихах Николая Алешкова существуют на равных правах прозрения о бытийном круге и смятение человека, стоящего перед неизведанным и бесконечным пространством. Он сам определяет собственную судьбу и преодолевает трудные, нехоженые тропы.

*Придёт и Пасха. Молодой звонарь
на колокольне свяжет воедино
небесный купол и земной алтарь,
и благовест услышит вся долина.*

Небесное и земное, церковное, мирское и природное взаимно соприкасаются, а молодая сила связывает телесное с духовным под весенним светом Пасхи Господней. Вот где таятся единственные ответы на горькие земные вопросы, к которым каждый подбирает свои слова: тихо, не таясь, коротко и просто.

*Судьбы твоей дорога
лишь тем и дорогá,
что ты поверил в Бога,
что ты простил врага.
Печаль твою излечат
река, притихший лес,
и тёплый летний вечер
и звёздочка с небес...
Пиши стихи, на Млечный
поглядывай покой,
и, может быть, за вечность
зацепишься строкой...*





ВЛАДИМИР СКИФ

ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

* * *

* * *

Шагает мир на тонких стебельках,
Сияет мир хвоинками живыми,
Природу совершенствует в веках,
Былинке каждой сохраняет имя.

Вот завитушки юных ноготков,
Хвоща тысячелетняя метёлка,
Вот поле битвы древних пауков,
А вот бессмертной молнии иголлка.

Мир полон света, ливня и грозы,
Неисчерпаем в Божьем многоцветье,
Где крылышком прозрачной стрекозы
Блестит мой стих
сквозь чёрное столетье.

Пред малою былинкой не солгу,
Иду в веках за истиною долго.
Отыщется ли в жизненном стогу
Не молния, а истины иголлка?

На зимней даче сон глубок.
Я лёг и в бездну провалился,
Где сна таинственный клубок
В заулоч памяти скатился.

В заулке — каменная тишь...
Мне этот сон три года снился:
В том закоулке ты стоишь,
Клубок у ног остановился.

Ах, как бы ночь распеленать,
Что на глаза упала шалью,
А то никак не распознать
Лица любимого за далью.

Приблизить даль, пришторить высь,
Найти бы в них тот вечер гулкий,
Где мы навеки разошлись
В забытом Богом переулке.

Там плачет чёрный голубок,
Там город в уголь превратился...
Ах, сна таинственный клубок,
Зачем ты в память закатился?

ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ

Господа офицеры, да что же такое стряслось?
Господа офицеры, да как же такое случилось?
Нашу Родину шпагой пробилла Вселенская ось,
Или сил сатанинских несметная рать ополчилась?

Господа офицеры, не надо стреляться во рву!
Господа офицеры, сумеите сберечь револьверы!
Я судьбу, как ромашку, горячею пулей сорву,
Но в себя не пальну. Надо жить, господа офицеры.

Господа офицеры, сходитесь на доблестный круг.
Господа офицеры, есть имя святое — **Россия!**
Снова танки — навывлет — пробрили российскую грудь,
Снова русскою кровью родные поля оросили.

Господа офицеры, не бойтесь опальных знамён.
Господа офицеры, гражданскою веет войною.
Снова делят Россию — Россия летит под уклон
Со своею судьбой, со своею бедой и виною.

Господа офицеры, и всё же седлайте коней!
Господа офицеры, и всё же достаньте патроны!
А начнётся война, вас не будет на свете сильней.
Не отступите вы, и не будет иной обороны.

Господа офицеры, вас помнит победная Русь!
Господа офицеры, в вас верит больная Отчизна!
Позовите меня! Я на клич боевой отзовусь.
Никого не предам! Буду верным и в смерти, и в жизни!

СВЕТ

И этот свет издалека, невыносимый, бьющий в душу,
Я обнаружу в час ночной, в холодный, лютый час.
Кто светит мне? Кто там во тьме ещё доселе не потушен?
Кто светит мне, чтоб я во тьме навеки не погас?

Мы с этим призрачным лучом неотделимы друг от друга.
Кто светит мне? Убитый царь? Церковный ли звонарь?
А может, там, в крошечной мгле, где серой рысью скачет вьюга,
Горит небесным фитилём пред Господом фонарь?

Я оторвусь, как пёс цепной, от приковавшей сердце будки,
Возьму, что будет под рукой — клюку или костыль,
Чтоб не разбиться в темноте, чтоб оказаться через сутки
В краю, где злее темнота, зловоннее бутыль...

Свет отдалялся и, увь! — он оказался светом дальним,
Он заманил меня туда, где смрадная река...
Но я очистил этот смрад, прижился в доме привокзальном,
А свет по-прежнему сиял, манил издалека.

Я дальше к свету не пошёл. Одна из истин непреложна:
Пойдёшь на свет, найдёшь извет и выполнишь завет!

И понял я в тиши ночной, что это просто невозможно
Дойти до Бога, но узнал, что есть Господний Свет.

В ДОЛГУ

Я у Всевышнего в долгу:
Меня ловили силы мрака.
Молиться Богу не могу,
Поскольку грешен, как собака.

Я у лесных цветов в долгу:
Я продавал их, чтобы выжить...
Когда-то верил, что смогу
Взрастить цветы и поле вышить.

Я у земли моей в долгу!
Ведь не брала меня забота,
Как мало на своём веку
На пашню уронил я пота.

У мамы я своей в долгу
За все обещанные роли.
За то, что влёт и на бегу
Я причинил ей много боли.

Я у страны своей в долгу,
Что смог *сегодня* оглядеться,
Что дал извечному врагу
Над бедной Родиной слететься.

И если я не помогу
Отчизне, воину, калеке,
Останусь, видимо, в долгу
У самого себя навеки.

СИБИРСКАЯ ХРИСТИАНКА

*И вижу: по реке широкой
Ко мне плывёт в челне Христос.
Александр Блок*

Ей снилось море голубое
И шелест пальм в чужой дали,
Шум белопенного прибоя
И паруса, и корабли.

Она смотрела из Сибири
Туда, где странствовал Христос,
Но средиземной райской шири
Увидеть ей не довелось.

Она цветные сны, бывало,
Запоминала неспроста
И на бумаге рисовала
Морские дали и Христа.

Она увидеть Крым успела,
Где ей казалось: среди волн
Издаেকে, как парус белый,
К ней плыл Христа высокий чёлн.

В ней было столько страстной тяги
К живой библейской красоте!
Но рай остался — на бумаге
И Бог распятый на кресте.

ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Откуда это освещенье
На тихой станции лесной?
Не освещенье — ощущение
Господней выси неземной.

Откуда это воплощенье
Предчувствий — на краю земли,
Где на взаимное прощенье,
А не прощанье мы пришли?

Откуда явное сближенье
Миров на станции лесной?
И неземное береженье
Земного мира надо мной?

Прощенье глаз и губ прощенье,
И даже выговор иной...
Ни капли горького отмщенья,
А замещение виной.

Откуда эти превращенья
На тихой станции лесной?
Жил мир

Прощённым Воскресеньем
И вразумлялся тишиной.

* * *

И мне хватает музыки лесов
И горстки ягод, и тропы небесной.
Дрожащий мир на чашечке весов
Убереги, о, Господи, от бедствий!

Танцующую бабочку спаси,
Малиновую ветку иван-чая
Над временем, над бездной пронеси,
С саранкой молодой не разлучая.

Не позабудь в деревне пастушка,
Спаси, Господь, и озеро, и птицу
И посади живого петушка
На ось земную, будто бы на спицу.

Пускай звенит над Родиной рожок
И грустный Лель над цветиком рыдает.
Поёт на спице русский петушок,
Дружину о врагах предупреждает.

ЗЕМЛЯ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Небеса тяжелеют свинцово,
Леденеет непрочная даль.
И земля Николай Рубцова
Расстиляет в болотах печаль.

Глухо ропщут кусты бересклета,
И стенают леса и цветы,
Окликают земного поэта,
Но леса и болота пусты.

С неба льётся река дождевая...
Нет Рубцова. Не скачет верхом.
Он по небу идёт, окликая
Свою землю сердечным стихом.

* * *

Памятью высвечу душу свою.
Нежную русскую песню спою.
Станут березники мне подпевать,
В горле у сосен слова застревать.

Дальняя родина... Дом. Переезд.
Станция. Линия. Бабушкин крест.
Милые, сердцу родные края...
Здесь упокоилась бабка моя.

Здесь поднимаются к солнцу хлеба,
Здесь моя Родина, пристань, судьба.
Здесь я — работник, послушник и царь.
Светит ромашка, как белый фонарь.

Утро молочное в поле зовёт.
Как дирижабль — корова плывёт.
Где-то вдали затихает пастух,
Ломится огненный в окна петух.

Вешками жизни сияют столбы,
Голуби ходят по верху избы.
Мать в полушалке, как день, золотом
Входит с подойником в утренний дом

И, улыбаясь, как было века,
Мне наливает стакан молока.
Молвит: — Парного испей-ка, сынок!
Вьётся у ног её кошка-вьюнок...

Утро и мама, улыбка её.
Вот оно — диво! и счастье моё!
Так и умру, вспоминая о том:
Мама с подойником, голуби, дом...

* * *

Гроза гремела на полсвета,
Катился гром из тишины.
Ты пряталась под крышей лета,
А я за пазухой весны.

Я по весенним дням шатался,
Там были у меня дела.
Я при весне бы и остался,
Да только ты меня нашла.

Корить, расспрашивать не стала,
Тебе ответы не нужны...
Ты, как щенка, меня достала
Из тёплой пазухи весны.

ПОЗЁМКА

Завивает позёмка земные концы,
Серебрится змейёй
за синеющей далью,
Засыпает осенней реки останцы,
И в душе у меня стекленеет печалью.

И леса, и поля застилает, как дым...
 Человек под собою не чувствует тверди,
 Пропадает в позёмке,
 как будто над ним
 Не позёмка летит, а дыхание смерти.

Протыкает позёмка бревенчатый дом
 И таскает за космы пустое болото...
 И летят над землёй, будто некий фантом,
 И скрипят деревянные крылья заплота.

Вместо стёкол в окне – чёрно-белая мгла,
 И душа не поёт, и дорога затмилась,
 Словно в щели небес вся земля протекла,
 И позёмкой в ночи
 даже тьма задавилась.

ГОЛОС

Памяти В. Г. Распутина

Неужто этот русский голос
 Уже навеки отзвучал...
 Молчун Распутин,
 беспокоясь
 О русской доле, не молчал.

В родной простор
 глядел с любовью
 Незыяснимою, живой.

Писал всей болью, всю кровью,
 Не возвышая голос свой

Над русским домом,
 русским ладом,
 Над светоносною рекой,
 Но голос тот звучал набатом,
 Как в битве на передовой.

Он сердцем собственным латает
 Проритую в России брешь,
 Куда держава улетает
 И с нею тысячи надежд.

Его над бездною проносит
 Несчастий самых горьких вал,
 Но он не мог Отчизну бросить,
 Оставить без любви Байкал,

И снова шёл с сердечной речью
 К своим надёжным землякам,
 К озёрам русским,
 ясным речкам,
 Таёжным далям и лугам.

Ему внимают грады, сёла,
 Родная церковь, тёмный лес.
 Звучит его бессмертный голос,
 Как голос совести, с небес.

18 марта 2015 года





ИСПОВЕДЬ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Воспоминания посвящаю детям войны, погибшим от немецких пуль и бомб, в газовых душегубках и фашистских концлагерях, пережившим полицейские облавы и избиения. Посвящаю детям вильнюсского гарнизона, заточённым гестаповцами вместе с матерями — жёнами советских офицеров в «РУССКОМ ГЕТТО» Вильнюса — лагере Субочяус. Их отцы, советские офицеры вильнюсского гарнизона, служили в полку моего папы, командира полка.

Мой папа — полковник Калиничев Пётр Михайлович, кадровый офицер Красной Армии, командир полка — всегда возил нас с родным братом Борисом с собой. Наша мама умерла рано, и моё детство прошло в воинских частях, в военных городках, часто на границе.

В 1940 году полк, которым командовал папа, был передислоцирован под Вильнюс — столицу Литовской ССР, куда вскоре из Минска переехала вся наша семья. К тому времени папа женился, у его новой супруги имелся свой сын, мой одноклассник. Нас поселили в центре города, на квартире, а не в военном городке. Школа, в которой я училась, находилась на центральной площади, носившей имя Ленина, сейчас в ней консерватория.

В ночь на 22 июня 1941 года в Вильнюсе было очень беспокойно. Папы с нами не было — незадолго до 22 июня он был вызван в Москву. Папа уехал, забрав с собой брата Бориса. С того времени ни об отце, ни о Борисе многие годы я ничего не знала. Ранним утром раздался резкий телефонный звонок. Адъютант папы предупредил нас, что обстановка очень сложная, и он по его приказу приедет за нами — мы должны срочно возвращаться в Минск.



Мы — я, мачеха и её сын Олег — стали лихорадочно собираться. Но адъютант так и не приехал. Что случилось, не знаю. В тот день закончилось моё беззаботное счастливое детство, в жизнь вторглась война.

Немцы атаковали сотнями самолётов все воинские части и, как я поняла позже, сбросили на город хорошо вооружённый десант. Некоторые десантники прекрасно говорили по-русски. Творилось что-то невероятное, невообразимое, неопишное: разрывы бомб, свист пуль, крики и вопли, стоны раненых, всюду валялись трупы. Над городом поднималось чёрно-багрово-красное зарево. Обеспокоенные люди бродили по городу, многие грабили магазины и опустевшие квартиры. Я, ребёнок, ничего не понимала, думала, что это какие-то военные манёвры, свидетелем которых часто бывала, когда папа возил нас в военные лагеря. Но вскоре поняла — это ВОЙНА. Немцы быстро овладели Вильнюсом, чему во многом способствовали литовцы.

Нашей соседкой по дому была полячка Берта, с её сыном Робусем мы дружили, вместе играли, катались во дворе на велосипедах. Робусь учил меня польскому и литовскому языкам, а я его — русскому и белорусскому. Берта заставила нас с мачехой и сводным братом Олегом спуститься в подвал, служивший бомбоубежищем. Несколько раз в подвал заходили какие-то люди в милицмейской форме, спрашивали по-русски, есть ли русские и семья красноармейцев. Мачеха всё порывалась подойти к ним, думая, что приехали за нами, но Берта строго-настроено запретила нам даже рот раскрывать: она случайно услышала, как перед входом в подвал двое «милиционеров» перекинулись парой фраз по-немецки. Оставив Робуса в подвале и наказав ему никуда не высывываться, она через полгорода дворами и околотками повела нас на вокзал. Зная польский и литовский, Берта мастерски заговаривала зубы встречавшимся немецким и литовским патрулям. До сих пор не могу понять, откуда их сразу столько взялось?

Вокзал, слава Богу, из последних сил ещё удерживали наши, стараясь успеть отправиться на восток последние эшелоны. Проверив документы у мачехи, нас буквально воткнули в один из них, на грузовую платформу, — мы толком даже не успели проститься с нашей спасительницей. Не до этого было. В эшелоне ехали дети, жёны красноармейцев, раненые и только что умершие бойцы — вокруг стоны, кровь, слёзы, свистели пули, невдалеке рвались бомбы, разлетались мириады осколков. Вскоре вокзал был оставлен... Опоздай мы ещё хоть немного — всё, конец. Все «комсоставские» семьи были либо расстреляны прямо у домов или в подвалах, либо отправлены в концлагеря.

Газета «Известия» от 19 декабря 1965 года в очерке «Героини мятежного лагеря» (газету я бережно храню и часто перечитываю) писала: «Неуспевшие эвакуироваться жёны офицеров вильнюсского гарнизона были выловлены гитлеровцами и помещены в «русское гетто» — лагерь Субочяус. Их подвиг стоит в одном ряду с подвигами наших воинов». В этот лагерь попали и жёны комсостава папиного полка, некоторых из которых я хорошо знала. Несломленные, бесстрашные — они впоследствии попытались поднять восстание. Естественно, оно было жестоко подавлено, не выжил никто, ни один человек.

Берта, дорогая пани Берта... Она спасла нам жизни. Были в Литве не только предатели и изменники, но и такие, как наша спасительница. Только в 1973 году мне удалось съездить в Вильнюс, навестить нашу бывшую квартиру. Жильцы-литовцы сперва не хотели меня впускать. Я через дверь объяснила им, в чём дело, дала в руки паспорт. Впустили, спасибо. Спустя более чем тридцать лет я обошла последний приют своего детства, сердце щемило, в глазах стояли слёзы. Расспрашивала соседей, но ни о Берте, ни о Робусе узнать ничего не удалось. Я ведь даже не знаю, удалось ли ей

вообще тогда добраться от вокзала к своему сыночку. Позже мой супруг Юрий и сын Пётр тоже побывали около того дома, во дворе, где мы с Робусем играли, катались на велосипеде. В памяти осталась одна-единственная фраза по-польски: «Робусь, проше дач ровер на хвелечку (Робусь, дай, пожалуйста, велосипед на минутку)!»

* * *

Не знаю, как далеко мы отъехали от Вильнюса, налетели фашистские «стервятники», состав полностью разбомбили. А ведь не могли не видеть, что там раненые, женщины, закрывающие собой плачущих детей. Никого, гады, не щадили! И всё заходили и заходили, расстреливая нас из пулемётов на бреющем полёте. Кто-то из раненых сумел выбраться из пылающих вагонов, кто-то нет — сгорели заживо.

Мы, детвора, быстро стали взрослыми, многому научившись. Научились мгновенно падать при налётах. Научились без плача и слёз прощаться с погибшими, всего пять минут назад бывших живыми. Научились безошибочно определять по гулу моторов наши «ястребки» и их бомбовозы, точно различать пустые и гружёные бомбардировщики, пролетают они или заходят на бреющий. До сих пор в глазах стоит рожа одного немецкого лётчика — настолько низко он, сволочь, летел: защитные очки, блестящие золотые зубы, наглая ухмылка. И как он трусливо драпал, завидев наши «ястребки», но их было мало, ой как мало!

Пешком, голодные, оборванные, часто без воды мы пробирались по лесам. Сколько шли — не помню. И какая была радость, когда мы вышли на своих: услышали гудки наших паровозов, куда вышли — тоже не помню. Первый раз мне, слава Богу, удалось выскользнуть из-под фашистов, чудом не попасть в облавы немецких и литовских полицаев. Нас, «бродящих беженцев» и раненых солдат, которых выводили, а подчас и выносили на руках героические женщины — жёны красноармейцев и «комсостава» вильнюсского гарнизона, собирали в один эшелон. Измученные, заикающиеся, с нервным тиком мы добрались до Смоленска. Мачеха, помню, всё совала документы и решительно требовала отправить нас в Минск, где в доме комсостава полка у нас оставалась квартира. На что вконец измотанный, осунувшийся от изнурения, с красными от недосыпа глазами военный комендант устало выдохнул: «Милая, Минск уже у немцев!» «Тогда в Москву, там мой муж!» — не унималась мачеха.

Естественно, ни в какую Москву нас не пустили. Нас «обработали» встречавшие военные медики, накормили, приодели, посадили в целые товарные вагоны-теплушки и отправили в долгий путь на Волгу, в город Аткарск Саратовской области.

Несмотря на глубоко укоренившиеся представления о всеобщем хаосе и бардаке первых дней войны, отмечу особо: всё было хорошо организовано. В пути, на станциях, нас встречали женщины в военной форме, кормили, поили, оказывали, если надо, медицинскую помощь. Сколько ехали — не помню. В Аткарске нас принимали добрые, радушные волжане, жалели беженцев. Помню стройную колонну грузовиков — всюду организация, порядок. На постой нас определили в пустовавшую школу — ведь шли летние каникулы. В классах, коридорах ровными рядами лежали матрасы, застланные белыми простынями. Всех беженцев пропустили через санпропускник (многие успели завшиветь), постригли, подлечили болячки. В школе пробыли недолго, нас распределили по семьям в дома местных жителей. Никто не роптал, наоборот, дружелюбно и радушно приглашали к себе, жалели, узнавая о пережитом. Статус беженца стал официальным.

Мы, дети войны, сильно отличались от местной детворы. Те беззаботно щебетали, веселились, играли в классики, а мы всё вглядывались в небо, вздрагивая от каждого

шума, не могли спать по ночам — перед глазами стояли ужасы страданий, потерь, бродяжничества по дорогам войны. Как сейчас помню, началась гроза, грянул гром, мы, дети войны, бросились на землю, а местная ребятня смеялась над нами, а потом и мы смеялись с ними.

Из Аткарска мы втроём с мачехой и её сыном перебрались на Северный Кавказ, в Кисловодск: там военврачом служила родная сестра мачехи. Она работала в санитарном поезде, который забирал раненых из прифронтовых санбатов и доставлял их в кисловодские эвакогоспитали. Все санатории и почти все школы города переоборудовали в госпитали: раненых бойцов было очень и очень много.

Рабочих рук остро не хватало, мачеха окончила экстренные курсы операционной сестры и устроилась в эвакогоспиталь. Мне пришлось бросить школу и, как и многим другим ребятишкам, помогать в госпитале. Бинтов катастрофически не хватало, их стирали с хлоркой, но бинты при стирке сильно запутывались. В нашу задачу входило распутать их и скатать в тугие рулоны под присмотром старшей медсестры. Работа тяжёлая: руки постоянно ныли, глаза от вонючей хлорки слезились и болели.

Но ещё тяжелее было смотреть на наших раненых солдатиков... Многие без рук, без ног, а сколько их умирало от ран! К выздоравливающим раненым нас, детей, пускали: мы им читали книги и газеты, писали под диктовку письма. Они нас очень любили, ждали, вспоминали своих детей. Некоторые, глядя на нас, плакали. И все старались чем-нибудь угостить, отрывая от своих скудных пайков...

* * *

К великому сожалению, моя судьба сложилась так, что вскоре мне вновь пришлось оказаться под ненавистным супостатом...

Отношения с мачехой и её сыном Олегом складывались очень сложно. Своего сыночка она, естественно, жалела, он учился в школе, а меня постоянно гоняла в любую погоду через весь город в «военторг» занимать в четыре утра очередь, чтоб отоварить продуктовые карточки. А ведь мне ещё нужно было бежать в госпиталь! Но это победы. Чего я совершенно не выносила — она нередко приводила в дом выздоравливающих офицеров из госпиталя. Да, многие вещи мне пришлось познать рано, слишком рано. Понимаю, она — красивая молодая женщина, понимаю, каждый выживал, как мог: офицеры делились пайком, мне тоже перепадало. Но! А как же папа?! Ведь я не сомневалась: он жив! Жив, хоть и не шлёт нам весточек.

Как только потеплело, мачеха решила избавиться от меня, отправив в Краснодар к своей престарелой матери Пелагее Прокопьевне.

Зимний разгром фашистов под Москвой наша пропаганда преподнесла как коренной перелом в войне, многие эвакуированные потянулись на запад. Весной 1942 года, с целью развития успеха, было предпринято мощное наступление Красной Армии под Харьковом, закончившееся провалом. Немцы опрокинули наш фронт, сосредоточив наступление только на южном направлении, стремительно продвигаясь вглубь южной России. Вскоре Краснодар стал прифронтовым городом, стратегическим опорным центром нашей обороны. А я уже ехала туда, куда мне было указано, — к бабушке Пелагее Прокопьевне, можно сказать, «на передовую» в воинском эшелоне, шедшем к линии фронта с выздоровевшими солдатами и офицерами, которые относились ко мне очень внимательно и ответственно. Особенно запомнились молодые лётчики-лейтенанты — они жалели меня, кормили.

До сих пор перед глазами станции Минводы, Невинномысская, Кавказская, Армавир... Вновь всё в огне, бомбёжки, воздушные бои. Оружия у сопровождавших меня

бойцов ещё не было, оставалось только одно — отборный, сочный русский мат. Как я научилась ругаться!

Кругом беженцы, беспризорные дети — голодные, оборванные, обросшие и глубоко несчастные. Они бродили по дорогам, прибивались к воинским эшелонам и санитарным поездам, красноармейцы и сестрички их подкармливали. Некоторые счастливицы так в них и оставались — их забирала с собой. Мечта всех детей войны — стать сыном или дочерью полка или, на худой конец, помощником в санитарном поезде. Но все мы хотели только одного: мстить, мстить, мстить! Мстить за недетские страдания, за гибель матерей и отцов, за отнятое, поруганное детство, за своё сиротство.

Летом 1942 года мои опекуны-лейтенанты доставили меня к бабушке, она жила на улице Октябрьской, дом 3. Как же я умоляла их взять с собой в полк! Но они только шутили: «Подрастай!» Я была очень маленького роста. У меня были белые волосёнки и, как все говорили, грустные голубые глаза. Прочитав письмо, бабушке стало дурно: она была старенькая, больная, бессильная. У неё не было запаса продуктов на себя, не то что на меня. Так началась наша тяжёлая, жестокая борьба за выживание.

А немцы всё приближались. Я ходила с женщинами на брошенных колхозные поля собирать колоски, початки кукурузы, в брошенных садах собирали фрукты. У меня появилась новая подруга — еврейка Сима. Их семья жила неплохо: свой дом, сад, огород. Её отец воевал на фронте. Они были очень добры ко мне, жалели, подкармливали, передавали что-нибудь и для бабушки.

Вскоре в городе начались уличные бои — я видела их своими глазами. Опять повторение вильнюсского кошмара: бомбы, снаряды, пули, горящие дома, убитые и раненые. То наши теснили немцев, то они — наших. Мы сутками отсиживались во вырытых в земле траншеях.

В часы затишья я вместе со старшими разбирала продукты в брошенных разбитых магазинах и складах. Многие склады были подожжены, чтоб ничего врагу не досталось, на многих висели таблички «Заминировано». Помню, как наши взорвали кондитерскую фабрику — по склону в Кубань текли вязкие тёмные ручьи сладкой патоки. Мы кинулись набирать её в банки, склянки, вёдра, горшки, кастрюли. А тут очередной налёт! Под пулями и осколками бомб мы продолжали таскать спасительный продукт. Но некоторые так и остались лежать в грязно-сладкой жиже. Пелагея Прокопьевна была не в силах меня сдерживать, звала «бисова душа» и колошматила, чем попало, чтоб я сидела дома. Но потом всё же призналась, что без меня, «бисовой души», возможно, и не выжила бы: тех продуктов, что я, рискуя жизнью, натаскала в дом, хватило на несколько месяцев.

После тяжёлых кровопролитных боёв 12 августа 1942 года в Краснодар, треща моторами мотоциклов и лязгая гусеницами танков, вошла фашистская нечисть. Началась оккупация — каждый год я вспоминаю этот печальный день. Вместе с немцами в город вступили и румынские части. У румын была другая форма, на пилотках красовались какие-то знаки различия — «ромашки». Они были ещё хуже немцев. Шумной, крикливой, базарной манерой поведения очень напоминали цыган. У меня сложилось впечатление, что и сами немцы не любили и презирали таких союзников. Румыны, мы называли их «мамалыжники», были очень злыми, в открытую грабили и били местное население, насиловали женщин и всё рыскали-рыскали, искали партизан, которых панически боялись.

Мост через Кубань был разбомблён, многие не успели эвакуироваться, в том числе, мои еврейские кормилицы — семья подруги Симы. Помню, как мы, ребяташки, бегали к Кубани — по ней проплывали трупы военных и гражданских, иногда попа-

дались раненые, вцепившиеся во что-нибудь плавучее. Местные жители старались их выловить, но, как правило, спасённых фашисты тут же добивали.

Бабушка строго-настрого запретила мне даже заикаться кому бы то ни было о том, что я дочь полковника Красной Армии: концлагерь, если не расстрел, нам обоим был бы гарантирован железно.

В городе появилась местная «власть» — полицаи: невесть откуда повывлазившие разномастные подонки-предатели из местных жителей, а также дезертиры, уклонисты, изменники. Они ненавидели советскую власть, впрочем, по моему глубокому убеждению, вообще всех и вся, а потому свирепствовали ещё хлеще. Ходили полицаи в чёрной форме, за голенищем сапога у многих плётка. Ох, сколько же раз мне, девочке-блондинке, доставалось плёткой по спине и ниже почти ни за что: залезла в брошенный сад, раздобыла доску для протопки жилища, а иногда и просто так, для острастки. Начались бесконечные переписи, облавы, ввели комендантский час: действовали партизаны, которых вся эта мразь очень боялась.

Полицаи участвовали и в карательных акциях вместе с частями СС. Они выслеживали и вылавливали молодых девушек — красавиц, кубанских казачек — сгоняли их к вокзалу, многих насилывали. Перед глазами страшная сцена погрузки их в эшелоны для угона в Германию: их затаскивают в вагоны, они вырываются — кругом крики, рыдания, стенания, их матери бросаются в ноги полицаям, умоляют вернуть своих родных кровиночек, но всё бесполезно. Совершенно случайно довелось стать и свидетелем сцены ареста подружки Симы и её семьи. Вокруг немцы с лающими овчарками, а полицаи тащат их в грузовик, помахивая плётками. В последний раз я видела Симочку, запомнив её с маленьким узелочком в руках, личико бледное, заплаканное.

Мне было всего одиннадцать лет, меня миновала судьба тех несчастных детей, девушек и женщин, которых угнали в Германию или, ещё хуже, в концлагерь. Выручало знание азов немецкого языка — ещё в Минске папа приглашал учительницу немецкого, и мы года два с ней занимались. Знание немецкого действовало на полицаев отрезвляюще, да и немцы нередко улыбались.

Зима 42–43-го годов выдалась на Кубани убийственно холодной: температура опускалась ниже тридцати — большая редкость для этих мест. Топить было нечем, все заборы разобрали, спилили деревья, разломали мебель — сожгли всё, что горит и греет. Мы, несколько детей со двора, приспособились на трескучем морозе своими маленькими замёрзшими ручонками выбирать из кучи шлака куски несгоревшего угля и тащить его в вёдрах домой. Около кучи стоял пост: рядом находилась немецкая комендатура. Немецкие солдаты разрешали нам набирать, особенно когда я что-нибудь бормотала по-немецки.

Однажды, когда мы уже почти наполнили свои вёдра, немца на посту сменил румын. Замёрзший румынский вояка, натянувший поверх какую-то женскую одежду, сразу стал нас прогонять, бить прикладом винтовки, а потом уже собранный нашими больными ручками уголь высыпал в глубокий снег. Я залезла в сугроб, чтоб спасти хоть какие-то кусочки угля, а эта тварь, гнида, мамалыжник вонючий, смотрел и смеялся. Чуть не плача от обиды и собрав последние силы, я вылезла из сугроба и в сердцах крикнула ему: «Гад! Паразит! Вот прилетит мой папа и бомбу на тебя сбросит!» Боже, как он зверски меня избил! Втаптывал своими коваными сапожищами в сугроб и что-то верещал «по-цыгански», как сорока. Дети побежали домой, сообщили взрослым во дворе, они притащили меня к бабушке, и я три дня лежала, не в силах встать, харкая кровью.

Пелагея Прокопьевна пошла жаловаться в городскую управу. К чести немцев, они провели разбирательство и, видимо, допросили того румына, потому что вскоре

пришли теперь уже выяснять, почему ребёнок так сказал. Бабушка приказала мне мычать в углу, а сама, прикинувшись полудурой, запричитала, мол, девчиночка не в себе, всё выдумала, а отца её якобы забрали в НКВД, чего её слушать! Хорошо, что обратное никто не мог подтвердить: в городе меня не знали. Немцы покрутились-покрутились да ушли, обошлось, слава Богу.

Помню, как-то ночью, уже под утро, немцы сбили наш «небесный тихоход» По-2, прилетавший сбросить бомбы на их расположение возле водокачки. Подбитый самолёт прощуршал над домами и опустился на прибрежные камыши около Кубани. Рано утром мы, ребятишки, побежали посмотреть и, если надо, позвать на помощь взрослых. В самолёте находились две лётчицы, «ночные ведьмы», как звали их немцы, — светловолосые молодые девчонки, шлемофонов на них не было, на груди награды. Одна девушка, по-моему, штурман, была мертва, а пилот тяжело ранена, стонала, просила пить. Но ни напоить, ни оказать помощь лётчице ни мы, ни прибежавшие женщины не успели: к самолёту неслись две немецкие машины, бежали полицаи. Мы спрятались в кустах. Один из эсэсовцев в чёрной форме со свастики на груди, взобравшись на крыло, не спеша передёрнул затвор «шмайсера». Раненая лётчица, собрав последние силы, попыталась вылезти из самолёта, но гад-фашист, ухмыльнувшись, добил её из автомата. Их тела увезли. Немцы решили провести пропагандистскую акцию. Как рассказывали очевидцы, целый день по городу ездила открытая, охраняемая полиция, машина с телами тех лётчиц. Ветер трепал их спутавшиеся светлые волосы, а вражеский матюгальник пафосно вещал: «Победа великой «непобедимой» Германии близка! Все мужчины перебиты, поэтому большевики посылают воевать женщин! Да здравствует великий фюрер!»

Этот эпизод перепахал мою душу. Я всю жизнь собирала материалы о своих кумирах — отважных лётчицах ночной бомбардировочной авиации, вырезала статьи о них из газет и журналов, в сотый раз перечитывала книгу А. Магид «Гвардейский Таманский авиационный полк». Вечная им слава!

Тем временем наша доблестная Красная Армия перемолола армию Паулуса, победила в Сталинградском сражении и перешла в стремительное наступление. Наш прорыв грозил окружением и разгромом всей южной группировки войск гитлеровцев, поэтому они стали спешно отступать, не успев оставить после себя пепелище — самим бы ноги унести. Морозы крепчали. Хорошо помню ту жалкую отступающую рать. От прежней помпезности и бравады не осталось и следа — пилоточки, поверх них женские платки, шарфы, одни носы торчали. Румыны вообще испарились ещё раньше своих немецких хозяев. Уходили и полицаи. Кто не смог, сдавались сами и сдавали нашим своих же.

13 февраля 1943 года наши входили в Краснодар — я каждый год праздную эту дату. Мы, ребятня, радостно метнулись к нашим бойцам и... оторопев, замерли в растерянности, увидев непривычные для нас, южан, белые овчинные полшубки и непонятные погоны вместо треугольников, кубиков и шпал на петлицах. Но бойцы, видя нашу растерянность, рассмеялись: мы, мол, свои-свои, родные... Наши отцы воевали на фронте, мы наивно расспрашивали, не видели ли они их, не знают ли, называли фамилии. Бойцы нас обнимали и обнадеживали: все папы скоро вернуться домой!

Неуспевшие слить полицаи получили по заслугам, наиболее одиозных из них судили открытым судом в Краснодаре, вынеся приговор — казнь через повешение. Ещё в войну мне удалось увидеть в кинотеатре документальный фильм «Приговор народа» про этот процесс, в наши времена я не раз пересматривала его по интернету. Одного из полицаев, предателя по фамилии Пушкарёв, я вспомнила. Поделом им!

Так закончилась полугодовая фашистская оккупация Краснодара. Сейчас, оглядываясь назад, в прожитую жизнь, не могу понять, вновь и вновь задаваясь вопро-

сом: «Кто же хранил меня в этой адской круговерти? Как мне удалось выжить среди смертей, в голоде, холоде и бомбёжках?»

* * *

Порядок в городе восстанавливался быстро, заработала почта. Мы с полюбившей меня Пелагеей Прокопьевной, списавшись с мачехой, стали собираться в Кисловодск. Всю мебель мы сожгли, продуктов нет, я вся оборванная, а главное — у бабушки не было сил совладать со мной. Полицаев нет, плёткой никто не лупит, всюду свои, можно свободно ходить по улицам, рассказывать о папе, о пережитом.

Долгий путь обратно в Кисловодск в товарной «теплушке» был тяжёлым. Кругом руины и разруха, бродячие беспризорные дети. Но жизнь налаживалась всюду: работала милиция, проверяли документы, отлавливали беспризорников. На перронах всех станций под вывесками «Кипяток» — кипячёная горячая вода для всех желающих.

В Кисловодске меня ждала трагическая весть: мачеха получила извещение, что мой папа — полковник Калинин Пётр Михайлович, начальник штаба дивизии, 20 августа 1941 года пропал без вести у деревни Петрухново под Ленинградом. Не могу передать своего состояния: три дня я не ела, меня трясло, глаза распухли от слёз.

Я твёрдо решила сбежать на фронт, но ещё в Минводах меня поймала милиция и отправила домой. Совладать со мной было очень трудно, хотя я исправно продолжала работать в госпитале «бинтомоталкой». Вновь отбытие повинности по занимаемой очереди для отоваривания карточек в четыре утра, пока мой «братец» сладко спал, вновь бесконечные «гости» мачехи. Отношения с ней становились всё нетерпимее. Стоит добавить, что, пока я «гостила» у бабушки в Краснодаре, она преспокойно продолжала получать на меня продуктовые карточки.

И вот однажды мачеха собрала небольшой узелок, отвезла меня в Пятигорск и сдала, как ненужную вещь, в детскую комнату спецприёмника милиции для беспризорников. Столь подлое предательство и меня, и светлой памяти моего папы — её мужа, сопровождалось неслыханной наглой ложью, байкой о том, что она-де мне никто, что «эту девочку» она, «по доброте душевной», якобы подобрала на рельсах, а мать, мол, её погибла при бомбёжке. Мачеха скрыла, что мой папа — её муж, заодно расписав, какой я трудный, вольнолюбивый, неуправляемый ребёнок. Я горячилась и, раскрасневшись, кричала, что это — «моя мама» (ведь так я её звала на самом деле!), но доказать ничего не смогла. Поверили ей — взрослому человеку, а не мне — ребёнку. Да и времени и возможностей детально разбираться во всём этом у милиции тогда не было. Так я там и осталась... С тех пор в моих «личных делах» было записано: «отец-полковник погиб на фронте, мать погибла при бомбёжке».

В детприёмнике обитали дети всех возрастов, их собрали по вокзалам, рынкам, разрушенным зданиям, лесам. Мы, военные сироты, быстро сплывались и сдруживались. Воспитателями работали женщины-милиционеры — милые, добрые, но строгие, хотя обходилось без затрещин. Хочу особо отметить, что в милиции тогда служили, в основном, женщины, ни в чём не уступавшие мужчинам, — ответственные, храбрые, бесстрашные, даже отчаянные, но милосердные и человечные.

Нас отмыли, постригли, обработали от вшей, накормили, спали мы на чистых простынях. Из детприёмника большой группой под охраной вооружённых милиционерш повезли в Горнозаводский детский дом для трудновоспитуемых детей Советского района Ставропольского края. Однако в Минводах, несмотря на бдительную охрану, несколько ребят всё-таки сбежало, найти их не смогли. От станции Аполлонская (название, возможно, неточное) до детдома шли пешком почти два дня. Ночевали в

каком-то клубе на стульях. По пути — в станицах — жители встречали очень дружелюбно, жалели нас, оборванных и голодных, кормили кто чем богат.

В детдоме у всех были ключики, у меня — «Полковница»: я всем рассказывала о папе и плакала, всё равно веря, что он жив, хотя и «пропал без вести». Всё делали сами: косили сено, работали на кухне и в прачечной, собирали дикие фрукты по лесополосам, помогали пасти скот, вкалывали в поле. Одеты — кто во что, обуты в грубые ботинки из свиной кожи с деревянными подошвами. В жилых комнатах были окна без стёкол, просто заколочены досками. Топить нечем, мы ходили километров за семь запасать дрова. Воспитательницы прекрасно к нам относились, и мы, изголодавшиеся по доброте и ласке, любили их, слушались. На память о пребывании в детдоме у меня осталась незаконченная наколка на руке: один малолетний «авторитет» силой хотел выколоть своё имя, но мне удалось вырваться и убежать.

Однажды, уже в осеннюю распутицу, к детскому дому подъехали два «студебеккера» в сопровождении молодого лейтенанта: они доставили нам подарки «от Черчилихи» (так мы звали супругу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, известную своей благотворительностью) — одежду, тёплые вещи. Пока лейтенант оформлял документы, а шофёры увлечённо общались с нашими воспитательницами, мы незаметно, почти профессионально стащили из кузовов часть вещей, тут же их надёжно спрятав. Обнаружив пропажу, лейтенантик раскричался на нас, размахивая пистолетом, — мы, наивно хлопая глазёнками, стояли вокруг с невинными лицами, прекрасно понимая, что стрелять он ни за что не станет. Тогда он взмолился: «Ребятишки! Милые! Не надо... Это же всё для вас! Меня же отдадут под трибунал!» Пришлось всё добровольно вернуть.

В октябре 1943 года по личному указанию товарища Сталина были организованы специальные ремесленные училища (спецРУ) на полном государственном обеспечении, в которые брали военных сирот, детдомовцев, беспризорников, а также, по желанию, детей из многодетных семей. Из нашего детдома отобрали девочек с образованием не ниже четырёх-пяти классов и послали в пятигорское Специальное женское ремесленное училище связи № 13. Мальчишки поехали в Ставрополь — в спецРУ металлистов.

Некоторые девочки, в том числе и я, не смогли выдержать экзамены, ведь столько не учились! Но, к счастью, назад в детдом нас не отправили, дав возможность подтянуть свой образовательный уровень в подготовительных классах, поэтому учились мы в РУ на год-два дольше остальных. Обмундировали нас в гимнастёрки, юбки, стёганки — всё б/у, не по росту, на головах береты. Как же мне было жалко расставаться с подарком Черчилихи — полюбившимся синеньким пальтишком, я так просила его оставить! Но порядок есть порядок: пальто вернулось обратно в детдом.

Организация жизни в училище была почти военная — отделение, взвод, рота, в каждом подразделении командир из своих. Дисциплина, строевая подготовка, ходили только строем, даже одно время отдавали честь. В город — только по «увольнительной», за провинность — «наряд вне очереди». Военрука Коленкина А.А., инвалида войны, мы очень любили — строгий, но добрый, Человек с большой буквы. Он научил нас отлично стрелять, метать гранату, грамотно исполнять все воинские команды.

Но главное, в РУ мы не только грызли гранит наук в объёме семи классов, но и обучились работе на различных станках, получили прекрасную специальность радиста-оператора, став впоследствии классными специалистами. Помимо учёбы работали на заводе, разбирали разрушенные здания, тянули электропроводку, ставили столбы для проводного вещания — копали для них ямы, шкурили, смолили. Словом, лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» относился к нам в полной мере.

Летом, кому некуда было уехать на каникулы, работали на колхозных полях и садах. Никаких перчаток и в помине не было, все руки в нарывах. Помню, как однажды объелись абрикосов и ядрышек из их косточек — и отравились. Нас «откачивали» военврачи и медбратья из расположенной неподалёку воинской части. В пятигорском парке культуры и отдыха рыли озеро, таская носилки с мокрой галькой, босиком, по щиколотку в холодной родниковой воде. Но стойкие, закалённые, непряхотливые — выдерживали всё.

У нас в училище была прекрасная художественная самодеятельность, один хор насчитывал около двухсот участниц. Ещё и петь научились отлично. Руководил хором лейтенант подшефной воинской части Леонид Алексеевич Ярьеско. Он был нашим кумиром, девчонки постарше даже влюблялись в него, писали записочки. Впоследствии Ярьеско стал художественным руководителем народного казачьего ансамбля песни и пляски «Терек», получив высокое звание заслуженного артиста РСФСР. Аккомпанировал хору на баяне тоже лейтенант В. Нахман, и танцы ставил лейтенант А. Байдовлетов. Концертная бригада училища, куда входила и я, регулярно выступала перед ранеными в госпиталях, на открытой сцене в Цветнике. Наши выступления пользовались огромным успехом. Ещё и спортом все, по возможности, занимались. Я была чемпионкой Ставропольского края общества «Трудовые резервы» по бегу на короткие и средние дистанции.

Сводки Советского информбюро, политзанятия тоже были частью нашей жизни. Как мы радовались нашим военным успехам, отмечали на картах продвижение Красной Армии на запад. Особенно радостным для меня было сообщение о взятии столицы Румынии Бухареста и вдвойне — что «одумавшаяся» Румыния объявила войну Германии. Откровенно говоря, меня это даже не удивило, как впоследствии говорил один персонаж из кинокомедии «Гараж»: «Вовремя предать — вовсе не предать, а предвидеть!» Вот только не желала я ни одной немецкой девочке быть, подобно мне, втопанной в землю сапогами того уroda, которого, надеюсь, наши всё же «шлёпнули».

Пишу и реально осознаю, что, несмотря ни на что, никогда больше я не видела такого всеобщего подъёма, самоотверженного порыва, сплочённости и единения народа, как в те годы, никогда столь отчётливо не ощущала себя частичкой огромной великой страны — Советского Союза, который мы, спустя десятилетия, что бы мне ни говорили, так бездарно профукали...

* * *

Но самым светлым, самым радостным, долгожданным и незабываемым праздником стал великий День Победы 9 мая 1945 года!

Подъём в училище был обычно в шесть утра, а тут вдруг раньше. В радиоточке что-то зашуршало, защёлкал метроном... Мы уже радовались 2 мая, когда сообщили о падении Берлина, и вдруг родной, неподражаемый, бархатный голос Юрия Левитана торжественно возвестил: «Наше дело правое, враг побеждён! ПОБЕДА!!! УРА!!!»

Ликование было неописуемое! Мы, как сумасшедшие, стали скакать на своих койках, обниматься, целоваться, плакать, подбрасывать вверх всё, что попадалось под руку. Дежурная воспитательница не знала, что с нами делать, пробовала успокоить — какой там! Потом и сама стала с нами плакать от радости. Мы все выбежали на спортплощадку, кричали, танцевали, плакали, пели, прыгали. Вокруг училища стояли частные дома, из них тоже выбежали жители и стали вместе с нами радоваться, обниматься, плакать. Это была всепоглощающая радость, высшее счастье!



К тому моменту прибежали в училище военрук, воспитатели, учителя, мастера производственного обучения — все те, кто нас воспитывал, учил, кормил, обшивал, лечил; у многих в руках были цветы. Наш израненный военрук — майор, фронтовик — быстро взял ситуацию в свои руки. Нам выдали парадную форму, объявили праздничное построение. Торжественно вынесли красное знамя училища, мы с большим воодушевлением исполнили «Гимн Советского Союза». После митинга и праздничного завтрака пошли к подножию горы Машук, нарвали букеты ранних весенних цветов — тюльпанов, нарциссов, маков — и строим, с песнями, маршем через весь город пошли в госпиталь к раненым бойцам. Все жители города вышли на улицы — добрые, гостеприимные, хлебосольные пятигорчане угощали друг друга, наполняли сосуды красным виноградным вином.

В госпитале раненых уже угостили фронтовыми «ста граммами», они восторженно встретили нас. «Ходячие» пытались танцевать, «лежащие» — петь, и плакали. Вокруг них хлопотали врачи, сестрички, нянечки, тоже весёлые и радостные, но строгие. Наша концертная бригада исполнила любимые песни бойцов — «Синий платочек», «Вася-василёк», «Тульская винтовочка» и другие. Я, как сейчас помню, читала стихи Исаковского «Слово к товарищу Сталину»:

*«Тот день настал. Исполнились сроки.
Земля опять покой свой обрела.
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий,
За Ваши многотрудные дела!»*

Во второй половине дня на городском стадионе было торжественное построение училищ «Трудовых резервов» Пятигорска — РУ № 2, ФЗУ № 7 и СпецРУ связи № 13. Состоялся торжественный парад, праздничный строевой марш, митинг, поздравления руководства с великим Днём Победы и постановка наших задач на будущее.

Вечером мы долго не могли уgomониться — непередаваемые эмоции, радостное перевозбуждение переполняли нас. Но дисциплина есть дисциплина! Военрук скомандовал: «К построению!», мы выстроились повзводно на вечернюю проверку, ещё раз вдохновенно исполнив «Гимн Советского Союза», — и отбой! Однако дежурившая в тот счастливый день воспитательница Глафира Андреевна не была строга, как обычно, и мы до глубокой ночи, сидя на койках, вслух мечтали, как вернуться с фронта наши папы, найдутся братья и сёстры, с которыми разлучила нас война, и как мы счастливо заживём в мирное время...

* * *

В ремесленном училище мы продолжали осваивать специальность радиста-оператора, пришлось поработать на телеграфе и на почте. Мастер производственного обучения А.Х. Поцелуйко был классным радистом, своему мастерству он обучил и нас, дал начальные знания по электротехнике и радиотехнике, научил работать на радиостанциях того времени — аппаратах «Бодо», «Морзе», СТ-35. Завершили мы и получение семиклассного образования.

В 1947 году на смотре художественной самодеятельности в Ставрополе я случайно встретилась с мачехой. Она пригласила меня к себе, слёзно просила прощения, отдала альбом с папиными фотографиями. Улучив момент и припомнив свои воровские навыки, мне удалось стащить у неё папины швейцарские карманные часы на цепочке. На их обратной стороне выгравировано: «Майору тов. Калиничеву П.М. За боевую подготовку. Нарком обороны СССР. 1/XI-1936 г.». Ныне это наша главная семейная реликвия.

После окончания ремесленного училища разрядкой краевого управления «Трудовых резервов» я была направлена на работу радисткой второго класса в пятигорский аэропорт. Большинство лётчиков, техников, работников обслуживающего состава были бывшими фронтовиками, у всех боевые награды. Я очень гордилась тем, что работаю в таком солидном коллективе. И в мирное время наши соколы работали на совесть, летали смело, часто в нелётную погоду, что было непросто с учётом специфики горной местности.

Меня все звали «Люся-радистка», выбрали секретарём комсомольской организации аэропорта. Одновременно я поступила в восьмой класс вечерней школы рабочей молодёжи № 1 города Пятигорска. Моими одноклассниками были умудрённые опытом взрослые люди, не сумевшие из-за войны получить образование, много бывших фронтовиков. Учились и действующие молодые офицеры из частей, дислоцировавшихся в Пятигорске и его окрестностях. Их мечта — продолжить учёбу в военных академиях, которую многие осуществили (я долго со многими «вечерниками» переписывалась). Все учились с огромным желанием, троечников не было вообще.

Квартировала я тогда у своей бывшей учительницы географии из ремесленного училища — Хирьяновой Марии Семёновны и её старенькой мамы Екатерины Ивановны. Муж Марии Семёновны — майор Хирьянов Иван Данилович — погиб в 1944 году, освобождая Польшу, маленький сынок умер от скарлатины во время войны. Наши опалённые войной сердца потянулись друг к другу, на многие годы завязались тёплые, почти родственные отношения. Я полюбила Екатерину Ивановну. Впоследствии мы ездили друг к другу в гости, я даже привозила к ним «на смотрины» своего жениха, будущего мужа Юрия. Свои нерастраченные материнские чувства Мария Семёновна излила на нашего сына Петра, который считает её своей бабушкой.

В конце 1950 года через общество Красного креста и Красного полумесяца меня разыскал родной брат Борис, ныне полковник в отставке. Моей радости не было предела! Всю свою жизнь он посвятил розыску нашего папы, изучал материалы Центрального архива Министерства обороны, не раз ездил по местам боёв его дивизии в Ленинградской области. Но никаких следов папы найти не удалось, выяснилось только, что он всё-таки погиб...

После окончания «вечёрки» я распрощалась с милым, тёплым Пятигорском, с его добрыми, душевными, гостеприимными жителями, с городом, который приютил, вырастил, воспитал меня, дал образование, отличную специальность. В 1951 году я успешно сдала вступительные экзамены в Ленинградский электротехнический институт связи (ЛЭИС) имени профессора М.А. Бонч-Бруевича на радиофакультет.

В институте также было много студентов из фронтовиков, демобилизованных офицеров Советской армии, учились бывшие блокадники, иностранные студенты. Обучение, естественно, было бесплатным, всем иногородним предоставили общежитие, выплачивали стипендию, на которую вполне можно было прожить.

Приятно, что в РОНО Советского района Ставропольского края, где находился мой детдом, меня не забыли, а одна из руководителей РОНО товарищ Лобода знала лично по выступлениям самодеятельности. Приятно, что на мою просьбу переоформить справку о нахождении в детдоме (это давало возможность получать стипендию на первом курсе с парой «троечек») они откликнулись мгновенно, прислав новый документ. Даже приглашали на лето в родные места.

После окончания ЛЭИСа по распределению я приехала в Казань на завод «Радиоприбор». Помню, что имелась возможность остаться в Ленинграде, но в последний момент мелькнула мысль: до Казани немцы дойти не смогли — так глубоко засел в меня детский страх. И я отправилась в столицу Татарстана, которую тоже полюбила, прожив и проработав там большую часть жизни — более пятидесяти лет.

На заводе я познакомилась со своим будущим мужем — Муратовым Юрием Петровичем. Он, как и я, всю свою трудовую деятельность — сорок восемь лет — проработал на «Радиоприборе». Единственного сына мы назвали Петром в честь наших погибших отцов — защитников Родины (отец мужа — Муратов Пётр Васильевич — сложил свою голову в 1942 году под Москвой, в жестоких боях на Волоколамском шоссе).

Сейчас проживаем в Новосибирске, поближе к сыну, получившему распределение сюда после окончания Казанского университета.

Я с гордостью ношу звание «Труженик тыла», награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь Дня Победы, «В память 1000-летия Казани».

К чести Законодательного собрания Новосибирской области, детям погибших фронтовиков присвоен статус «Дети войны», выплачивается ежемесячное вознаграждение, работают местные организации «Дети войны», в деятельности которых мы регулярно принимаем участие.

С советом ветеранов завода «Радиоприбор» держим тесную связь и глубоко благодарны его председателю, участнику войны Турфану Касымовичу Насыбуллину за память, заботу о нас, ветеранах труда, за тёплые поздравления, вселяющие в нашу жизнь оптимизм.

С особенной теплотой хочу поблагодарить Советскую власть, Советское государство, лично товарища Иосифа Виссарионовича Сталина за то, что в самую тяжёлую годину войны нас, детей-сирот, беспризорников, не бросили на произвол судьбы. К нам были проявлены великое милосердие и высший гуманизм. Всех пригрели, на-

кормили, одели, вылечили, все получили образование, специальности. И мы трудились на благо великой Родины. Но трудно сказать лучше, чем это сделал поэт Роберт Рождественский:

*А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далёкие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, не детская беда.
Была зима и жёсткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе — детство и война.
И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была.
Она детей от смерти заслонила,
Своих детей для жизни сберегла.
Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне.*

И в завершение. Может быть, не совсем по сюжету, но в тему.

В ЛЭИСе на одном курсе со мной учился и жил в одном общежитии студент из Румынии — Вирджилиу Константинеску, мы звали его просто — Джиджи. Джиджи Константинеску. Милый, симпатичный парень. Он был в меня влюблён, ухаживал, признавался в любви, звал замуж, забавно произнося моё имя «Люзинга». Но у меня никак не получалось переступить через факт его национальной принадлежности. Даже однажды провоцировала вопросом: «А не твой ли отец топтал меня сапогами?» Он горячо разубеждал, уверял, что сам коммунист, что, если я выйду за него замуж и уеду с ним, смогу воочию убедиться, «какие румыны хорошие люди». Не знаю. Точнее, не желаю знать — хорошие ли, плохие. Словом, ничего у нас с ним не было, да и быть не могло. Прощаясь со мной по окончании института, он подарил свою фотографию: печальный Джиджи сидит на набережной Невы и, скрестив ладони, задумчиво смотрит на воду. И подпись на обратной стороне: «Может быть, так труднее будешь забывать меня...» Я сохранила эту фотку, со временем она немного пожелтела и пожелтела.

Что с ним случилось, многого ли стоили его «коммунистические» взгляды, я не знаю — никаких связей мы с ним не поддерживали. Но, глядя на сегодняшнюю Румынию (и Литву, кстати, тоже!), вновь заходящуюся теперь уже в антироссийской истерии, понимаю, что, к сожалению, всё-таки была права.

Слёзы наворачиваются на глаза, когда вижу, что случилось в Одессе, что происходит в Донбассе. Но спокойствие и уверенность вселяются в моё сердце, когда вновь и вновь звучат в памяти пророческие слова Сталина, сказанные им почти три четверти века назад: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Новосибирск.





ДОЛИНА ПАМЯТИ

В России много мест, щедро политых солдатской кровью, но Мясной Бор — особое место. Леса и болота Новгородской области — гиблые места сами по себе. А когда в болотах, на опушках леса, на просёлках белеет множество человеческих костей, то и вовсе становятся жуткими. В январе 42-го казалось, что именно отсюда начнётся вторая мирная жизнь у блокадного Ленинграда, именно в районе этой деревни войска Волховского фронта прорвут оборону немцев, и Вторая Ударная армия выйдет в прорыв для снятия кольца. Они пойдут спасать блокадный Ленинград, но сами попадут в окружение, долгие полгода будут сидеть в болотах без еды и боеприпасов... Про тех, кто всё же выйдет из окружения, потом скажут — везунчики, вот только их будет ничтожно мало...

В 2003-м году я побывала под Мясным Бором. В мае, делая для радио репортаж о результатах экспедиции в Долину смерти, я встретила командира поискового отряда «КАМАЗ» Николаем Усановым. Рассказывая об очередной Вахте Памяти и показывая находки — будущие экспонаты Музея боевой славы, он вдруг спросил:

— В июне собирается небольшой отряд под Мясной Бор — не хочешь пойти?

Я — человек далёкий от походной жизни, даже костёр развести не смогу. И смертельно боюсь клещей. Однако слова Николая запали в душу. Я согласилась.

Группа наша — студенты Лёша Богатырёв и Антон Тёплых и я — прошла подготовку, включая занятия по технике безопасности. Закрепили за мной обязанности санинструктора (слава Богу, никто за время экспедиции не заболел). Наполнили рюкзаки консервами, крупами, сухарями и оправились в путь — на автобусе в Казань, потом поездом до Новгородской области с пересадкой в Москве.

На базе поисковой экспедиции «Долина», в посёлке Подберёзье, загрузились инструментами, потом проводники доставили нас на «газике» до Мясного Бора, и только тогда наша нога ступила в болотистые леса Волхова. До места назначенной командиром отряда стоянки — пять километров по карте.

Мясной Бор... Первое упоминание о деревне относится к 1500 году. После порабощения и разорения Новгорода Иваном Грозным она перестала существовать и на картах тех лет отмечена как пустошь. Второе рождение обрела спустя столетие. Нынешнее название деревня получила, скорее всего, во время строительства Санкт-Петербурга. Город строился быстро, требовались рабочие, которых нужно кормить. Скот доставляли по Волхову. В Бору обосновались перекупщики скота и устроили здесь бойни. И называли их — Мясики На Бору. А с 1788 года на этом месте обосновался Мясной-Борь.

Оставив половину груза в деревне, мы отправились в лес. Рыбацкие резиновые сапоги, за плечами — рюкзаки, в руках — поклажа, и цепочкой — шаг в шаг — вперёд. Не отставать и не отступаться!

Первую ночь провели на каком-то островке — дойти до предполагаемой стоянки не успели, потому что ребята с Николаем отправились назад в Мясной Бор за оставшимися вещами. «Вернёмся часа через два», — сказал Николай. Вернулись через четыре.

Хуже нет — ждать и догонять. Я стояла среди далёких болот, запрокинув голову, и слушала. Деревья — до неба. Это новый лес, прежний бор в годы войны был почти полностью выкошен снарядами и бомбами. Шумели листья. Вот закричала какая-то странная птица. Я всё ждала, может, будет мне какой-нибудь знак из того, 42-го...

Закрапал дождик, и я, спохватившись, стала собирать лапник и хворост.

«Ого-гоооо», — издали донёсся голос. Это возвращались мои ребята.

Утро нас встретило солнышком. Мы добрались до становища, разбили лагерь и, пообедав, приступили к раскопкам. Более полувека прошло, как похозяничала здесь война, а будто это было вчера: огромные воронки, наполненные ржавой болотной водой. В них, как в зеркалах, отражаются ивы и чернотал. Остовы орудий, машин, каски, мины, гильзы... Противогазы — как новенькие: стопками, с небитыми стёклами. Кружки, ластик, флаконы из-под одеколona, медицинские пузырьки, ботинки. Однажды во время раскопок, когда поднимали останки погибших, нашли длинную светлую девичью косу...

Большая удача найти смертный медальон, внутри которого находится вкладыш — по нему можно установить имя бойца. Заполненную бумагу солдат скручивал в трубочку и убирал в пластиковую капсулу — смертный медальон. Часто у бойцов не было такого документа: не заполняли вкладыш из суеверия, мол, заполнишь — обязательно убьют...

На счету нашего отряда — четыре таких медальона. Два пустых, один до сих пор не восстановлен. Четвёртый (из семи фрагментов) прочитать удалось: «Мартемьянов Венедикт Егорович, 1909 г.р., Шарлыкский район, Новоникольский сельский совет, Чкаловская область. 57-я отдельная стрелковая бригада, 3-й батальон»...

Подняты восемь бойцов. Рядом с останками одного из них нашли оловянную ложку с выцарапанной фамилией «Симонов». На том месте ребята установили памятную табличку с надписью: «Здесь были найдены останки бойца Красной Армии Симонова, павшего в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Июнь 2003 год».

«Весь июнь ни на один час не затишал бой. Целыми днями нас бомбили, а ночью обстреливали. Все поле было усеяно воронками. Мелкие воронки залиты водой, а большие — от авиабомб — без воды, и в них, вырыв ниши, сидели солдаты. Вокруг всё сожжено, забрызгано болотной грязью, перепахано снарядами и бомбами. Разбиты дороги, разбросаны жерди, рельсы... По обе стороны узкоколейки лежали раненые. Над ними тучами вились мухи, мошки, комары. Продуктов в июне не получали вовсе и ели всё, что придётся: траву, ежей, кожу, ремни. Помню, как старшина достал из-за пазухи последний НЗ — мешочек сухарных крошек. Съели по шепотке и разошлись. Но никто не роптал. Весь лес был усеян немецкими листовками. «Бейте политруков! Горопитесь переходить на нашу сторону!» Внизу, под текстом, печатался пропуск. Не припомню случая, чтобы им кто-нибудь воспользовался. Трудные дни, тяжкие испытания пришлось пережить, но никто не дрогнул и ни на шаг без приказа не отступил».

На следующее утро похолодало, пошёл дождь. Он будет сеять и лить с небольшими передышками все десять дней. Тёплая одежда в какой-то степени защищала и от комаров. Но лицо спасти не могли ни накомарники, ни спреи: мошка, просачиваясь через малейшее отверстие, бесчинствовала — лица распухли так, что не было видно глаз. В Мясном Бору комары всегда появляются пятнадцатого мая, когда лес полон цветущей черёмухи. Поэтому местные жители до конца июля избегают ходить сюда без особой надобности...

Рабочий день — с восьми утра до восьми вечера с перерывом на обед. Утренние сборы недолги: с собой лопату, металлоискатель, щуп и ведро. Работаем лопатой на расширение раскопа, уходим всё глубже, в жиже сквозь пальцы (на руках две пары перчаток: хлопчатобумажные и резиновые) пропускаем все предметы, потом ведрами вычерпываем прибывшую воду и снова ищем. Если обнаружены останки человека, начинается тонкая работа: ножом, сапёрной лопаткой или садовой пилой слой за слоем аккуратно снимается грунт.

Кусочки шинели... ремень... подсумок... ботинки... Затапливает жалость и нежность. «Мальчик мой», — шепчу я, глотая слёзы...

«Нас было двадцать комсомольцев — медсёстры и врачи 120-го медсанбата, получившие мартовским утром 42-го года задание пройти топкими болотами в расположение нашей окружённой дивизии, где скопились сотни раненых. Это было под Мясным Бором. Войдя в лес, мы увидели страшную картину: трупы мирных жителей — стариков, женщин и детей, расстрелянных, по-видимому, с самолётов фашистскими стервятниками. Сердце сжалось от боли... Началась наша работа. День и ночь шли операции и перевязки, день и ночь — кровь и стоны. Сейчас страшно вспоминать тот кошмар, в котором мы находились. Постоянно видеть окровавленных, беспомощных мужчин, сжимать их холодеющие пальцы и смотреть в потухающие глаза и при этом утешать: «Держись, ещё немного и тебе станет легче!»...

Останки собираются в специальные мешки, и в конце Вахты поисковики доставляют их в Мясной Бор. Дважды в год, во время очередной Вахты Памяти — в мае и августе — на воинском мемориале проходит Торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров Красной Армии.



Металлоискатель мне заменял щуп. Я ходила и протыкала им верхний слой почвы. Научиться на слух определять, на что наткнулся щуп, для меня первое время было очень сложно: и дерево, и кость практически звучат одинаково. Да и внешне кость шестидесятилетней давности неопытный глаз не отличит от деревяшки...

На четвёртый день приехала, дошла, добралась до нас Галия-апа. Галия Мулламуровна Хасанова. Каждый год она приезжает сюда и давно уже сама стала опытным поисковиком. Несколько лет назад здесь во время экспедиции погиб её сын Салават (сердце)... Галия-апа — кудесница: в честь приезда накрыла праздничный стол — салат из свежих огурчиков, конфеты, везла для нас гостинцы. За листьями малины и смородины для чая сходила до Теремца Курляндского, а это не ближний свет.

Здесь не бывает случайных людей: только поисковики, поднимающие солдат, да чёрные копатели, рыскающие в поисках военных ценностей. Чёрные копатели циничны и жестоки.

В то утро Николай и Галия-апа ушли в Мясной Бор.

Найденные накануне каски, автоматы и прочие предметы, которые должны были после возвращения домой стать музейными экспонатами, были вычищены и лежали,

обсыхая, на клеёнке. Мы собрались на работу, как вдруг возле бакшиша, как называется военный трофей, появился странный человек: высокий, в длинном серо-зелёном плаще с капюшоном, полностью закрывающем лицо. Возник бесшумно, будто соскочил из воздуха. Так же молча стал копаться в бакшише. То, что нравилось, складывал в рюкзак.

— Эй! А ну, положи, откуда взял, — крикнул Антон и направился к незнакомцу. Мы с Лёшей двинулись следом за Антоном.

— Маму любишь? — глухо спросил незнакомец и засунул руку в широкий карман. Карман подозрительно оттопырился — то ли палка в нём, то ли пистолет. Так же незаметно он растворился. Отстаивать бакшиш мы не стали...

Да, как это ни странно, но именно там, в болотах, я почувствовала на вкус — что есть счастье, научилась пить его по капельке. В нашей вечной суете, спешке сложно остановиться, затормозить и остаться наедине с самим собой, уловить и понять что-то очень-очень важное для себя...

«Всем в окружении было очень тяжело. Но всё же солдаты сумели под обстрелом проложить узкоколейную железную дорогу, по которой мы вывозили раненых. Бойцы вручную толкали вагончики-платформы, а мы сидели с ранеными и отвлекали их разговорами от боли и стрельбы».

В последний день экспедиции лето решило показать себя во всей красе: температура перевалила за двадцать пять; высокое и ясное небо; ласково шелестит водами речка, и кружат голову ароматы лесных цветов...

В Мясной Бор мы возвращались другой дорогой, как раз через Теремец Курляндский, в далёком прошлом латышское село. Речку перешли вброд и, не снимая свитеров, перчаток и накомарников (какая-никакая защита от кровопийц), двинулись вперёд. В Теремце привал. Едва сбросив рюкзаки, упали, провалились на дно сумасшедшего разнотравья, глазами — в бездонную синь неба...

Вот и узкоколейка — последняя черта, за которой начинается обычная наша мирная жизнь. Сидели на шпалах, мысленно подводя итог нашей десятидневной Вахты...

Неожиданно Коля взъерошил мне волосы: «С тобой в разведку я бы пошёл».

Любанская операция отвлекла на себя 16 немецких дивизий, принесла в жертву 20 наших. Общие потери наших войск в Любанской операции по официальным данным составили более 400 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и попавшими в плен, не считая местного населения, которое, покинув сожжённые деревни, спасалось от немцев вместе с красноармейцами. И через семь с лишним десятков лет в этой трагической странице истории Великой Отечественной ещё много «чёрных дыр».

(Использованы материалы, воспоминания А. В. Байбакова (капитана в отставке, бывшего военфельдшера 176-го СП 46-й СД); Т. И. Обуховой (бывшей медсестры 120-го МСБ 111-й СД); Евгения Барина http://barinov.newmail.ru/gen/gen_mb.htm; Сергея Солюдянкина (начальника экспертно-криминалистического центра МВД по РК); Марины Морозовой (поисковика, кор. газеты «Рыбинские известия»).





ЕСЛИ БЫ НЕ ЕЛАБУГА...

*Эвакуированные в Елабугу литераторы
и «ценность советского государства» — Михаил Лозинский.*

В годы Великой Отечественной войны прикамская Елабуга — небольшой городок в составе Татарской республики — принял несколько групп эвакуированных литераторов из Москвы и Ленинграда. Традиционно, говоря об эвакуированных в Елабугу поэтах и писателях, называется имя Марины Цветаевой. Среди тех, кто разделил с ней тяжесть эвакуации и кто навсегда остался в елабужской земле (умер от туберкулёза в октябре 1942 года в Елабуге) — писатель Николай Ефимович Добычин, печатавшийся под псевдонимом Николай Алтайский.

Пожалуй, всех эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Елабугу литераторов, за исключением Марины Цветаевой, можно объединить в группу с таким символическим обозначением: «Малоизвестные (как вариант — «забытые») литераторы».

Судите сами: изрядно позабыто сегодня имя некогда популярного в мире драматургии критика и театроведа Михаила Борисовича Загорского (1885–1951). Кто вспомнит писателя-мариниста Евгения Семёновича Юнгу (1909–1988)? Напрочь забыт еврейский писатель Едиде Марголис (1884–1949). Немногие вспомнят поэтессу Нину Павловну Саконскую (настоящее имя — Антонина Павловна Соколовская; 1896–1951), чьи детские стихи, впрочем, издаются и сегодня (например, «*Маша варежку надела — Ой, куда я пальчик дела?...*»).

Не без труда вспомнится поэт-переводчик, драматург и сценарист Самуил Борисович Болотин (1901–1970), а ведь именно он является автором сценариев известных в своё время кинолент «Новый Гулливер» (1935), «Руслан и Людмила» (фильмы 1938 и 1972 гг. соответственно), «Под крышами Монмартра» (1975). В этом же ряду и поэтесса, переводчица Татьяна Сергеевна Сикорская (1901–1984) — благодаря ей мы знаем русский текст грузинской песни «Сулико» (перевод выполнен в 1937 г.). В 1940–1960-е годы Татьяна Сикорская и Самуил Болотин (они не просто соавторы, они — супруги) очень много работали, переводили чешские, болгарские, румынские, французские, польские песни и песни многих других стран и народов. На стихи Татьяны Сикорской написал вокальный цикл «Испанские песни» Дмитрий Шостакович. Музыка на стихи Болотина и Сикорской писали также многие другие известные композиторы: Исаак Дунаевский, Александр Цфасман, Арно Бабаджанян, Оскар Фельцман. Песни входили в репертуар известных исполнителей: Клавдии Шульженко, Зои Рождественской, Владимира Канделаки, Михаила Александровича, Владимира Бунькова, Владимира Нечаева, Леонида Утёсова, Аллы Пугачёвой...

Отдельно стоит назвать Вадима Витальевича Сикорского (1922–2012), Александра Александровича Соколовского (1925–1979) и сына Марины Цветаевой Георгия

Сергеевича Эфрона (1925–1944), которые в 1941 г. были в эвакуации в Елабуге со своими родителями, и каждый из которых позже стал самостоятельным автором (особняком стоит разве что Георгий Эфрон, чьи «Дневники» были впервые изданы в 2004 году — через 60 лет после гибели автора на фронте).

Многие из перечисленных прибыли в Елабугу из Москвы, более того, одновременно с Мариной Цветаевой, буквально на одном пароходе. Была там ещё одна ленинградка — исследователь античной культуры Мария Ивановна Максимова (1885–1973), которая занималась переводом «Анабасиса Кира» (или «Отступления десяти тысяч»), главного сочинения древнегреческого писателя и историка Ксенофонта (не позже 444 г. до н.э. — не ранее 356 г. до н.э.).

Особого внимания в разговоре об эвакуированных литераторах заслуживает Михаил Леонидович Лозинский — один из создателей советской школы поэтического перевода. В годы Великой Отечественной войны Лозинский, находясь в эвакуации в Елабуге, закончил перевод «Рая» из «Божественной комедии» — центрального произведения итальянской и мировой литературы, созданного Данте в 1307–1321 гг.. Михаил Лозинский необычайно обогатил нашу культуру, привнеся в неё творчество поэтов мирового масштаба: Пьера Корнеля, Виктора Гюго, Шарля Бодлера, Леконта де Лиля, Людвиг Тика, Иоганна Вольфганга Гёте, Фридриха Шиллера, Генриха Гейне, Вильяма Шекспира, Самюэля Колриджа, Джорджа Байрона, Ричарда Шеридана, Редьярда Киплинга, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Карло Гоцци, Джованни Чезарео... Переводы эти были позже оценены по достоинству и в нашей стране, и за рубежом. Но главное дело жизни Лозинского — всё-таки перевод «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Данте — основоположник итальянского литературного языка — шёл к русскому читателю более пятисот лет. Путь Лозинского к признанию не был долог, но был по-своему тернист. 20 марта 1932 года Лозинский был арестован по обвинению в антисоветской агитации и осуждён по ст. 58–10 УК РСФСР на три года лишения свободы. Но это была ещё не «эпоха» 37-го года, поэтому Лозинский получил свой срок условно. Впрочем, в этом «тёмном» деле есть одно яркое пятно, о котором стоит сказать особо. Неизвестно, как сложилась бы судьба Лозинского, если бы в неё не вмешался Никита Толстой — сын писателя Алексея Николаевича Толстого. Женившись на дочери Лозинского Наталии, Никита Толстой фактически спас Михаила Леонидовича от возможной ссылки или даже от лагерей: родственников Алексея Толстого, которому благоволил сам Сталин, подвергать аресту было рискованно. Впрочем, вот фрагмент рассказа самого Никиты Толстого (цитируется по материалу «Царь в голове», опубликованному в журнале «Родина», № 2, 1991 г. в рубрике «Светские беседы»; с Н.А. Толстым беседовала Адель Калининиченко).

«В тюрьме интеллигентный человек переживал трудности гораздо легче, чем человек, лишённый этих качеств. Он всегда мог себя занять, находил в камере человека, с кем у него устанавливался душевный контакт. Дело доходило до того, что образовывались группы, где читались лекции, то один читал, то другой. Это был способ ухода от тюремного гнёта. Даже сидя в одиночке интеллигентный человек чувствовал себя несравнимо лучше, чем человек тёмный, невежественный. Ему было с «кем» общаться. Я вам приведу простой пример. Мой тесть, Михаил Леонидович Лозинский, поэт, переводчик, четыре месяца сидел в одиночке. Я его спросил: «Вам было очень трудно?» «Нет, — говорит. — Я всё время читал...» Удивляюсь: «А разве в одиночке давали книжки?» — Нет, — отвечает, — я читал наизусть. Я прочёл всего Пушкина, потом взялся за Лермонтова... Кстати, и нашим союзом с его дочерью мы обязаны всё тому же дамоклову мечу сталинщины. Когда*

* С одной стороны, «дамклов меч сталинщины», с другой, как сообщает автор статьи Андрей Иванов, к бывшему эмигранту Алексею Николаевичу Толстому «благоволил сам Сталин». Не так ли зарождались «двойные стандарты» в среде столичной элиты? (Прим. редактора).

мне говорят, что браки совершаются на небесах, я добавляю: и в ГПУ тоже. Както на первом курсе мы с Наташей Лозинской стояли в очереди за стипендией, и она плакала: их семью должны были выслать — за принадлежность к сословию, естественно. Я решил её спасти — жениться. Пришёл к отцу очень гордый за своё решение. «Не очень-то задавайся, — сказал отец, — слишком она красива, чтобы это было с твоей стороны героизмом». Отец обладал замечательным чувством юмора».

Уже в годы официального признания, будучи лауреатом Государственной премии СССР, Михаил Леонидович так и жил с «клеимом» осуждённого. Его реабилитировали спустя тридцать четыре года после смерти — на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года.

Родился Михаил Лозинский 20 июня 1886 года в Гатчине. Весьма лаконичную характеристику Лозинскому даёт его анкета по «делу» в НКВД: «Выходец из дворян, сын присяжного поверенного, беспартийный».

Практически вся жизнь Лозинского была связана с его любимым Петербургом — Ленинградом. Получив в 1904 году золотую медаль по окончании 1-й Петербургской гимназии, Михаил Леонидович отправился в Берлинский университет, однако вскоре вернулся в Санкт-Петербург. В 1909 году Лозинский окончил юридический факультет Петербургского университета, а затем до 1914 года учился на историко-филологическом факультете. В 1912–1913 гг. Михаил Лозинский стал редактором издательства «Гиперборей», где печатались акмеисты. В 1912 году в одноимённом ежемесячнике — «Гиперборей» — он опубликовал свои первые поэтические творения. Эту публикацию дебютом в поэзии Лозинский не считал...

Дебютировал Михаил Лозинский как поэт в 1916 году, когда в Москве, в издательстве Александра Кожебаткина «Альциона» тиражом 600 экз. вышла его книга «Горный Ключ: Стихи».

Не менее скромным по количеству экземпляров стал 32-страничный сборник «Тринадцать поэтов», изданный в Петрограде в типографии В.Ф. Киршбаума в 1917 году. В этой книжке под одной обложкой с М. Лозинским «встретились» следующие поэты: Г. Адамович, А. Ахматова, Н. Гумилёв, М. Зенкевич, Георгий Иванов, Рюрик Ивнев, М. Кузмин, Вс. Курдюмов, О. Мандельштам, М. Струве, М. Цветаева, Вл. Шилейко. У каждого из перечисленных авторов был свой путь к читателю. К примеру, в 1922 году «Горный ключ» Лозинского был переиздан в Петрограде в центральном кооперативном издательстве «Мысль» тиражом 2 500 экз.. На этом поэт Михаил Лозинский «закончился»: несмотря на определённую художественную ценность, его стихи явлением в русской литературе не стали. В дальнейшем Лозинский занимался преимущественно художественными переводами. В упомянутом уже Петроградском издательстве «Мысль» в 1922 году вышли драма итальянца Габриэле д' Аннунцио «Пизанелло» и «Избранные стихотворения» француза Леконта де Лиля. Некоторые заседания «Цеха поэтов» проходили в квартире Лозинского на Румянцевской площади. В период с 1913 по 1917 год он



был секретарём-редактором журнала «Аполлон». При этом с 1914 года по 1937 год он работал в Публичной библиотеке главным библиотекарем и консультантом. После Октябрьской революции Максим Горький привлёк Лозинского в издательство «Всемирная литература». Горький поставил цель издать 1500 томов классической иностранной литературы в образцовых переводах. Так началась профессиональная переводческая деятельность Лозинского. В 1924 году издательство «Всемирная литература» было закрыто. Но идея высокохудожественных переводов осталась. Исправление дореволюционных переводов, чем поначалу занимались советские переводчики, уходило в прошлое. Благодаря переводам Лозинского советскому читателю стали известны «Гамлет» и «Двенадцатая ночь» Шекспира, «Назидательные новеллы» Сервантеса, «Собака на сене» и «Валенсианская вдова» Лопе де Вега, «Тартюф» Мольера, «Сид» Корнеля, «Школа злословия» Шеридана, «Кармен» Мериме, «Кола Брюньон» Р. Роллана, а также ряд стихотворений Гёте, Шиллера и армянский эпос «Давид Сасунский». Принял участие Лозинский и в переводе Николаем Гумилёвым древнеавилонского эпоса о Гильгамеше, хотя имя Лозинского нигде указано не было. Позже Гумилёв скажет с сожалением: «А я, недостойный, один на обложку попал». Николай Гумилёв отметил также, что поэтическое творчество Лозинского — «значительное и прекрасное». Михаил Леонидович не вошёл в нашу отечественную культуру как великий поэт, потому что таковым не стал. Но он добился, пожалуй, большей высоты — стал великим русским переводчиком XX века. Одного перевода Данте хватило бы Лозинскому, чтобы войти в историю нашей культуры. Безусловно, Михаил Леонидович был знаком с переводом «Божественной комедии», сделанным другом Пушкина Павлом Катениным в 1828–1829 гг., но взялся за «свой перевод». Ахматова была восхищена результатом этой работы и отмечала, что Лозинский справился с поставленной задачей блестяще: «*Может быть, это наиболее трудная из переводческих работ*». Та же Анна Ахматова в своём «Слове о Лозинском» отметила: «С Михаилом Леонидовичем Лозинским я познакомилась в 1911 году, когда он пришёл на одно из первых заседаний «Цеха поэтов». Тогда же я в первый раз услышала прочитанные им стихи. <...>. В труде Лозинский был неутомим. Поражённый тяжёлой болезнью, которая неизбежно сломала бы кого угодно, он продолжал работать и помогал другим. Когда я ещё в тридцатых годах навестила его в больницу, он показал мне фото своего разросшегося гипофиза и совершенно спокойно сказал: «Здесь мне скажут, когда я умру». Он не умер тогда, и ужасная, измучившая его болезнь оказалась бессильной перед его сверхчеловеческой волей. Страшно подумать, именно тогда он предпринял подвиг своей жизни — перевод «Божественной Комедии» Данте».

Ещё Анна Андреевна из советов Лозинского-переводчика приводит пример, очень для него характерный: «Он сказал мне: «Если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку»». Свои переводы Лозинскому на просмотр отдавали Михаил Кузмин и Борис Пастернак. Михаил Леонидович, уча Ахматову искусству перевода, требовал от неё того, чем руководствовался сам, — строгости, приверженности точности и глубокому знанию материала.

Начало Великой Отечественной войны было принято Лозинским болезненно. Когда немцы подошли вплотную к его родному городу, стало невыносимо страшно. Было очевидно, что блокаду Ленинграда он не выдержит. Его уговорили, а точнее, приказали покинуть родной город на специальном военном самолёте. В приказе отмечалось, в частности, что Лозинский представляет «ценность для советского государства». Вскоре он окажется в далёкой, но спасительной для него Елабуге. Некоторые детали «путешествия» Лозинского в спасительную Елабугу представлены в его письме на имя Е.Е. Шведе, на котором вскоре остановимся подробно.

Находясь в Елабуге, Лозинский проживал по адресу ул. Ленина, д. 77 (в настоящее время адрес этого дома — проспект Нефтяников, д. 175). Единственное имеющееся в распоряжении автора этих строк описание «елабужского жилища» Лозинского невероятно кратко и принадлежит внучке Михаила Леонидовича Наталии Никитичне Толстой, родившейся, кстати, в Елабуге.



В 1993 году Наталия Толстая в своём рассказе «Не называя фамилий» сообщит: *«В той комнате в Елабуге, где я, не к месту родившаяся в сорок третьем году, лежала в корзине, дедушка Михаил Леонидович Лозинский заканчивал перевод дантевского «Рая». Комната была проходная, освещалась коптилкой, на стенах проступал лёд».*

Наталия Толстая, появившаяся на свет 2 мая 1943 года, стала известной писательницей (произведения «Сёстры» (1998), «Двое» (2001), «Одна» (2004)). Окончила Ленинградский университет, затем осталась там работать и до конца жизни — более сорока лет — преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете, читала на кафедре скандинавской филологии спецкурсы «Русская культура XIX в. и Скандинавия», «История христианства», «Женщины России и Швеции. Общественная характеристика». Кандидат филологических наук Н.Н. Толстая была крупнейшим в нашей стране специалистом по шведскому языку и литературе, автором учебника шведского языка. Свои первые рассказы она писала и публиковала по-шведски. С середины 1990-х писала по-русски, занималась переводами, среди которых особенно выделяется сборник стихов финско-шведской поэтессы Эдит Сёдергран. Известность в качестве писательницы приобрела благодаря книгам, написанным вместе с сестрой Татьяной Толстой (уже упомянутые выше книги «Сёстры» и «Двое»). Была удостоена литературной премии им. Сергея Довлатова. В 2004 году награждена шведским Королевским орденом Северной Звезды рыцарской степени за большой вклад в развитие культурных связей между Россией и Швецией. Она была незаурядным человеком широчайшего образования, огромных знаний, с удивительным чувством юмора.

В 2010 году Наталии Никитичны Толстой не стало. Её супруг, к тому же ученик Лозинского, поэт и переводчик Игнатий Ивановский отмечает, что «Путь Лозинского в переводе — жертвенный путь. Читатель переводов Лозинского — счастливый читатель». В стихотворном послании «Михаилу Лозинскому, переводчику» Ивановский отметил:

*<...> восемьдесят тысяч строк
Великоленных переводов —
Недосягаемый итог,
Пример сближения народов.*

10 апреля 1943 года великий русский переводчик XX века Михаил Леонидович Лозинский отправил из Елабуги в Самарканд письмо своим друзьям: контрадмиралу Евгению Шведе и его жене Ольге Васильевой-Шведе — преподавательнице испанского языка, переводчице. Собственно уместно обозначить, что в конверте было два письма: одно — Евгению Евгеньевичу, другое — Ольге Константиновне. Письма эти по опреде-

лённым причинам оказались в Новосибирске, в одном из антикварных магазинов, и не без усилий автора этих строк смогли вернуться в 2006 году в город, из которого были отправлены — в Елабугу. Кроме того, что перед нами письма выдающегося человека, несомненный интерес представляет и то, что автор уделяет в них немало внимания Елабуге.

Вот они...

«Елабуга. 10 апреля 1943.

Дорогой Евгений Евгеньевич, Ваше милое письмо я получил 7 января, на ложе болезни, первой из многих, которые, сменяя одна другую, длились больше трёх месяцев. Я был очень плох и писать не мог. Только на днях я, наконец, встал, но едва волочу ноги. Зато пробую водить пером, чтобы ответить Вам. Простая с Вами, мы продолжали оставаться в Л-граде, и не знаю, как долго жили бы там, если бы не постигшая Татьяну Борисовну тяжёлая болезнь, оправиться после которой ей в тамошних условиях было бы очень трудно. Мне давно уже предлагали эвакуироваться, и пришлось это сделать. Мы покинули Л-град 30. XI. 41 и затем странствовали полтора месяца (самолёт, теплушка, классный вагон, самолёт, поезд, лошадь) с остановками в Горьком, где пролежали три недели больными, и в Казани, пока не добрались в Елабугу к дочери, зятю и внукам. Весной Серёжа перевёлся в Казань, а затем в Йошкар-Олу, где преподаёт математику в военно-воздушной академии. В мае он навестил нас. В недалёком будущем он, вероятно, будет защищать докторскую диссертацию, которая у него, как будто, уже готова. Наш зять Н.А. Толстой тоже оказался теперь в Йошкар-Оле и там же преподаёт физику. Так что здесь мы остались с Наташей и внуками, да с нашей нянюшкой, приехавшей из Л-града.

Елабуга приятна зимой, вся белая в белых сугробах. Морозно и солнечно. Зато пренеприятная оторванность от мира: восемьдесят километров до ближайшей ж.д. станции, и плохо действующая почта. Сейчас тают снега, распутица, и почты нет уже целую неделю. Скоро разольётся Кама и подступит к самому городу. Летом здесь тяжело: зной, пыль, зелени нет. Семья моя летом жила в деревне, в очень красивых местах, а я не выезжал никуда. Весь 42-й год я очень напряжённо работал. Перевёл в Елабуге Дантов «Рай» и тем самым закончил всю «Бож. Комедию», многолетний мой труд. «Чистилище» Гослитиздат собирается напечатать в этом году. Хочу сделать попытку попасть в Москву нынче летом, и по делам, и для лечения. Не будете ли и Вы там? Я так рад был бы встретиться с Вами. На днях получил приглашение от Ц.К. Партии Таджикистана поселиться в Сталинабаде для литературной работы над таджикским материалом. Мы были бы соседи. Да где уж там! Сейчас с моим здоровьем такой вояж мне не по силам. Да и Наташе с её малышами мы тут нужны. Я очень рад, что Коля доволен своей судьбой и своей работой. Пожалуйста, очень ему кланяйтесь от меня, и пошлите мой привет Елизавете Евгеньевне. Татьяна Борисовна шлёт Вам сердечный поклон.

Искренне Ваш М.Лозинский.

А вот второе письмо.

«Елабуга. 10.IV. 1943

Многоуважаемая Ольга Константиновна, в письме к Евгению Евгеньевичу я объясняю, почему я три месяца не отвечал на Ваши любезные письма. Этот год, действительно, начался для меня нежданно. Утешаюсь тем, что, усердно работая весь прошлый год, я успел до своей болезни закончить перевод «Бож. Комедии». При теперешнем моём упадке сил я бы не смог его продолжать. Он требовал огромного напряжения. Теперь меня снова тянет заняться испанским театром. Я заказал в Москве фотокопию «Don Gil de las calzas verdes» Турсо де Молина и хочу заново перевести эту комедию. Существующий её перевод Пяста (под ред. Б.А. Кржевского и моей) — неудовлетворителен.

А недавно мне доставили с оказией из Ленинграда мой экземпляр четырёхтомного издания «Comedias» Кальдерона, под ред. Keil' я (Лейпциг. 1827–1830). Думаю в следующую очередь заняться Кальдероном. Я был Вам чрезвычайно признателен за совет: какую драму или комедию Кальдерона особенно стоило бы перевести, но такую, которую можно было бы поставить и на сцене и которую сочувственно принял бы зритель?

У Вас наверное есть такая на примете, а то и несколько.

Жаль, что о таких вещах приходится писать из Елабуги в Самарканд и ждать оттуда ответа. Насколько проще и приятнее было бы просто поговорить об этом в милую Ленинграде. Но, может быть, этот денёк не за горами?...

Татьяна Борисовна и Наташа просят меня передать Вам их приветы.

Преданный Вам М. Лозинский».

Из Елабуги в родной Ленинград Лозинский вернулся весной 1945 года. Большую часть его скромного багажа составляли бумаги, в том числе законченная рукопись перевода «Божественной комедии». Вскоре в книжной лавке на Невском проспекте появился в продаже номер литературно-художественного журнала «Ленинград» с фрагментами двух песен из «Божественной комедии» (Рай). Песни XXVII–XXXIII). Отдельным изданием книга «Божественная комедия. Рай» вышла в Московском издательстве «Огиз. Государственное издательство Художественной литературы» в 1945 году тиражом 10000 экз. (подписана к печати 16/VII-45 г.). Книгу стандартного размера в мягком переплёте и объёмом в 264 стр. можно было купить за восемь рублей. В 1946 году были названы лауреаты Сталинской премии в области литературы и искусства за 1943–45 годы, и Михаил Леонидович получил Первую премию в номинации «Поэзия» за сделанный им перевод Данте. Напомню, что в 1966 году Сталинская премия была приравнена к Государственной премии СССР.

Во время моих трёх визитов в 2005–2006 гг. в Санкт-Петербург в дом внучки Лозинского Наталии Толстой и её супруга Игнатия Ивановского (напомню, что он — ученик Лозинского) мне посчастливилось узнать в ходе непринуждённых бесед некоторые детали жизни Михаила Леонидовича. Игнатий Михайлович рассказал, в частности, что Лозинский был хроническим больным. К его тяжёлым недугам, например, эмфиземе лёгких, добавлялась головная боль, исчезающая тогда, когда поднималась температура. Михаил Леонидович радовался, если градусник показывал 37,5, ведь работать всё-таки можно, а голова — не болит. Узнал я от Ивановского и то, что Лозинский вкратце записывал деловую часть всех телефонных разговоров. Долгие годы он по нездоровью был пленником квартиры, и телефон значил для него очень многое. Со слов Игнатия Михайловича (Наталия Толстая это тоже подтвердила), внуки Михаила Лозинского, бывшие тогда детьми, вспоминали, что каждое утро в их ленинградской квартире начиналось с ужасных стонов из дедушкиной комнаты. И так — час, а то и больше, пока Михаилу Леонидовичу не удавалось заставить отступить боли.

Лозинский был достаточно скромен: настолько, что не позволил «поэтической общественности» отметить его 60-летие, исполнившееся 20 июля 1946 года. Болезнь редко позволяла Лозинскому покидать пределы своей квартиры, хотя изредка он всё-таки наведывался в Союз писателей. Игнатий Михайлович и Наталия Никитична уверили меня, что Михаил Леонидович всегда вспоминал Елабугу исключительно добрым словом, «был благодарен этому небольшому прикамскому городку за предоставленную в военные годы возможность и жить, и творить». Приятно было узнать, что несколько раз Лозинский произносил в разных вариациях фразу, суть которой можно свести к следующему: «Если бы не Елабуга, я не дошёл бы до совершенства свой перевод «Божественной комедии» великого Данте». Бессмертную «Комедию» сегодня мы читаем в переводе Лозинского, а вот с «Гамлетом» ему повезло меньше: «прижил-

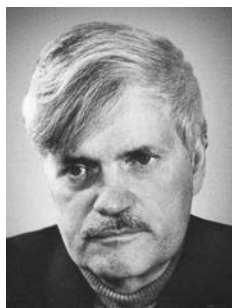
ся» перевод, сделанный Борисом Пастернаком. Один из блестящих литературоведов России XX века Вадим Кожин в 1990 году писал о переводе «Божественной комедии» М. Лозинского: «Он даёт ясное и верное представление о великом творении, и в этом его бесспорная ценность».

31 января 1955 года в Ленинграде сердце Михаила Леонидовича перестало биться. На похоронах Ахматова сказала: «Я горда тем, что на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти этого неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность дружбе». Похоронен Михаил Леонидович был в своём любимом городе на Неве на Литературных мостках. В память о Михаиле Лозинском в нашей стране установлены две мемориальные доски: одна в Санкт-Петербурге на доме № 73–75, что на Каменноостровском проспекте, другая — в Гатчине на доме № 40 по проспекту 25-го Октября. В Елабуге подобной доски пока нет...

P.S. Накануне 1000-летия Елабуги (напомню, что столь знаковую дату город отметил в 2007 году) внук Алексея Толстого и Михаила Лозинского Михаил Никитич Толстой передал через автора этих строк в Елабугу сборник статей по физике своего отца Никиты Алексеевича. Он существует в единственном (!) экземпляре. В своё время сборник был составлен для личной библиотеки Никиты Толстого. В книгу включено десять статей, датированные 1941–1949 гг. На его форзаце рукой Толстого указано собственно содержание сборника. Передавая эту книгу в Елабугу в дар Елабужскому государственному музею-заповеднику, Михаил Никитич отметил, что над частью статей Никита Толстой работал в Елабуге. Также Михаил Никитич передал в Елабугу из личной библиотеки отца учебник «Оптика и атомная физика» немецкого учёного и педагога Роберта Вихарда Поля (1966 г.). Перевод учебника выполнен дочерью Михаила Лозинского Натальей, которая тоже была в эвакуации в Елабуге. Учебник вышел под редакцией Никиты Толстого. Его сын отметил, что не исключает возможности передачи в Елабугу для музея-заповедника ещё некоторых материалов и документов, касающихся как Лозинских, так и Толстых.

Кстати, сам Михаил Никитич в годы войны тоже был в Елабуге вместе со своим дедом Михаилом Лозинским. Ему тогда было всего четыре года, но описание елабужских улицы и дома, где они жили тогда, М.Н. Толстой дал достаточно детальное. Как яркое воспоминание «елабужского детства» Михаил Никитич рассказал, что однажды по весне выкопал в огороде из сырой земли луковицу, которую тут же и съел: «Видимо, организм почувствовал, что мне необходимы витамины». М. Толстой пошёл по стопам своего отца. Сегодня он доктор физико-математических наук, член правления Всемирного клуба петербуржцев, видный общественный и политический деятель активно занимается российской историей. В 2004 году выступил как руководитель проекта «Международная экспедиция-школа «Старая Ладога-2004» (в 2003 году отмечалось 1250-летие Старой Ладоги).





ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

АНАТОЛИЙ БОГДАНОВИЧ

СВЯТОЕ МИЛОСЕРДИЕ ЛЮБВИ

* * *

Почти полвека живёт в подмосковных Химках известный поэт, член Союза писателей России, обладатель медали имени М.А. Шолохова «За гуманизм и служение Отчизне», лауреат 1-й национальной премии им. Е. Мухиной Паралимпийского комитета, премии им. Н.А. Островского, автор более двадцати поэтических книг Анатолий Александрович Богданович. Тяжёлая болезнь приковала его к инвалидной коляске, но жизненной силе и таланту Анатолия Александровича можно только позавидовать.

Детские годы его, потомка кубанских казаков, прошли в станице Отрадо-Ольгинской Гулькевичского района. Пытался поступить в Ленинградское военно-морское училище – не получилось по зрению. Окончил Новошахтинское горнопромышленное училище, но бездушные каменные подземелья не приносили радости. Помчался в Камышин к рыбакам. Затем Пензенское училище механизации сельского хозяйства и работа на целине трактористом.

И новая ветвь исканий, предтечи писательского труда: служба в армии в Подмоскowie, работа корреспондентом дивизионной газеты «Всегда начеку», затем окружной газеты «На боевом посту», редактором отдела поэзии издательства «Советская Россия»... Позади остались годы учёбы в педагогическом институте, совмещаемые с работой и творческими поездками по стране, выступления перед многочисленными аудиториями на полевых станах, в воинских частях, в школах, на заводах.

Кроме отдельных изданий поэтических сборников А.А. Богданович выпустил два тома избранных произведений (М.: Современный писатель, 2000 и М.: Вече, 2013).

Гражданская позиция, глубочайшие любовь и уважение к труженикам земли передаются читателям его поэтических книг, не оставляя их равнодушными. Армейская тема, тема Великой Отечественной войны и нашей великой Победы в ней – также одни из главных в стихах Анатолия Александровича.

***Нина Решетняк,
заслуженный работник печати
Московской области.***

* * *

Серебряная память!
 Походные костры.
 Засады и атаки,
 Бессменные посты.
 Точёная ветрами,
 Калёная в крови,
 Серебряная память
 Лежала средь травы.
 К шершавой рукояти
 Притронулась рука...
 Серебряная память
 Из ножен потекла.

1966

ТАЙНА ШАЛЯПИНА

По паспорту — русский крестьянин,
 По шумным афишам — артист.
 Богат, именит, но печален,
 Как сорванный с дерева лист.
 За Волгою — берег родимый
 Гудел паровой трубой...
 Он снова в дороге, гонимый
 Лихой эмигрантской судьбой.
 И люди — не люди. И скучно.
 И ночью отчаянный страх.
 В наклейках, при нём неразлучно
 Большой чемодан на ремнях.
 Когда в полупьяном отеле
 Смолкали оркестры и смех,
 Ремни осторожно скрипели,
 Храня свою тайну от всех.
 Что может быть лучше богатства —
 Брильянтов — в чужой стороне?
 Они в чемодане хранятся
 Глубоко на кожаном дне.
 Так думали те, кто артиста
 Одетого видел в шелка...
 К нему приходила Отчизна
 Во сне сквозь дожди и снега.
 Под хмарью небес умирая,
 Он выдохнул тихо:
 — Прости!..—
 И вдруг зарыдал, прижимая
 Заветную тайну к груди.
 Друзья чемодан расстегнули.
 И тут зашуршала, пыля,

Горячая, словно в июле
 На пашнях России,
 Земля.

1976

РАЗДУМЬЕ

Живём от именин до именин
 И погоняем время в суматохе.
 И оглянуться просто — без причин —
 Нам некогда на вскрученной дороге.
 Скрипит, скрипит телега бытия,
 То в радости, то в горести колёса...
 Не различить на ней, где ты, где я? —
 И колея — как вечный знак вопроса.
 Вобрала пыль тепло родной земли,
 А родники — глубинное дыханье...
 Мы все на почве разума взошли
 И устремились дальше — в мирозданье.
 Заманчивый космический виток!
 И если верить линиям расчёта,
 То можно снова полевой цветок
 Прижать к губам, вернувшись из полёта.
 Задуматься о суетности дня
 Со стороны нездешнего простора.
 И холодок межзвёздного огня,
 Пронзив меня, дойдёт до косогора
 И обожжёт блестящую траву,
 В которой степь рождается певуче.
 Звенит пчела: «Живу! Живу! Живу!...»
 И радоваться будничному учит.

1979

БЫЛА ЛИ ВОЙНА

Была ли война? Был ли дом наш в при-
 целах?
 Бросался ли в поле под танки июнь?..
 Медалью мальчишка играет в пристенок,
 Звенит об асфальт золотая латунь.
 Стираются горя суровые метки,
 Но разве бомбёжки уйдут в забытьё?..
 Пылится горбушка на лестничной клетке —
 Была ли война для швырнувших её?
 Раздать бы победный салют по лимиту,
 Чтоб в памяти каждого небо зажглось...
 Была ли война? Старика инвалиду
 В автобусе места присесть не нашлось.
 Взмывая легко быстрокрылой семьёю,

Весёлые ласточки радугу ткут...
 Была ли война? Тишина над землёю
 Такая, что слышно, как реки текут.
 Мы стали отцов умудрённей и старше,
 Которых труба в эшелон позвала...
 Была ли война? И подумать-то страшно –
 Какая по счёту на свете была!
 Живые приходят оплакивать мёртвых.
 Берёза кручинится, словно вдова...
 Как странно, что после дождей пулемётных
 Не выросла в поле стальная трава.

1980

И ОБ ЭТОМ РЕЧЬ

Зол сарказм. Молва неисчерпаема.
 Обыватель хохотом согрет:
 Ходят анекдоты про Чапаева.
 Может, шашку вытащить на свет?
 Чтобы, отрезвев от ветра дальнего,
 Люди грязные закрыли рты,
 Чтобы в ней героя легендарного
 Отразились гневные черты.
 Ветер скачет по дорогам нарочным,
 Следом пыль, хоть солнышко гаси.
 Ой, Василий батюшка Иванович,
 Строй полки да Знамя выноси!
 Встанем в хлебосеющем Отечестве,
 Обнажив снаряды кулаков,
 Против всякой подзаборной нечисти,
 Как когда-то против беляков!
 На граните конник, что метелица.
 Время ярко обжигает встречу.
 И не бурка за плечами стелется –
 Крылья славы. И об этом речь.

1982

РОДНИКИ

Снова в листьях забрезжила осень.
 И проглянула хмурая даль...
 Над землёй паутины разносят
 Непомерную птичью печаль.
 Крик гортанный и щебет летучий,
 И в груди леденящий восторг,
 И цепляются низкие тучи
 За овин, за овраги, за стог.
 Подпоясалась речкой деревня,
 И окошками чистыми в ряд
 Отражает высокий и древний

Путь суровый пернатых бригад.
 Вдоль домов по дороге размытой
 Пробирается к нам грузовик,
 И шофёр, пожилой и небритый,
 Показался знакомым на миг.
 Трясса кузов от дымного ветра,
 И колёса жевали кювет...
 Второпях прикурив от рассвета,
 Я умчался за ливнями вслед.
 Как бы ни было грустно и больно,
 Но вдали от родимых полей,
 Птиц встречая, я думал невольно,
 Что они из деревни моей.
 Поднимаются, будто завеса,
 И плывут на разгульных ветрах
 Из того древнерусского леса,
 Где, как родинки, гнёзда в ветвах.

1983

СЛЁЗЫ

Тяжёлые травы июня
 Предутренней плачут росой.
 Речушка – степная шалунья –
 Небесной играет слезой.
 Всё в жизни на расстанях вешних –
 То дождь, то туманы, то снег,
 И горе в слезах безутешных,
 И слёзы сквозь призрачный смех.
 Поросшая горькой лозой,
 В ковыльной теряясь дали,
 И эта речушка – слезою
 Стекает по лику земли.
 Из космоса в вечер погожий
 Вдруг спутник блеснёт синевой,
 Своим отраженьем похожий
 На каплю слезы грозовой.
 Как слёзы, сверкают озёра,
 Гремит реактивная быль.
 И сыплются спелые зёрна
 Слезами в дорожную пыль.
 Открытый горячему зною
 И молча кричащий от ран
 Застыл всенародной слезою
 Геройский Мамаев курган.
 Знамёна шумят огневые...
 Звенит оркестровая медь
 О тех, кто, как слёзы, живые
 Упали в прожжённую твердь.

1983

ВЕТКА РОДИНЫ

Снегири да пахари в полях,
 Да шершавые от стужи ветры,
 Да ремни дорог, сквозь километры,
 Что колёса крутят второпях.
 Где-то над землёй явился снег
 И летит из призрачного сита.
 И машины, фыркая сердито,
 Будто кони, сдерживают бег.
 То светлей дорога, то темней,
 И, дыханьем деревень согрета,
 Здравствуй, даль — славянская примета
 Вольноликой родины моей!
 Живы люди. И земля жива,
 И колосья из снежинок выльет...
 Птицами прострелена навывлет
 Чуткая в морозы синева.
 Зачерпну ладонью лунный снег
 И глаза усталые раскрою:
 Всё впитал я с молоком и кровью,
 Как и всякий русский человек.
 А дорога в безголосой мгле
 Вдруг огнём откликнется знакомо:
 Из окошка свет родного дома
 Отовсюду виден на земле.
 В тишине прогнётся колея,
 И природа обретёт расцветку.
 Снегирями вспыхнувшую ветку
 Мне подарит родина моя.

1983

МИЛОСЕРДИЕ

В забытые взглядишь иконостасы —
 Темнеют доски и чернеет медь.
 Таких, как ты, искали богомазы,
 Чтоб милосердие запечатлеть.
 Оно ничуть в веках не потускнело,
 Но в блеске лакированных машин
 Его нам не хватает то и дело
 На линиях космических вершин.
 Мне без тебя и в радости тревожно,
 Во всём на свете, что ни назови.
 Мне без тебя представить невозможно
 Святое милосердие любви.
 Глаза полны терпения и веры,
 И посреди безликой суеты
 Ты — на стене обветренной пещеры

И на изящном слайде — тоже ты.
 Привычно милосердие природы,
 Как шелест нив и как осинок дрожь,
 Как в отблесках осенней позолоты
 Бесшумно льётся паутины дождь.
 Всё под луной не раз переменялось,
 Но постоянна преданность в крови.
 И, значит, милосердие — не милость,
 А имя милой. И самой любви.

1986

* * *

Заскучает ветер без причины
 И дождя перемотает нитки.
 И седые бабы, как лучины,
 Догорают век свой у калитки.
 Подойду к ним с думой о ночлеге
 И, ещё не вымолвив ни слова,
 Вдруг услышу: «В русском человеке
 Доброта, как храм, — всему основа...»
 Буду спать в передней на диване,
 Где в углу лампадный свет иконы.
 Где в молитвах душу раздевали
 Перед Богом люди сквозь поклоны.
 Не успеет солнышко разлиться
 В паутине радостей осенних,
 Как вздохнут бессонно половицы
 Под ногой хозяйки в чутких сенях.
 За окном с застенчивых осинок
 Ветер платья оборвёт свирепо...
 Жёлтый лист, как давний фотоснимок,
 Где из леса восходило небо.
 И гнездилась доброта издревле
 В стороне от плахи и от трона.
 Вся душа, как русская деревня,
 Ликом вся, как русская икона.

1989

СЛЕПАЯ

Где-то за облаком вскрикнула птица,
 Я оглянулся в гудящей толпе.
 Мимо сновали безмолвные лица —
 Каждый в пространстве и каждый в себе.
 Может, в богатстве душа оскудела
 Или от жадности стала, как бес?
 Но никому просто не было дела
 До прозвучавшего зова с небес.

У перекрёстка слепая старуха
 Всех осеняла хранимым крестом.
 И в вышине — будто таинство духа —
 Белое таяло на голубом...
 И не уйти никуда мне от крика,
 Не убежать от сознания того,
 Что в первозданных глубинах сокрыта
 Истина жизни и дня моего.
 Вот и гляжу на прохожих в надежде,
 Вот и печалюсь, что редкий из них
 Взгляд в небесах беспокойно задержит,
 Освободившись от тягот земных.
 Жизнь распознав до последнего круга
 Волосом каждым, что с ветром дрожит,
 Вдруг просияла слепая старуха:
 — Ангела вижу!..
 И вам бы дожить...

1991

МЕРИДИАН

Выстоит, как прежде, переселия
 Всё, в душе молитву сотворяя.
 Может, и жива ещё Россия
 Троице Святой благодаря.
 В звоне колокольного напева
 Будто льются голоса мирян.
 Через поле каждое и древо
 Сергия пролёт меридиан.
 Вёсны ли пребудут или зимы,
 Дух природы обновленья ждёт.
 Где-то в нас неслышно и незримо
 Вера православная живёт.
 Запахи степной травы и хлеба —
 Это всё, что в жизни обрели...
 И меридиан восходит в небо
 Мимолётной радугой земли.

1992

РЕКВИЕМ

Хутора мои, хутора,
 Как растерянные крестьяне,
 Не скопив ни зла, ни добра,
 Затерялись в степном бурьяне.
 Будто лошади, трактора
 Спотыкаясь, пропали где-то...
 Хутора мои, хутора
 То без хлеба, а то и без света.

От заката и до утра
 Лишь туманы бредут стадами.
 Хутора мои, хутора —
 Отпахали и отстрадали.
 — Самогонка, что медсестра,—
 Шепелявят ещё живые.
 Хутора мои, хутора —
 Хаты-мазанки нежилые.
 А по улице всё ветра
 Да снега, да дожди косые...
 Хутора мои, хутора —
 Дети брошенные России.

2005

ПАРАДОКС

Как грабили Россию, так и грабят —
 Одни извне, другие изнутри.
 И даже из кладбищенской ограды
 Крест унесли с разводами зари.
 Страна воров. Воров — читай, как хочешь.
 Хоть слева или справа — всё одно.
 Чего, признайся, ветер, ты хохочешь,
 Листвой плюёшь в раскрытое окно?
 Нет, не случайно, вовсе не случайно
 У храма строится гаражный бокс...
 Жизнь не безрадостна — она печальна,
 И в этом азиатский парадокс.
 Патриотическое равнодушие!
 Святое — за бесовские гроши.
 И что тебе, потомок, вслед идущий,
 Привидится за дымом анаши?
 Крадётся вновь из тишины кордона
 Тот, кто забыл мудрейшее вчера:
 Ни русский крест, ни русская икона
 Чужой земле не принесут добра.
 Не выручить и не вернуть с послами
 Всего, что перекупщик оценил...
 Но небеса ещё покуда с нами,
 И росы в травах дедовских могил.

1990

СУМА

Иностранная слышится речь,
 И чужие стучат башмаки.
 Учат родину хлебушек печь
 Из какой-то хвалёной муки.
 Кто из нас от стыда не ослеп?!

Кто не умер?! Господь, сохрани!
Пусть не сладкий, но собственный хлеб
Ели мы и в блокадные дни.
И куда подевалась та печь,
Из которой и бабка, и мать
Умудрялись такое извлечь,
Что душою лишь можно понять.
Хлебы, хлебы! И корочки хруст,
И пшеничного мякиша дух...
Самым вечным из камня искусств

Остаётся лишь мельничный круг.
Да ещё удивленье в груди
Перед самым обычным зерном.
Что осталось? А ты погляди,
Как мы бьём суетливо челом.
Ах, ты, гордость! Войди, не стучась,
Будь хозяйкою в русской семье.
Но будить это чувство – подчас,
Как у нищего шарить в суме...
1989





ТЯЖЕСТЬ КРЕСТА

9 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 83 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ХУДОЖНИКА ВИКТОРА ПОПКОВА (1932–1974). А ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, 14 МАРТА, ССОНЧАЛСЯ ПИСАТЕЛЬ ВАЛЕНТИН РАСПУТИН. ПАМЯТИ ГОРЬКОГО ИХ ПОКОЛЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Искусство первой половины XX века прошло под знаком мировых потрясений. Символом их стало полотно «Купание Красного Коня» Петрова-Водкина. Другой символ эпохи и прообраз самой России дал на излёте века художник Виктор Попков, чей Мезенский цикл («Воспоминания. Вдовы», «Одна», «Северная часовня» и другие) по силе высказывания и глубине смысловых пластов стоит в одном ряду с Троицей Рублёва. «Воспоминания. Вдовы» (1966) наряду с «Купанием Красного Коня» (1912) Петрова-Водкина вбирают всю энергетику и трагедийность века, являясь гимном красоте и страданию человека. Вот два великих полотна XX века, которые есть ключ к русской цивилизации, к её трагедии и надежде на воскресение.

Написанные — одно на самом рубеже, другое под закат трагического XX века, эти два полотна имеют характерную особенность: они аккумулируют в себе суть происшедшего с Россией, обобщая это до уровня знака. О символике цвета картин Петрова-Водкина и Попкова можно писать целые исследования. Цвет торжества и страсти, и хтонических сил мятежа, цвет мученичества, но и цвет победы. Кумачово-алый и изумрудный — «Коня», багровый и пурпурный на пепельно-сером — «Вдов»... Здесь посредством одной только цветовой палитры выражены психологизм и семантика двух сюжетов. Ярая новь необузданного, грозного, неведомого, обернувшегося «мировым пожаром», и горький стоицизм жизни, гаснущей, но не сдающейся, жизни, укоренённой в вечности. Тут не просто — «есть женщины в русских селеньях»... Тут о самой Жизни — корчумой, но не сломленной, небезнадёжной. Это ведь о духе откровения, о вечности, о Промысле. Здесь живопись вновь восходит до откровения, как в живописи Николая Ге («Голгофа»), Врубеля («Пророк»), Рублёва и Феофана Грека. Жертвенный отрок на Красном Конё — и матери, вдовы, похоронившие свою надежду, своё земное будущее. Круг замкнулся, но сквозь земную безнадёжность проступает жизнь вечная. И пунцово горят, как «солдатская кровь»* пасхальные одежды старух, перекликаясь с Красным Конём. А в памяти встают Егорий — Георгий Победоносец и старинный извод — Архангел Михаил на пламенеющем коне, раскрывая новый пласт тем: и всадника на коне, и доживающих старух, у которых

* «Солдатская кровь» — старинное наименование домашнего цветка, ставшего лейтмотивом картин Попкова.

из красного угла, где испокон веку стояли иконы, глядит не Спас Ярое Око, а Карл Маркс...

Эти две картины — другой путь в искусстве. Их предельная собранность и цельность преодолевает раздробленность, взорванность, спутанность как революционно-го, так и постмодернистского сознания, запечатлённого хаосом, — и в жизни, бытовании, и в искусстве, и в философской мысли новейшей истории.

Первая мировая война дала толчок дальнейшим потрясениям на Евразийском континенте и сыграла решительную роль в формировании послевоенного мирового искусства. Футуризм, абстракционизм и в особенности дадаизм и поздний экспрессионизм — это её детища. России навязывается путь разрушения собственных культурных и моральных устоев. Хаос борется с традицией. Апофеозом расчленения старого и нового миров стало творчество Филонова, а обесценивания самих принципов искусства — теоретические труды и картины Малевича. Однако в самые страшные годы раздора и войны с собственной государственностью и культурой духовным противовесом этой бойне был Кузьма Петров-Водкин. Он стал тем тихим бастионом, оплотом любви к человеку в искусстве, дав самые чистые и пронзительные, самые духоносные образы человека и мира в эпоху потрясений. Духовным преемником этой линии оказался и Виктор Попков, хотя внешне этих двух художников не объединяет ни школа, ни изобразительный язык, ни сходство типажей, ни колористические поиски. Общее у них одно: оба искали в искусстве главного — сути. Обоих запечатлел грозный ангел, открывший им иное зрение; в полотнах обоих — жизнь, прошедшая через горнило беды, неотвратимости. Поэтому их программные произведения становятся фактом созидания, явлением духовным, примером высшей подлинности в искусстве, когда секулярное произведение приобретает сакральную мощь иконы, а существование очищается до бытия. Жизнь сквозь смерть прорастает на их полотнах...

Когда тяжело и страшно («Русь, куда несёшься ты?»), чтобы понять сердце России, обращаешься к произведениям такого рода, как к откровению. Именно на стыке просветлённости и гибели открывается глубина трагедии народа. Глубина его распада и утраты своих корней. И глубина надежды на его преображение.

Наследие Виктора Попкова — это наследие философа и исследователя, и значение его как художника в контексте мирового искусства и в реалиях новейшего времени осталось недооценено и неосмысленно специалистами. Много больших художников, но у Виктора Попкова — особое место в русской культуре, да и в мировой. По нему будут изучать феномен «1/6 суши с названием Русь» точно так же, как изучают тайну русской души по Достоевскому и Толстому. Самый главный вопрос человечества: «Каково мне умирать будет» — и именно этот вопрос является стержневым в творчестве Попкова. Не случайно так кровно сродни он именно писателям: Василию Шукшину, Александру Вампилову, Юрию Казакову, Николаю Рубцову. Это не просто люди одного поколения. Их большее объединяет — пронзительная, до смертной тоски любовь к своей измученной Родине и... стремление выстоять под тяжестью её креста. И в трагически коротких их судьбах — общая канва: крестьянские корни, отцы репрессированы или погибли на войне, голод, нищета, бродяжничество по стране, надрыв. Беда народная прошла по ним катком. Краток век художника. Выгорает дотла его сердце на лютном ветру бурного полустанка жизни, превращённое в факел самосожжения, в котором гибнет и бурьян греха, и бесценный дар.

У каждого честного художника своя передовая. Свобода — этот главный рубеж, за который, в конечном счёте, и платит каждый из нас «цену цененного».

Виктор Попков, бежавший в своём методе «литературщины», декларативности и прямой иллюстративности, поднимал, между тем, самые главные, жгучие, непреходя-



щие вопросы, свойственные русской мысли. И пришёл к своему языку в искусстве. Он возвёл жанровую живопись до уровня философии, до притчи. Вывел фигуративный реализм на новый уровень символизма; живой и глубоко индивидуальный портрет своего современника очистил до общечеловеческого архетипа: матери, воина, жертвы, творца. Всем существом борясь за высшую правду и выразительность образа, он жил в терзаниях и постоянном внутреннем конфликте и поиске, требуя от написанного не только достоверности, но и предельной знаковости изображаемого. Увлечённая и вечно экспериментирующая его душа стремилась воплотить в живописи преломлённое в собственной призме видение мира Эль Греко и Ван Гога, Фалька и Явленского, Куприянова и Малевича. И в этом опыте не было эпигонства и имитации. Попков бесконечно рос, постоянно повышая для себя сложность задачи и регистр звучания. «Иногда весь день не выпускаешь кисти — а в результате — ничего. А в другой раз вроде ничего и не делаешь, только ходишь да присматриваешься, но за это время совершается огромная работа, без которой не было бы прорыва к правде и сути пред-

мета», — цитирует его слова племянник Юрий Попков. Ток времени сквозит почти в каждой его работе — от программных полотен до малых эскизов и этюдов. И сегодня, когда принято говорить о «депрессивности» картин Попкова, стоит напомнить о парадоксе этого художника, о его «трагичности радостной», о глубинной созидательности его главных произведений, наполненных подлинностью бытия. Не разруха в его полотнах, но жизнь, мысль, связь времён и корней.

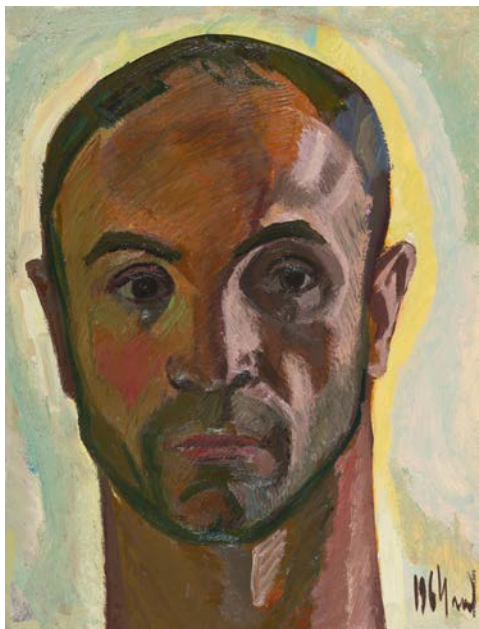
Говорят: «Вечно он рисовал своих старух». Казалось бы — что в них такого, чтобы возвращаться к их образам? Что ему до них? Но надо знать этих старух — этот русский тип, ныне ушедший, этих великих, неприметных, вынесших на своих плечах всю Россию, — чтобы постичь, почему так захлёбывалось от любви и нежности к ним его сердце. Моё поколение ещё застало этих женщин — в белых платках и тёмных платьях, с твёрдыми глазами, в которых не было места страху. Нечеловеческое терпение, кротость и основа. Ничего для себя, всё — другим. Это были изваяния. Таких людей больше нет, вышли. Их выковали три войны: Империалистическая, Гражданская и Великая Отечественная. Не сломили коллективизация, голод и сталинские репрессии. Калёным железом выжигала из них система всё живое — да не выжгла. Такие они были, матери — Шукшина, Вампилова, Белова, Абрамова, Астафьева...

Такой была мать Виктора Попкова. В каждой его старухе проглядывает она — Степанида Ивановна, крестьянка и сама безотцовщина, жертвенная, верная. Виктор, в девять лет потерявший отца, погибшего в самом начале войны, видел ежедневный материн подвиг, её немой плач и решимость — хрупкой женщины, оставшейся с четырьмя детьми на руках. Это и сформировало его как человека. Здесь корни того подспудного героизма, которым были пронизаны его первые произведения, светлые, поющие радость труда: самоотречение было для его природы нормой и потребностью. Ещё не сокрушены были надежды юности. Конъюнктура была ему чужда, о чём говорит вся жизнь Виктора, шедшего на открытый конфликт с властью ради того, что считал правдой. И скоро тональность его картин изменится до неузнаваемости. Уже «Строители Братской ГЭС» Попкова, принятые и одобренные властью, являются неоднозначным документом времени, отразившим бездумную стихию народного энтузиазма, перебившую хребет сибирской деревни, всему вековому укладу поселений, живущих на Ангаре. Попков не романтизирует своих строителей. Преисполненные сознанием важности происходящего и своего участия в истории, его герои, эти бывалые люди, не осознают, что за великими и славными свершениями стоит гибель целого региона родины. Жизни, что была на этой земле, приходит конец. Её заповедной былинной цельности, её старинной архитектуре, говору, её промыслам, природе. И осуществят этот апокалипсис улыбчивые самоотверженные и светлые люди, трудяги, не сознающие, винтиками какого процесса они стали. Вот она — победа идеологии над сознанием, опьянённым новым мифом. Пройдёт с десяток лет, и этнографы будут изучать то, что благополучно погубила стройка века, писатели заговорят о катастрофе малых деревень, затопленных или вымерших, Валентин Григорьевич Распутин напоследок ещё раз покажет миру своё «Прощание с Матёрой», пройдя вместе с кинодокументалистами и писателями по Лене и по Ангаре. Въяве повторится история былинного града Китежа, ушедшего под воду от мерзости и безумия мира.

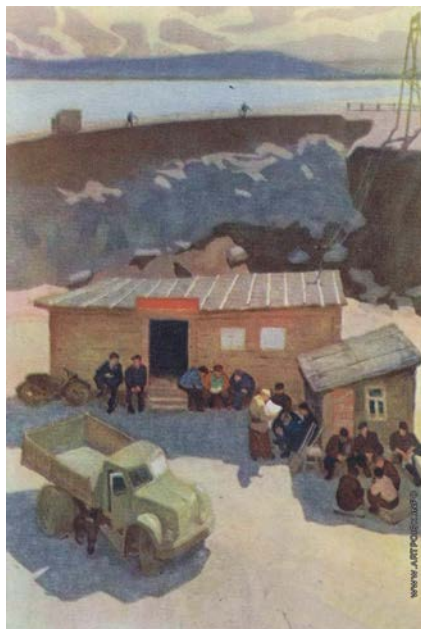
А пока страна воспекает своих героев...



ХУДОЖНИК ВИКТОР ПОПКОВ



Автопортрет. 1964. Бумага, масло, 40×33



Контора в котловане. 1958. Холст, масло



Художник в деревне. 1967. Холст, масло, 120×170

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ...



Бригада отдыхает. 1962–1965. Холст, масло, 178×204



*Молодость. 1957.
Холст, масло, 120×167*



*Интерьер. 1962.
Картон, масло, 119×74*

ХУДОЖНИК ВИКТОР ПОПКОВ



Строители Братска. 1960. Холст, масло, 183×302



Фиолетовый вечер. 1960-е. Картон, масло, 50×70

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ...



Воспоминания. Вдовы. 1966. Холст, масло, 160×226,5

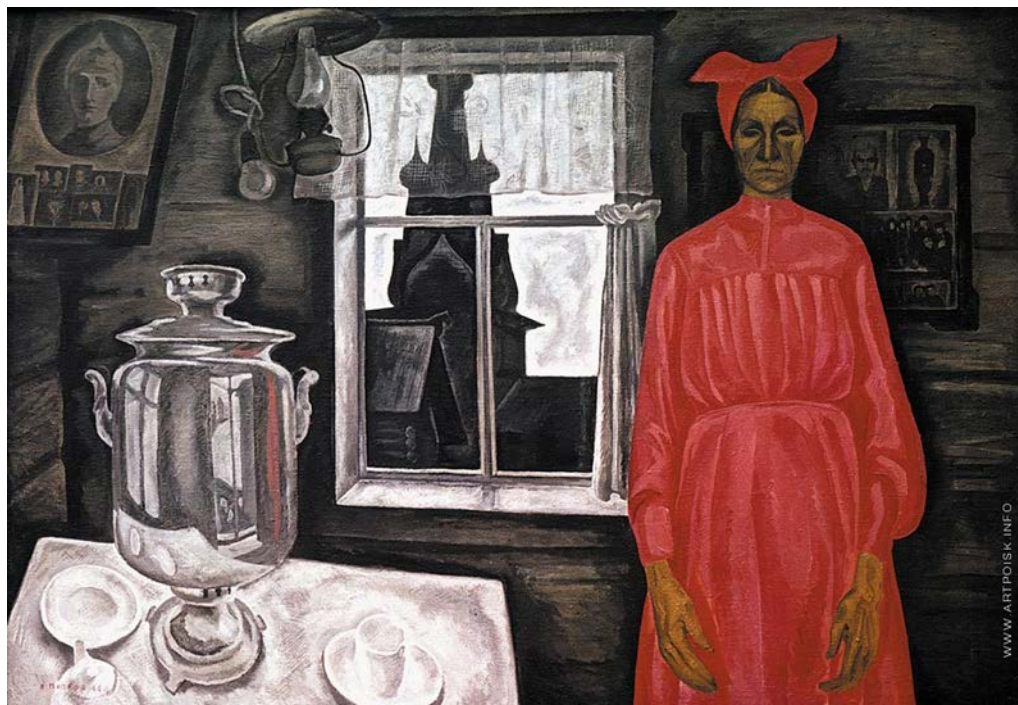


Дом. 1970. Картон, масло, 49,5×70

ХУДОЖНИК ВИКТОР ПОПКОВ



Двое. 1964. Холст, темпера, 150×201



Одна. 1966. Холст, масло, 120×170

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ...



Хороший человек была бабка Анисья. 1971–1973. Холст, масло, полихлорвиниловая темпера, 285×345



Октябрь. 1970. Холст, масло, 80×126

ХУДОЖНИК ВИКТОР ПОПКОВ



Северная песня. «Ой, да как всех мужей побрали на войну». 1968. Холст, масло, 169×283

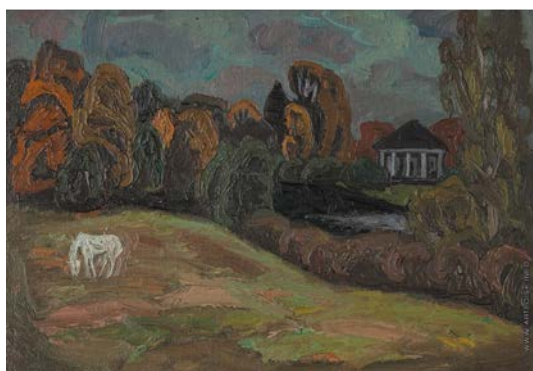


Развод (Светлана, мама, папа и бабушка). 1966. Холст, темпера, 110×150

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ...



Осенние дожди. 1974. Холст, масло, 169×172



Тригорское. Пейзаж с лошадей. 1973.
Холст, картон, масло, 50×70



Тригорское. Скамья Онегина. 1973
Холст, картон, масло, 47,5×70

В МУЗЕЕ КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВА ПРОШЛИ МУСТАФИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Юбилейный литературно-музыкальный вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения казанского поэта Виля Мустафина (1935–2009), прошёл в главном выставочном зале, на фоне исторических полотен, портретов поэта и автопортретов художника, которые при жизни были очень дружны. По традиции, чтения открывал основатель музея (и владелец значительной части картин в его экспозиции) Геннадий Васильевич Пронин, в своё время познакомивший Константина Васильева с Вилем Мустафиным. Он рассказал об их дружбе, их общих поездках к Косте в посёлок Васильево... Именно к этим двум казанским друзьям Константин Васильев направлялся в гости 29 октября 1976 года, когда на станции Лагерная художника вместе с другом сбил проходящий мимо товарняк.

В чтениях также принимали участие кандидат философских наук Камилль Хайруллин, автор статьи «Трудные судьбы таланта: Константин Васильев и Виль Мустафин», а также доктора философских наук: завкафедрой философии КНИТУ (КХТИ) Владимир Курашов и завкафедрой философии КНИТУ (КАИ) Натан Солодухо.

Выступили на вечере и гости. Руководитель литературного объединения ДК КАМАЗ, член Союза российских писателей Ольга Кузьмичёва-Дробышевская исполнила несколько известных песен на стихи Марины Цветаевой – любимого поэта Виля Мустафина, а также представила гостям Алексея Назарова и Нурию Нурееву – молодых участников нового набережночелнинского литобъединения, которое теперь курирует Татарстанское отделение Союза российских писателей. Это лито открылось недавно и ещё не имеет собственного названия. Председатель Казанской писательской организации СРП, драматург Александр Воронин предложил назвать литературное объединение «Эвридика», памятуя о преемственности с легендарным камазовским «Орфеем»... А пока договорились, что казанцы приедут в Набережные Челны – на очередное занятие в ДК КАМАЗ, и дальнейшие совместные выступления двух литературных объединений Татарстанского отделения СРП станут регулярными – эту инициативу поддержали все собравшиеся дружными аплодисментами.

В рамках Мустафинских чтений также прошла презентация четвёртого выпуска литературного альманаха «Галерея», изданного к 80-летию Виля Мустафина в Санкт-Петербурге (издательство «ФормаТ», 2015) при поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей. Со стихами выступали авторы альманаха: лауреат Всероссийской Державинской премии, руководитель литературного объединения имени В.С. Мустафина Михаил Тузов, а также Людмила Уфимцева, Наиль Ишмухаметов, Светлана Мингазова и другие. На юбилейном вечере присутствовали вдова поэта Галина Михайловна Килеева, старшая его сестра Чечкэ Салаховна Мустафина, старший сын Эрик, друзья и одноклассники поэта.

Сергей Тимофеев



АЛЕКСАНДР ВОРОНИН

ТРИ ПЛЮС ТРИ — КАК ДВАЖДЫ ДВА

К 80-летию Виля Салаховича Мустафина.

Прошло пять лет, как его нет с нами. Но все, кто знал Виля Салаховича, могут подтвердить — он остаётся среди нас. Прежде всего, как поэт. Ежегодно проводятся Мустафинские чтения, появляются большие критические статьи о его творчестве. Например, публикация Камиля Хайруллина «Стихи диктуются богами...» в литературном журнале «Аргмак. Татарстан» (№ 2(15)2013). Автор статьи, кандидат философских наук, исследователь русского космизма, даёт обстоятельный анализ религиозно-философских аспектов в поэзии Виля Мустафина.

Не берусь дополнять или оспаривать философов и литературоведов. Лишь оставлю внимание читателей на одной особенности мустафинского миро-воззрения (он сам настаивал на дефисе). В отличие от большинства поэтов, писавших в конце двадцатого столетия в России (СССР), Мустафин не был филологом. По университетскому образованию, как и по роду основной своей деятельности, Виль Салахович был математиком. И математика в его жизни сыграла важную роль.

Старшая сестра Чэчке, которая старше Виля на шесть лет, ещё в школе проявила незаурядные математические способности. И на протяжении всей жизни преподавала математику в Казанском педагогическом институте (до того, как тот стал университетом, чтобы после раствориться в недрах федерального ПФУ). И с детских лет приветствовала интерес брата к этой «чистой» науке. Ведь в математике советская идеология так и не нашла, к чему придраться... В последние годы Чэчке Салаховна продолжает собирать сведения о жизни их отца Салаха Атнагулова, постоянно участвует в Мустафинских чтениях. На прошедших в музее Константина Васильева «Осенинах» (ежегодном литературном празднике Татарстанского отделения Союза российских писателей) Чэчке Салаховна заметила в короткой нашей беседе:

— Я всегда удивлялась, откуда у нас в роду проявились математические способности — и у меня, и у Виля, и у его сына Эрика. Ведь мы всегда считали, что наш отец был филологом... А недавно вдруг натолкнулась на свидетельство, что Салах Садриевич Атнагулов какое-то время преподавал математику на женских курсах! Выходит, гены в нас всё же и в этом сказались?..

Я просил её выступить по этому поводу, Чэчке Салаховна всё же отказалась. Но я не откажу себе в удовольствии обнародовать по этому поводу краткие заметки.

Виль Салахович любил вспоминать, как в детстве по ночам сидел на коммунальной кухне с учебником сестры-старшеклассницы, пытаюсь решать задачки, кои ему явно были «не по возрасту». Именно в том и было для него наслаждение — ничегошеньки не понимая, тем не менее, упорно искать решение трудной задачи. Мустафин особенно восторгался тем состоянием, которое вдруг приходило... И задача как бы

сама собой решалась, непостижимыми путями откуда-то свыше приходило единственно правильное решение, которое казалось теперь таким простым и изящным! А главное — красивым.

Я не математик, к сожалению, но в детстве тоже находил удовольствие в решении математических и особенно геометрических задачек из учебника. Гармония чисел, сопоставление треугольников и трёхмерных фигур, невозможность вмешаться «вещным словом» в ход логических рассуждений — всё это завораживало. Высшая математика для меня, конечно, осталась недоступна, жизнь складывалась так, что меня слишком рано увлёк театральный мир, лицедейство. Тем не менее, я хорошо чувствовал и понимал, что имел в виду Виль Салахович, когда говорил об эстетическом наслаждении, которое доставляют сложные математические построения. «Мне математика нравилась с детства, — признавался Мустафин. — Когда все дома засыпали, я начинал решать задачки по математике, чтобы никто не видел этой моей страсти, я почему-то стеснялся её. Но я не ставил перед собой цели просто получить решение задачи — так сказать, решать «в лоб», — а старался сделать так, чтобы решение было красивым. Понятие «красиво» впервые в жизни ко мне пришло из математики. Красиво — значит кратко, просто, изящно. И моя естественная потребность в красоте попервоначалу, видимо, и удовлетворялась математикой. Кстати, среди математиков понятия «красивое решение», «изящное решение» не требуют пояснений. Разногласия могут возникать лишь при обсуждении вопроса, какое из решений «красивее», но это дело вкуса. Я же при решении задач старался отключать своё «рацио». Долго тренировал себя в попытках отключить рационалистическую часть мозга. Неинтересно решать задачи, когда включено это «рацио», оно всё тянет к тому, как «надо», — получается не изящно, некрасиво».

Мустафин и музыкой занимался также увлечённо, профессионально и с наслаждением. Высшая гармония, говорил он, имеет единую природу — как в поэзии, так и в музыке и математике. Именно она влекла молодого Виля, казалось бы, в такие различные сферы деятельности. Музыка сфер откликалась в его душе самыми разными мотивами: то в математических формулах, то в классических симфониях и джазовых импровизациях, наконец, в поэзии Серебряного века, особенно в стихах Марины Цветаевой.

Сегодня Мустафина вспоминают в первую очередь как большого самобытного поэта. Но не будем забывать, именно математика дала первый толчок в развитии одарённой натуры. В старших классах Виль побеждал в городских математических олимпиадах, что открыло ему, сыну «врага народа», путь на физмат Казанского университета. По окончании немногие выпускники могли пробиться в аспирантуру, поэтому можно не сомневаться, что Виль Мустафин был на курсе в числе первых. Да и отца к тому времени реабилитировали («за отсутствием состава преступления»). А сыну его посчастливилось работать над кандидатской диссертацией под руководством выдающегося учёного, профессора Нордена, главы Казанской школы геометров. Александр Петрович познакомил молодого математика со своим другом — физиком Борисом Козыревым, с которым Виль Салахович дружил до конца 70-х.

Напомним, Борис Михайлович Козырев — член-корреспондент АН СССР (1968), легендарный завлаб Казанского физико-технического института, получивший мировое признание в области исследования электронного парамагнитного резонанса. Крупнейший учёный-физик современности, он в то же время много сделал для признания казанской общественностью авангардного художника Алексея Аникеёнка, большого друга Вили Мустафина (их сблизило литобъединение имени Н. Луговского). Именно Козырев познакомил с картинами Алексея московских знаменитостей

— Евгений Завойский, Пётр Капица и многие другие учёные вслед за Борисом Михайловичем приобрели полотна казанского кудесника, а Капица даже организовал выставку Аникеёнка в Институте физических проблем АН СССР!

С Вилем Мустафиным маститый академик говорил на равных, как и со всем молодым окружением, однако не только о математике. Так, Борис Михайлович познакомил молодого поэта с собственным переложением «Слова о полку Игореве» на современный русский язык и с одной из любимейших своих научных работ — литературоведческим исследованием «Письма о Тютчеве», которое увидело свет лишь после его смерти («Литературное наследие», том 97, 1988) и получило высокие оценки таких академиков-гуманитариев, как Михаил Гаспаров и Дмитрий Лихачёв.

Позже Виль Салахович с грустью признавался, что в своей жизни так легко и «солидарно» (любимое козыревское слово) он ни с кем не общался, как с Норденом и Козыревым. Они были «на одной волне», если признать мустафинскую идею о том, что человеческий мозг — это вовсе не «генератор гениальных или генитальных мыслей», а лишь уловитель их из безграничного океана мыслеформ, ноосферы. Всё дело лишь в том, на какой диапазон настроен наш головной «радиоприёмник». Далеко не всех академики подпускали для общения на равных, в то же время никогда не делили друзей по возрасту и званиям. И Виль Мустафин усвоил эти заповеди на всю жизнь.

Кандидатской диссертации он так и не защитил. Хотя степень готовности её была крайне высокой. Норден и Козырев одобрили работу Мустафина, и карьера учёно-го-геометра вычерчивалась довольно зримо. Но Виль вдруг решил круто изменить вектор судьбы — поступил на вокальное отделение Казанской консерватории.

Певческие способности Виля Мустафина ещё в университетской самодеятельности сделали его широко известным в студенческой среде. Богатый обертонами бас заметили не только организаторы праздничных концертов в КГУ, но и профессиональные музыканты. Сам ректор Казанской консерватории, выдающийся татарский композитор Назиб Жиганов пророчил ему большое будущее и способствовал его зачислению в КГК.

Возможно, Виль стал бы известным певцом, поскольку бас — вообще редкость. Но, к сожалению, певческой карьере воспрепятствовали семейные обстоятельства. Мустафин стал отцом, надо было кормить семью. И консерваторские занятия пришлось оставить.

Пятое здание КАИ расположено прямо напротив консерватории, по другую сторону площади Свободы, так что крутой поворот в биографии оказался в географическом смысле не таким значительным. В Казанском авиационном институте Виль Мустафин и раньше бывал не раз. По воспоминаниям очевидцев, иногда заседания литературного объединения имени Н. Луговского переносились из Союза писателей ТАССР в помещение студклуба КАИ. Там же базировалось и знаменитое СКБ «Прометей», и Виль хорошо знал его «отцов-основателей». Так, с Булатом Галеевым они вместе ходили в лито, а с Геннадием Прониным их на всю жизнь связал художник Константин Васильев.

И вот студент консерватории стал преподавателем. Как вспоминают студенты тех лет, Виль Салахович был одним из любимых математиков. И сам Мустафин признавался, как нравилась ему преподавательская деятельность. Хотя со временем снова встал вопрос о защите кандидатской диссертации... Оставаться долго без учёной степени вузовским преподавателем было крайне сложно. Но входить в одну реку дважды не хотелось...

Мустафину-математику снова повезло. Однажды он встретил на улице знакомого. Нил Хабибуллин тоже преподавал в КАИ, но к тому времени уже возглавил новый

научно-исследовательский институт вычислительной техники. И ему нужны были математики-теоретики. А Мустафину нужна была жилплощадь, которой молодых преподавателей в КАИ не жаловали. Второй брак Виля Салаховича (и рождение второго сына) обострили квартирный вопрос, а значит — ангелы-хранители вовремя подготовили его решение.

В ГНИПИ-ВТ жилищные перспективы были более чем реальные, институт строил хозспособом собственное здание на улице Губкина, а в непосредственной близости от него уже выделили земли для жилищного строительства. Так что Мустафин над предложением Нила Фатыховича долго не раздумывал. И снова круто изменил орбиту своей планиды. Возглавил в новом институте одну из теоретических лабораторий.

Аббревиатуры в советские годы мы произносили легко, скороговоркой, а смысл их расшифровывали слёту, как кроссворды. Ныне к каждой из них полагается сноски. За семью магическими буквами ГНИПИ-ВТ тогда скрывалось очень длинное и привлекательное наименование: Государственный научно-исследовательский проблемный институт вычислительной техники по разработке и внедрению информационных технологий и средств вычислительной техники в народное хозяйство. Казанскую контору создали одновременно с семью такими же научно-исследовательскими институтами в других городах, чтобы советские программисты оперативно обеспечили крупнейшие промышленные предприятия СССР новейшими автоматическими системами управления.

ГНИПИ-ВТ возникло на базе специального конструкторского бюро завода электронно-вычислительных машин, который казанцы больше помнят как завод ЭВМ. Создатель и бессменный директор Казанского музея Константина Васильева, выпускник КАИ Геннадий Васильевич Пронин всю жизнь прослужил в том институте, а попал туда, можете себе представить, за три дня до его официального создания. Перед последним курсом их группу направили в СКБ проходить производственную практику, само собой, и дипломные работы были связаны с тематикой новоиспечённого в недрах «Матмаша» научно-исследовательского института. А в результате чуть ли не весь курс распределили в ГНИПИ-ВТ, где они стали ведущими специалистами. В частности, Пронин со временем возглавил отдел и стал главным конструктором АСУ для литейного и кузнечного заводов КАМАЗа, эти разработки позже были удостоены серебряной медали ВДНХ СССР.

Нил Фатыхович Хабибуллин был не просто директором ГНИПИ-ВТ, а гораздо больше — создателем, демиургом. С лёгкостью старика Хоттабыча он решал вопросы с новейшим оборудованием для лабораторий, обеспечивал специалистов жилплощадью. Со временем и Пронин получил квартиру в доме напротив Мустафина, хотя в общежитии ему пришлось задержаться гораздо дольше, чем Вилю. В его комнату, как вспоминали сослуживцы, после праздничных институтских вечеров набивалось к ночи столько народу, что сидели даже на подоконнике. И до утра оттуда слышался сочный мустафинский бас.

Вилю Мустафину не составило труда влиться в новый коллектив, где многих он знал по авиационному институту. Все они были молодыми и весёлыми, талантливыми и пытливыми. Без такого бурлящего интеллектуального бульона вообще неммыслимо было «догнать и перегнать Америку» по части компьютеризации, и Казань стала одной из главных кузниц отечественного электронно-вычислительного машиностроения.

К слову, компьютеры тогда помещались не в настольных металлических коробках, как теперь, а занимали залы с металлическими шкафами, напичканными электронными платами, при этом их производительность была настолько примитивной по

сравнению с нынешними нетбуками, что теперешние хакеры и в страшном сне представить не смогут.

Тем не менее, это были первые шаги. И слава первопроходцам, кому посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Не случайно и сегодня во всем мире славятся российские программисты — ведь у них была замечательная школа!

Двадцать лет своей работы в ГНИПИ-ВТ Виль Мустафин вспоминал, как самое счастливое и радостное время своей жизни. А многие институтские работники вспоминают его самого как авторитетного специалиста, руководителя лаборатории, не по годам мудрого собеседника, человека «не от мира сего». Некоторые за глаза называли его Пришельцем.

Нетрудно предположить, откуда могли прийти в ГНИПИ-ВТ такие сравнения. Именно в те годы была опубликована и быстро стала культовой знаменитая повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Сама атмосфера НИИЧА-ВО (научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства) была крайне созвучна духу конца шестидесятых:

«Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и девизом их было — «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них наконец в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чём именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же» («Суета вокруг дивана. Сказка для научных работников младшего возраста», 1965).

Счастливики из ГНИПИ-ВТ с полным правом могли эту цитату адресовать к себе. И были бы полностью правы. Впрочем, Виль Мустафин и тут бы возразил: в воскресенье можно было выспаться. Сам он больше всего любил ночь с субботы на воскресенье, когда все в доме заснует, и можно засидеться за столом до рассвета, внимая «музыке сфер»...

В эти годы Виль Салахович стихов практически не писал, однако много читал, пополнял свою библиотеку. Изучал религии. И организовывал в институте поэтические вечера.

Один из первых посвящался Марине Цветаевой. Его Виль Мустафин проводил прямо в своей лаборатории, куда набилось человек тридцать, кто успел прочесть написанное от руки объявление. Многие имя Цветаевой слышали, но стихи услышали впервые. А в дальнейшем поэтические вечера в ГНИПИ-ВТ стали регулярными.

Здесь же впервые прошла выставка картин Константина Васильева, который трагически погиб. Ехал с другом с закрытия выставки в Зеленодольске. Направлялся к своим друзьям в Казань — к Пронину или Мустафину, жившим по соседству. Геннадий Васильевич был в тот момент в командировке, и Виль Салахович сидел один у гроба художника...

Пронин потом организовал выставку. Мустафина попросил её открывать. И с тех пор это стало традицией — Виль Салахович открывал все выставки Константина Васильева в Казани, которые организовывали Пронин и его друзья.

В их институтской среде, как и во многих таких же «шарашках», гулял тогда «сам-издат». И наверняка многим из них была известна «Сказка о Тройке», продолжение повести братьев Стругацких о НИИЧАВО, запрещённое цензурой (весь тираж журнала «Ангара» был изъят, а главный редактор уволен), однако широко известная в машинописи.

Геннадий Васильевич вспоминает, что однажды привёз из московской командировки (из такого же НИИ, как и в Казани и Твери, Перми и Минске) подслеповатую машинопись поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». И сам ещё не успел дочитать — Виль выпросил, дал почитать другим, потом третьим... Её в конце концов «зачитали», и Мустафин долго каялся, извинялся, выспрашивал, что может предложить взамен.

Пронин рассказывает довольно иронично, что в отличие от них, программистов, математики-теоретики в институте считались элитой, «белой костью». По признанию Вилия Мустафина, якобы большую часть времени они занимались лишь созданием видимости какой-либо научной деятельности. А статьи свои сознательно перегружали сложными математическими формулами, чтобы пыль в глаза пустить.

В доказательство Геннадий Васильевич даже показывает старый сборник трудов ГНИПИ-ВТ, выпущенный в 1969 году. Три статьи в нём написаны Мустафиным в соавторстве с другими сотрудниками института: «Упорядочение записей в конструкторских документах типа ведомости спецификаций и ведомости комплектующих с помощью ЭВМ» (с В. Туйсиным), «Некоторые вопросы математического анализа процессов сборки» (с Е. Цукерманом), «Применение статистических данных для корректировки нормативов» (с В. Кашенковым) — и во всех статьях, даже не математику, хорошо видна прикладная и утилитарная мысль, выраженная вполне добросовестно.

С ироничной снисходительностью к «небожителям», высказанную Геннадием Прониным, явно не совпадают воспоминания другого программиста ГНИПИ-ВТ, их общего друга Аркадия Балаяна, также работавшего над созданием автоматизированной системы управления ПО «КАМАЗ». Так вот, он считает, что именно «Мустафин предложил программистам стандартный алгоритм, который в принципе покрывал 95% всех задач АСУ КАМАЗ... Я был один из первых и немногих, которые схватились за него, и именно этому алгоритму я обязан своим успехом в программировании. Справедливости ради надо сказать, что алгоритм был придуман не В.С., а был встроен в программную систему разработки отчётов RPG (может, кто-то ещё помнит), но ведь надо было его откопать, понять, что он действительно решает все поставленные задачи. Затем ещё перевести на русский язык с английского (тогда ведь на русском языке не было никаких руководств), да ещё адаптировать текст для наших целей». По словам Балаяна, проторённых путей решения многих задач, которые ставились перед программистами ГНИПИ-ВТ, тогда в принципе не существовало, и во многом благодаря Вилию Мустафину была решена и первой внедрена в АСУ КАМАЗ программа «Движение материальных ценностей на складах, цехах, заводах».

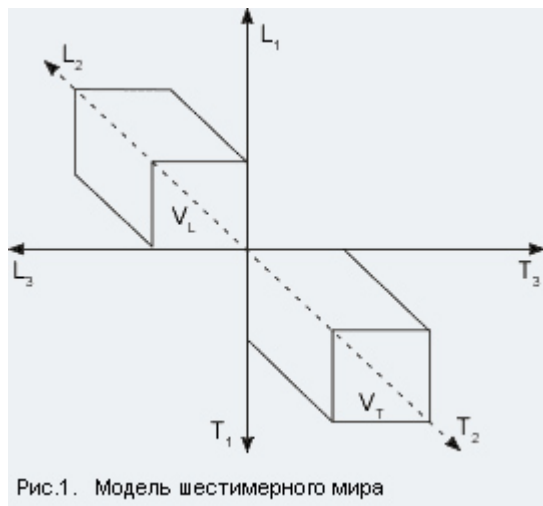
Так что нам вряд ли стоит, как многие сейчас это делают, сводить годы работы Вилия Салаховича лишь к проведению поэтических вечеров в институте и общению с друзьями... Лично мне Мустафин однажды рассказывал, что им порой приходилось ночами, не разгибаясь, работать над «закрытыми темами». В Казани было много оборонных предприятий, в том числе работавших на космические программы. Безусловно, сотрудничество с «КАМАЗом» было главным в течение многих лет и всем известным направлением в деятельности ГНИПИ-ВТ, но вряд ли единственным. Вся наука и промышленность СССР так или иначе работали на военно-промышленный

комплекс. Случалось, такие «шабашки» и оплачивались по отдельной ведомости. И вообще Виль Салахович с полным правом мог повторить в разных интервью и воспоминаниях: «Меня всю жизнь кормила математика!»

В годы перестройки ГНИПИ-ВТ начало лихорадить, советская школа программирования и ЭВМ явно не справлялась с конкуренцией, ведь на Западе уже выпускали портативные персональные компьютеры, вполне доступные рядовым пользователям. Вместо громоздкого института ещё пытались создать компактное хозрасчётное научно-производственное объединение «Волга», однако всем было понятно — это «начало конца». Мустафин дожидаться агонии не стал, ему предложили должность заместителя генерального директора ВНИПИ АСУ Минавтотранса РТ.

Даже в «лихие» девяностые, когда Мустафин вышел на пенсию, которая чуть ли не каждый месяц обесценивалась (мы очень быстро научились считать «деревянные» тысячами и даже миллионами, пока не провели деноминацию), Виль Салахович продолжал выжимать из формул суммы с тремя нулями, занимаясь подготовкой выпускников к поступлению в институты. О преподавании мы с ним не раз беседовали, он всегда поощрял мою работу в театральном училище (все двенадцать лет работы в «Казанских ведомостях» мне не хватало времени на преподавательскую деятельность) и признавался, что ему многое даёт общение с молодыми людьми. Разве что в последние пару лет он признался, что устал от «репетиторства».

Так что математический склад ума у Мустафина просматривался во многом, очевидно, и на миро-восприятие накладывал отпечаток. Поэтический мир Мустафина, каким он сложился в конце его жизни (ранние стихи были в духе эпохи, но не совсем в его духе), поражает не только огромностью пространства, но и необычностью пространственно-временных координат. Тут лишний раз вспомнишь, что имеешь дело с математиком.



(Рисунок взят с сайта Wikipedia)

Возможно, от Нордена или Козырева Виль Салахович очень рано узнал о работах барона Роберто Орсо ди Бартини, который в СССР стал Робертом Людвиговичем и в анкетах в графе «национальность» всегда писал «русский». Выдающийся авиаконструктор, которого сам Королёв называл своим учителем, Бартини ещё в 1965 году опубликовал статью о том, что мир является (3+1)-мерным только в восприятии нашего сознания, а в реальности физические явления происходят в (3+3)-мерном континууме: то есть число измерений времени равно трём, как и число измерений пространства. Иными словами, тот факт, что человечество воспринимает

время одномерным, поступательным и необратимым — это всего лишь издержки нашего ограниченного сознания. Как замечательно сказал сам Бартини: «Прошлое, настоящее и будущее — одно и то же. В этом смысле время похоже на дорогу: она не исчезает после того, как мы прошли по ней, и не возникает сию секунду, открываясь за поворотом».

Во многих разделах теоретической физики говорится о единстве пространства и времени, как именно единства «пространство-время». При этом даже теоретики продолжают рассматривать время лишь «одновременное», хотя признают три измерения пространства. Бартини вводит понятие шестимерного пространства-времени, возвращая времени недостающие два измерения и предполагая не только линейность, но некую площадь и объём времени. При этом Бартини не усложняет, а, наоборот, упрощает научные представления об окружающем нас мире! «Исследование (3+3)-мерного пространства-времени позволили Бартини в 1965 году сделать вывод: «Уравнения физики принимают простой вид, если в качестве системы измерения принять кинематическую систему (LT)», что позволяет представить любую физическую величину в виде «единообразного» аналитического выражения. А все размерности физических величин выражает всего через два параметра: L — пространство и T — время, — поясняет Аркадий Асеев на сайте poocosmology.ru. — Сейчас в Международной системе единиц измерений СИ используется семь основных единиц (длина, масса, время, количество вещества, температура, сила тока и сила света), две дополнительные (плоский и телесный угол) и около двухсот производных. Представление размерностей всех физических величин всего в этих двух параметрах позволило Р.Л. Бартини увидеть все законы физики в таблице, подобной Периодической таблице химических элементов Д.И. Менделеева. На основании этой таблицы он предсказал, а затем открыл новый закон сохранения — закон сохранения мобильности».

Разумеется, подобные упрощения для вычислений делают картину мира грандиознее и монументальнее, но никак не доступнее для понимания. Ещё больше вопросов ставит и работа Р.Л. Бартини (в соавторстве с П.Г. Кузнецовым) «Множественность геометрий и множественность физик». Оказывается, Лобачевский вовсе не потеснил Евклида, и периодическая таблица Бартини позволяет открывать новые бесконечные миры?

Вообще, Роберта Людвиговича забыли незаслуженно, и ныне его идеи справедливо возвращают в научный оборот. Однако дальше чужих цитат я не рискну забираться в подобных суждениях, опасаясь свернуть себе шею... Отмечу лишь, что Виля Салаховича эта тема интересовала чрезвычайно. Мы заговорили о ней однажды, когда обнаружили общие точки восприятия великой книги Даниила Андреева «Роза Мира». Более того, вдруг выяснилось, что мы — ещё не зная друг друга — оказались первыми её читателями в Казани! Первые десять экземпляров в начале девяностых годов привёз из Москвы, от вдовы Даниила Леонидовича, наш общий знакомый — Михаил Белгородский. Мне достался один экземпляр, три — моим знакомым... Судьбу остальных экземпляров я не знал. И с Мустафиным не был знаком. Но много лет спустя Виль Салахович стал первым, кто заговорил со мной о «Розе Мира», причём не скрывал восторгов и дополнял Андреева своими оригинальными выводами. Так, Мустафин утверждал, что Новый завет позволяет предполагать, что именно таким — (3+3)мерным воспринимал мир Иисус Христос.

Кстати, Михаил Белгородский тоже был математиком и в своё время также работал в ГНИПИ-ВТ. Я вообще начинаю подозревать, что все хорошие люди в Казани обязательно работали в институте у Нила Хабибуллина! Взять того же светлой памяти Игоря Цветкова, математика, ставшего священником в Храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище. Он крестил в своё время Виля Салаховича, он и отпевал Мустафина...

Множественность миров, хочу особо подчеркнуть, Виль Салахович понимал не столько метафорически, как многие стихотворцы, и не только метафизически, как немногие духовидцы, но математически точно и объёмно. Как и «пятое измерение»,

которое лично у меня ассоциируется только с ответом несравненного Коровьева изумлённой Маргарите (как в московской квартире могла поместиться такая огромная лестница и множество бальных залов?) Мустафину, возможно, была знакома и работа Р. Бартини «Пятимерная оптика». Поразительным образом Виль Салахович связывал все эти научные гипотезы с Учением Иисуса Христа, который говорил ученикам: «Вы во Мне, а Я в вас». И Мустафин был убеждён, что это совсем не притча, не метафора, а самая суть Христова «видения».

После таких бесед с поэтом-математиком совсем иначе воспринимаешь, скажем, мустафинский «Стишок про время» (1981):

*Несут меня потоки временные
в неведомые дали бытия,
где царствуют красоты неземные
и лики жития совсем иные, –
отличные от нашего житья, –
без всякой-там жратвы и пития.
Несут, – смывая месяцы и годы, –
на тот простор, сокрытый от людей,
где воды, не похожие на воды,
мерцают светлой памятью дождей,
и – как слеза – прозрачные народы
не чтят своих невидимых вождей.
Несут меня потоки, растворяя
судьбу мою в минутах и часах.
И я плыву, – объятая растворяя,
как облако, – черты свои теряя
и растекаясь – цветом в небесах...*





РАМИЛЬ САРЧИН

БУКОВКА ЗА БУКОВКОЙ

Заметки о стихах Виля Мустафина

Говоря о судьбе Виля Мустафина, нельзя не удивиться тому, как Казань в который уже раз прозвала большого поэта. От чего это: от страха перед большим? Или, как бывает у нас, у людишек, — от страха перед смертью («Нам со смертью тягаться // Не пристало — вес не тот»)? В случае с Вилем Мустафиным, действительно, было чего испугаться: в его поэзии, как ни у кого другого из казанских авторов, тема смерти настолько самодовлеющая, что чуть ли не физически начинаешь ощущать её касания.

Мустафин же обращается с нею запросто, она ему по-бытейски привычна, своя. Вот строки из его последнего стихотворения, написанного 18 августа 2009 года:

*Смертей немало проползло
Перед очами.
Затянешь бережно узлом
Мешок печалей
И побредёшь куда-то прочь —
В туман беззвучий,
Не различая свет и ночь,
Листву и сучья.*

По обращению со «смертной» темой он более всего близок к поэту, с которым в своей книге «Беседы на погосте» установил не просто духовно-памятную, а чуть ли не материальную связь — с теплом человеческой души, дыхания и речи. Речь о Марине Цветаевой. Время, проведённое на её могиле, не пропало зря. Она то властно явится в поступи мустафинского стиха. Как в стихотворении «Спасибо», в котором поэт благодарит «соседей», «не соседей», «друзей», «врагов» — за их глухоту к страданиям человека:

*Спасибо, — за улиц безлюдье,
спасибо, — за то, что спите,
спасибо, — что вас не будит
стон моего: «Спасите...»
Спасибо, — что не слышали...
(Слыхали, — спасибо, — не встали
С постелей...)
Спасибо, — за ваши:
«Если бы мы знали, —
поспели б...» —
Спасибо, — что опоздали,
спасибо, — что не спасали, —*

(всё равно – не спасли бы)...

Спасибо...

Спасибо...

То «самоутвердится» в проблематике, мотививно-образной перекличке. Так, например, стихотворение Виля Мустафина «Город мой» слишком явно соотносится с цветаевскими «В огромном городе моём – ночь...» И это не частный художественный ход, как может показаться на первый взгляд. Цветаева таким образом даёт Мустафину возможность судить о происходящем в современности с «вечностной» точки зрения:

*Здесь я – чужой – в своём саду, –
уж я по саду не брожу,
уж я, – как на свою беду, –
на сад лишь издали гляжу...
Сын скотника – наш бодрый мэр
срубил деревья и кусты,
он закатал – за метром метр –
асфальтом – травы и цветы.
На город мой тупую злость,
что он в селе своём взрастил, –
(ему в деревне не жилось), –
здесь – метр за метром – разместил.*

*И, как слюну, свой алчный вкус
он расплевал по площадям...*

*Я за людей уж не молю:
дай, Бог, пощады лошадям,
дай, Бог, травиночке расти,
позволь земле испить дождя.
О дай-то, Боже, мне уйти,
кончины сада не дожидясь...*

Впрочем, у Виля Мустафина нет-нет да и оживут голоса других поэтов. Но всегда это – разговор с незримым собеседником, дающим поэту возможность как бы преодолеть границы времён, пространств, миров.

Сатирическая фантазмагоричность, гротескность отдельных образов в стихах Мустафина сродни некоторым стилевым тенденциям лирики Маяковского:

*Рука партийного подонка,
раздвинув рёбра, лезет в душу, –
я не противлюсь, а негромко –
с улыбкой истинно прислужной –
ему скажу: «Прошу Вас в гости.
Быть может, Вы хотите кости
мои отведать?.. или хрящик?.. –
Так вот – из горла – похрустящей...
А этот, – он совсем не битый, –
не затвердел ещё... Ну что Вы!.. –
какие могут быть обиды!..
Быть может, крови – граммов сто Вам, –
для аппетита?..*

Похожие интонации слышатся в ряде других стихов: «Обаранивайтесь!..», «Медицинское» и других.

В стихотворении «Сквозь щели заточения» слышатся есенинские мотивы. Читаем у Есенина: «Устал я жить в родном краю // В тоске по гречневым просторам. // Покину хижину мою, // Уйду бродягою и вором...». Читаем у Мустафина: «Взорву-ка келейку свою, — // устал я жить в тоске по людям: продам им душу... и запью... — // быть может, боги не осудят?..»

Мотив здесь — тоска по человечности, по теплу отзывчивой живой души. Только ситуация несколько иная — при том же общем исходе:

*Поэзия, тебя боюсь ли?..
Не от тебя ли я бегу?..
Лежат заброшенные гусли
на недокошенном лугу.
И ты, поруганная нежность,
и ты, ненужная тоска,
в миру упрятаны в наружность
глухого к жизни старика.
И песня — лишняя, как кашель,
и бескорыстье — как склероз...
И весть о без вести пропавшем
уж не приносит даже слёз...
Скрипит несмазанно телега,
ведома лошадю слепой, —
давно забытый ветер бега
не всколыхнётся за спиной...
Возница спит... И сны кругами
исходят от его лица...
Возница спит — вперёд ногами, —
напоминая мертвеца...*

(«Исход»)

Это из стихов о поэзии, которая Мустафиным временами мыслится как некая бевсовщина: «...может быть, в меня вселился бес // и водит по листу своей лапищей?..» («О даре стихоплётства»). Не оттого ли такие мысли навешают поэта, что часто они связаны с идеей о самоубийстве? Одержимость ею у Виля Мустафина возведена чуть ли не в своеобразный творческий, даже — как ни парадоксально! — в жизненный принцип. Действительно, иначе, как бевсовщиной, это и не назовёшь.

В поисках спасения поэт приходит к Богу. Путь этот у Виля Мустафина был очень сложным. Сейчас не будем вдаваться в то, как он, воспитанный в семье истового мусульманина деда, стал православным. Перипетии этого не раз поведаны им самим в ряде интервью. Важно другое — конечная цель и результат пути, полного сомнений, раздумий, утрат и обретений.

Ежедневно наблюдая за процессом, как «...Бог уходит из людей...», поэт Виль Мустафин пишет стихи, всё больше напоминающие по своей эмоционально-смысловой направленности (устремлённости) и интонационно-звуковому оформлению медитации и молитвы. В качестве примера не могу не удержаться от цитирования стихотворения, которое поэт, из того многого им сотворённого, считал единственным из достойного быть включённым в поэтическую антологию. Посвящено оно художнику начала XX века Амедео Модильяни, более всего известного, пожалуй, в русской культуре по его портрету Анны Ахматовой, и озаглавлено его именем:

*Модильяни...
Амедео Модильяни... —*

Это женщина молилась на поляне,
 это пела полонянка одеяний
 о свободе:
 Модильяни...
 Модильяни...
 Это груди, — обнажаясь, — укрывали
 потаённый плач неузнанных мелодий...
 Истомлённые колени тосковали, —
 словно сломанные крылья, —
 о полёте...
 В этих линиях дышало эхо лилий,
 эти плечи проливали стоны ливней...
 И молитва, — колыхая тополями, —
 голубела:
 Модильяни...
 Модильяни...
 А-а-амедео...

Здесь важна музыка стиха — совсем не как её формальный компонент, а как улаждающая, успокаивающая душу мелодия — сродни церковным распевам, мессам и хоралам. Не это ли было первичным при выборе Мустафиным религии? Возможно, православие отвечало самому потаённому в нём: позыву, непреложной потребности любви — высшей, вне-земной и, видимо, «запретной», но такой, в которой спасение:

Обними ты меня, обними,
 темноту от меня отгони...
 Ты её... Ты меня обмани:
 Ты её от меня отмани...
 Ты меня у неё отними, —
 обними ты меня, обними...
 В миг бессилия собственной лжи
 я прошу: одолжи, одолжи...
 Я молю: ты меня окружи
 теплотою ласкающей лжи...
 Обними ты меня, обними, —
 обмани ты меня, обмани...

Сколько здесь боли и тоски — от невозможности обретения простого человеческого счастья: быть любимым и быть с любимой! Хотя бы обманно...

Оттого и тянется поэзия: «Буковка за буковкой, — // Мука моя вечная...».
 Так и тянется жизнь...
 До самой смерти.





ВИЛЬ МУСТАФИН

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ОТЧИЗНЫ

ЗА!

Вы, что хором неистовым: «За!..», –
затвержено, заученно, заранее – «За!..», –
обернитесь назад:
за раскатами зала «За!..» –
расстрелов залпы,
за этим «За!..» ревом –
дети зарёванные
толпами, толпами...

А вы «За!..» были...
Вы забыли,
как вами –
как булавами,
как в живот ногами –
вами били...
Вы – без памяти, –
снова тянете
руки вверх,
как «Руки – вверх!» –
голосуете...

Голосуйте, –
суйте в петли головы,
суйте...

1963

ДИТЯ ЗВЕРИНЦА

Я – лев...
Как вечное движенье –

извивы тела в стенах клетки...
Нечеловечье напряженье
неслышной поступи столетий...

Из ночи – в ночь,
из века – в век:
до боли стиснутая боль...
Из-за полуприкрытых век –
зрачок, наполненный тобой,
о Родина... – которой нет

и не было: дитя зверинца,
рождённое увидеть свет
сквозь прутья,
словно сквозь ресницы...

Моя страна – моя тюрьма –
с меня снимала все заботы
и запах прелого дерьма
дарила – воздухом свободы...

«Ты – Царь зверей!» – орал хорал
никелированного плена,
а слух магически ласкал
замочный звон: «Ты – Бог вселенной!»...

И сотни немощных зевак
сюда сбегались по субботам,
чтоб насладиться – за пятак –
«величием» собственной свободы.

Им угождая, я рычал,—
я щекотал им перепонки...
А старый сторож по ночам
храпел... под тихий плач ребёнка...
11.12.1964

ИСТОРИЯ

История, ты — баба истеричная,—
то стонешь, то кричишь истошно...
А скольких сыновей забила до смерти?..
Забыла?.. — Нет, ты помнишь их, История...

Их трупы прижимая, ходишь по миру
и причитаешь: «Родненькие, померли...»
А помнишь, ты им виселицы строила
и веселилась допьяна, История?..

Не ты ль их, — выстриженных наголо,—
в Сибири,
за проволокой тысячами выстроила
и ликовала дико, слыша выстрелы?..
Что, память вышибло, История, забыла?..

Салют — погибшим! Памятник — повешенным!
Венки лавровые на память им повешены...
А на столбы, где их недавно вешала,
твоей рукою флаги повешаны

багровые, — они их кровью крашены...
История, тебе не страшно?..
1965

* * *

Михаилу Белгородскому

Ты откуда, Модильяни, ты откуда
в этом мире матерьяльном появился?
Ты свои тысячелетья перепутал?..
Амедео, ты планетою ошибся?..

Где-то там — в далёкой женской
полуболи —
ты родился и явился к нам на Землю,
чтоб принять с лихвой земной житейской
доли,
чтоб глотнуть любовь земную — вместо
зелья...

И глядят на нас беззрачные мадонны
глубиной бездонных взглядов укоризны,
и в безумной их прозрачности мы тонем,
как в сиянии взвездного бескорыстья.

И парят твои путаны, словно тени
занебесного полёта или танца,
словно нет для них законов тяготений,
и сдались пред ними силы гравитаций.

Ты откуда, Модильяни, ты откуда
в этом мире матерьяльном появился? —
Ты свои тысячелетья перепутал,
Амедео, ты планетою ошибся...
24.09.1966



ДОЛЯ-ДОЛЮШКА

Бессилием блаженного лица
 суметь утешить скорбную старуху
 и безысходным взглядом мертвеца
 унять борьбу и отвратить разруху, –
 вот доля всякого, кто в сей убогий мир
 явился, позабыв одеться кожей,
 кто слышит небо и, – лишённый крыл, –
 узнал полёт, но не был уничтожен
 иной цивилизацией людей,
 рождённых, как и он, в земной юдоли,
 не отыскавших радости в беде
 и телом не принявших сладость боли...
 1974

ЧИТАТЕЛЮ

Читатель мой... О, мой листатель...
 Признаюсь, будто на духу,
 (наверняка – совсем некстати
 ни мне, ни этому стиху):

всё, что написано мной было,
 и то, что я пишу сейчас, –
 не для тебя, Сеньор из быдла,
 не для тебя, Вассал из масс...

Тебя ж, – прости, – в упор не вижу,
 когда пишу: я растворён
 в потоках, посланных мне свыше,
 из расстояний и времён...

Нет различимых ухом звуков:
 подлунный гул, подгрудный зуд, –
 как будто толпы голых внуков
 мне вести предков волокут...

Я с безучастием внимаю
 беззвучной музыке стихий,
 лишь по наитью понимая,
 что в руку просятся стихи.

И я пишу... не объяснение
 событий, сущих надо мной, –
 ведёт строку в стихотворенье
 мотив музыки неземной,

отображая смысл созвучий,
 лишь предваряющих намёк
 тех восхитительных излучин,
 укрывших истины исток.

И выси, опускаясь ниже,
 уж приближаются к словам,
 что аналогиями дышат
 и видят мир глазами лам...

Вот так стихи свои слагаю
 я, не заботясь ни на грамм,
 на что судьбу их обрекаю:
 на славословье или срам, –

без разницы... Я – равный с равным –
 в тиши беседую о том,
 как ощущается нирвана
 с травинкой, деревом, кустом.

Нет ни героя, ни ублюдка, –
 лишь равный с равными в миру, –
 я даже смерть свою, как шутку,
 воспринимаю, – как игру...

Так что мне ты, читатель милый,
 на кой мне мнение твоё:
 настиг мой стих тебя иль мимо
 проплыли звуки – в забытьё?..

Умён ты или хил мозгами, –
 меня не стоит поучать:
 стихи диктуются богами,
 мне остаётся – промычать...
 1981

МОЛИТВА

Светлой памяти отца моего

В поисках утраченной отчизны
 тратились усилья и года, –
 ощущеньем горькой укоризны
 наседала на душу беда.

Наседала, полоня движенья,
 думы и желанья полоня,
 понуждая жить по принуждению,
 побужденья жизни отклоня.

Неизбывный, тяжкий грех былого –
в поколениях давних и веках –
от желанья обратиться в слово
непокорно буйствовал в стихах,

застил взор, уродуя картину
мира, отражённого в глазах,
карою своей неотвратимой
изливаясь в жалобных слезах

и молитвах... Долгими ночами
я молил у Господа: «Прости
души всех усопших и печали
многия, о Боже, отпусти
рабу Твоему...»

ГОРОД МОЙ

Здесь я – чужой в своём саду, –
уж я по саду не брожу,
уж я, – как на свою беду, –
на сад лишь издали гляжу...

Сын скотника – наш бодрый мэр
срубил деревья и кусты,
он закатал – за метром метр –
асфальтом – травы и цветы.

На город мой тупую злость,
что он в селе своём взрастил, –
(ему в деревне не жилось), –
здесь – метр за метром – разместил.

И, как слюну, свой алчный вкус
он расплевал по площадям...
Я за людей уж не молюсь:
дай, Бог, пощады лошадям,

дай, Бог, травиночке расти,
позволь земле испить дождя.
О дай-то, Боже, мне уйти,
кончины сада не дождясь...

1982

* * *

*Я царь, я раб, я червь, я бог.
Г. Державин
Ужасный век, ужасные сердца!
А. Пушкин «Скупой рыцарь»*

Ужасный век, ужасные сердца...
Я б никогда не захотел проснуться
и только б спал – до смертного конца, –
пусть надо мной лишь снов стада пасутся.
Ужасный век, ужасные сердца...

Я царь, я раб, я червь, – я человек,
но я не Бог, чтоб вырваться из люда:
толпа орёт, витийствует у блюда, –
ужасные сердца, ужасный век...

Я человек, я червь, я раб, я царь...
Те, кто в толпе, – все для меня едины, –
ни чёрточки отличья, ни морщины,
ни личности, ни лика, ни лица...
Ужасный век, ужасные сердца...

СИЛА ВОЛИ

Ишь, воля, – до чего сильна! –
так сжала собственное тело,
что даже жизнь в нём оскудела,
аж с хрустом – в грудь вошла спина...

Недаром физики твердят,
что мир сжимается, старея, –
мол, даже звёзды, что сгорели,
дырами чёрными свербят:
они к себе весь мир манят,
а заманивши, очернят...

Ах, воля-волюшка моя!.. –
Уж сердце съёжилось, черствея,
уж я не знаю: что чернее –
зола иль песня соловья?..

Зовёт в полёты полынья...

1983

* * *

*Природы вековечная давянья
Объединяла смерть и бытиё
В один клубок, но мысль была бессильна
Разъединить два таинства её.*

Николай Заболоцкий

О, как безгрешен мотылёк,
который верит в миг рожденья,
что где-то рдеет огонёк,
зажжённый для его круженья...

Как близок час и как далёк
того прекрасного движенья
по сцене жизни, — до свершенья,
до превращенья в уголёк...

Блаженный миг самосожженья... -
Как краток он... И как высок!..
1992

* * *

Я испугался птичьей стаи,
что над берёзовой страной
по небу крыльями хлестала,
спознавшись будто с сатаной.

И облака, стремясь укрыться
от жутких криков этих птиц,
то вверх пытались возноситься,
то — камнем — упали ниц,

но ненароком вовлекались
в бесовский птичий хоровод...
И, в безысходности метаясь,
на клочья рвался небосвод.

И день наставший стал вчерашним,
а завтрашний, — полуживой, —
старался выглядеть нестрашным,
но был уже совсем чужой.

И затворились очи мрака
от взгляда на беду людей...
А в небе продолжалась драка
с ума сошедших лебедей.

1992

ВОСХИЩЕНИЕ

Какие чудные созданья
вершат ночами свой полёт —
над тёмным омутом сознанья —
под светлой бездною высот...

Их очертания невнятны, —
они — как дети тишины, —
невелики, но необъятны
и — словно тени — не слышны...

И нет ни стен для них, ни окон, —
движенья плавны и нежны,
они — как будто — издалёка,
но к нам (как — в нас) приближены...

И... дуновенье откровенья
повеет на́ душу теплом...

Созданьям этим нет сравненья,
как нет — для их названья — слов...
1995



СОНЕТ МОЕМУ СОНЕТУ

То перевернут ты, то вывернут...
Ты – как судьба моя, сонет...
Я в детстве был из детства выдернут,
мне камень заменил паркет.

И головою об пол бился я,—
(мой первый в жизни суицид)...
Одна лишь нянька ненавистная
не вспомнила своих обид.

И отнесла меня на кухню,
где пахло чем-то кисло-тухленьким,
поила – с ложки – киселём.

Кормила булочкою пухленькой
и всё шептала тихо в ухонько...
Жаль, – в русском не был я силён...
20.11.2000

ПОПЫТКА ОТВЕТА
художнику Виктору Фёдорову
на его вопрос о поре,
для написания стихов
наилучшей...

*Всю жизнь от смерти я бегу,
бегу, – старея на бегу...
(Из некогда придуманного)*

Пишу стихи, когда мне плохо:
хандра, депрессия, тоска...
Уж нет желания для вдоха,
а тут – соломинка, доска...

И потому стихи ущербны,—
отрады в них не наскрести,—
скорей похожи на учебник:
«Как самому себя спасти».

И в том-то, видимо, загвоздка,
что без надежды на других
я сам себя тащил за волосы
из-под заплатин пробовых.

А что до времени приличного,—
когда улыбка на лице,—
тут ни местечка нету лишнего
ни в голове, ни на листе...

Тут быт главенствует... и промысел...
Быт – что за повод для стихов?..
А вот когда повис над пропастью,—
то враз припомнишь всех богов...

И обратишься к ним с молитвою,
где не придуманы слова,
где вой и стоны – с песней слитые,
и непричастна голова.

Вот тут – стихи... И нету силушки
ни удержать их, ни сдержать...
Они, как те же бурки-сивушки,—
не про пожарть...

23:41; 29.02.2000

ВИЗИТ СМЕРТИ

Ну, наконец-то... Всё-таки пришла...
Вздохнула как-то немощно, устало...
Сняла калоши.. Тапочки нашла...
Прошла на кухню... Словно бы пристало

ей так вести себя... Я растерялся...
Не наглость, а всеисиле... Отнюдь
не прекословя, волею собрался
и вслед за Нею свой направил путь.

Конечно же, впервые... И неожиданно...
Хотя мечтал, взывал – лет пятьдесят...
Нет, не страшна... Но давит, словно здание
так этажей примерно в шестьдесят...

Без наглости... Но, словно по привычке
вокруг себя людей не замечать...
Иду за ней, – и вроде бы привычно –
встречать гостей в потоке полудней...

Чем угощать?.. – Вопрос всегда не праздный,
на этот раз возрос аж до проблемы...
Бывали гости всякие и разные:
поэты – от бомжей до академика...

Но здесь, как говорят, особый случай:
здесь всё впервой, и опыты отсутствуют.
И потому волнительность ползучая
тут ненароком всё-таки присутствует...

Вхожу на кухню, – наблюдаю сцену:
Она сидит... Её скелет обнявши,
мой кот мурлычет, – громко, настояще, –
мелодию обычную, бесценную...

Что тут сказать?.. Мандраж слабеет явно...
Но, как на грех: ни сахара, ни чая...
И явно то, что Череп опечален,
а взор глазниц попахивает пьянью...

Не помню что... Не помню даже сколько...
Но поутру: лежу на топчане,
пытаюсь вспомнить...

Кот, свернувшись скобкой,
всё продолжает пение во сне...

Но ведь Она наемдни приходила!..
И есть улики: тапки увела,
калоши же, что вечность прохудила,
оставила... Такие вот дела...

2.01.2005

* * *

Это очень похоже на счастье,
если ты негоним-неведом,
если ты принимаешь участие
только там, где не виден резон.

Безответственность – благо, как благо –
лень без пошлых границ. И притом
не работает даже притяга,
что содержит в себе гравитон.

Это здорово схоже со счастьем,
если ты, как пушинка, паришь
и, являясь подушкиной частью,
ты угоден поверхностям крыш.

26.09.2006

ВЕСЕННЯЯ ШУТКА

Взгляну в окно, – а там опять весна,
опять цветами пудрятся деревья.
«Природа пробуждается от сна», –
так, кажется, в клише каком-то древнем

об этом сказано. А травка и листва,
впервые в жизни в ярких бликах лужи
узрев свой лик, чураются родства
с гнильём подлужным... и приходят в ужас.

Что так пугает вас, трава и лист? –
ведь предки помирали ради вас же.
Осеннее паденье сверху вниз
единожды за жизнь свершает каждый

из жителей Земли, – таков закон.
Не нам судить – жесток он или мягок.
От зарожденья жизни, испокон, –
взойдут одни, когда другие лягут

за них, – до них, под них, – лишь ради них,
не требуя себе благодаренья.
Не выбираем мы своих родных,
лишь принимаем жизнь – как акт даренья.

Зерно, дрова... Удел – родать и греть.
Лишь только смерть исконно плодovита.
Единойды нам суждено сгореть
во имя обустроенности быта

потомков. Так что празднуйте весну, –
она для вас, травинки и листочки.

А я в своём стихе поставлю точку
и лягу спать... Быть может, и усну...

14.05.2007



ВНУТРИ СЕБЯ ГАРМОНИЮ ТАЯ

*Подборка участников литературного объединения
имени Виля Мустафина*



Валентина Зикеева

Посещает литературное объединение при музее художника Константина Васильева с 2000 года. Окончила историко-филологический факультет Казанского государственного университета. Работает учителем в школе. Автор трёх поэтических сборников. Член Союза российских писателей.

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

*Город Молога, располагавшийся
при впадении реки Мологи в Волгу,
был затоплен Рыбинским водохранилищем.*

Тихо течёт Молога,
Пряча дома и судьбы.
В речку ведёт дорога.
Выживший не забудет:
Падало небо в воду,
Город спасти пытаюсь.
Но не осталось броду.
Берег, с волной ласкаясь,
Помнит все переулки,
Помнит все перезвоны.
Эхо там вторит гулко
Осиротевшим стонам.
Рыбы там над домами
Плавают ли? Летают?
Кружатся косяками
Или по-птичьи – стаей?
Лики святых размыло.
Всюду печаль и холод.
Смотрит Господь уныло
На затонувший город,
Где под водой застыли

Церкви и колокольни.
Раньше в них службы были –
Нынче представить больно.
Вот и стоят в печали
Вечным укором виды,
Чтобы не забывали
Русскую Атлантиду...

* * *

Расправлю плечи и походкой от бедра
Пройдусь по шумному казанскому Бродвею...
Игриво настроение с утра!
Шучу-шучу! Я так и не умею.
Да и зачем? Прошли мои года,
Когда в короткой юбке шеголяла.
И шпильки были острыми, когда
По самой главной улице гуляла.
Теперь мне сад Лядской куда милей,
Где летом скамейкою сдружилась,
А осенью листва к ногам ложилась.
Мой город молодеет с каждым днём,
Но я люблю из прошлого страницы.
Мне лестно говорить сейчас о нём,
Мой Летний сад несеверной столицы.



Светлана Грунис

Окончила физический факультет Казанского государственного университета. Публиковалась в журналах «Казань», «Казанский альманах», «Идель», «Дети РА»; в газетах «Выбор», «Провинциальный интеллигент», «Поэтоград» и др.. Издала четыре сборника стихов: «День цветоприношения», «Душа поэта, как открытый нерв...», «Форте... пиано...», «Ночная гостья». Участвовала в Международном фестивале современного искусства «Kremlin Live», в мастер-классе «Аксёнов-феста», в Межрегиональном фестивале хайку «Хайкумена-на-Волге-2012», в «Волошинском фестивале» в Коктебеле, в «Хлебниковском фестивале». Лауреат городского музыкально-поэтического конкурса «Песня, гитара и я». Неоднократно работала в жюри городского конкурса «Песни моей души». Член Союза писателей 21 века.

ХАЙБУНЫ

Дома-пенсионеры

Я живу в старом районе Казани, где дома низкорослы — в два-три этажа. Построенные в 30–50-е годы прошлого столетия, они являют собой неприглядное зрелище: штукатурка на стенах растрескалась и осыпается, наружной покраски не было уже много лет. Ржавые залатанные крыши.

Живут в этих домах, в основном, пенсионеры, соревнующиеся в возрасте с домами.

Бахрома сосулেক
ненадолго украсила
старые крыши...

Недотроги

Сегодня целый день идёт снег. Ветра нет, и снежинки неторопливо летят к земле.

Ловлю на рукавичку это зимнее чудо природы. Любуясь, внимательно рассматриваю каждую. Пытаюсь проверить мнение учёных о неповторимости любой снежинки.

Пестрота варежки мешает эксперименту. Высвобождаю руку из вязаного плена.

Снежинки покорно приземляются на тёплую ладонь, и я стряхиваю с неё капельки, похожие друг на друга, как две капли воды...

Недотроги-снежинки
превращаются на ладошке
в капельки воды...

Вязь жизни

Я люблю наблюдать за полётом стрекоз и бабочек.

Бабочки, порхающие с цветка на цветок, завораживают взор. Они сами похожи на летающие цветы.

Их размер, окраска — самые-самые разные.

Движение в воздухе замысловатое, кажется, что у беззаботной бабочки нет определённой цели, что она сама не знает, куда полетит в следующий миг. Задумчиво опустившись на цветок, надолго замирает, давая возможность полюбоваться ею.

Стрекозы появляются всегда неожиданно. Прозрачность крыльев позволяет им долго оставаться незамеченными. Видишь стрекозу, когда она уже приземлится, и потом долго не отпускаешь взглядом этот «вертолёт-самолёт», перламутрово поблёскивающий на солнце.

Стрекозы и бабочки
рисуют в воздухе
вязь жизни...

Первый городской цветок

Весна. Только-только сошёл снег, кое-где робко стала пробиваться травка. Цветковые растения осторожно выпустили первые листочки...

И вдруг замечаешь среди этой скудной растительности голые стебельки с яркими жёлтыми цветами. Одуванчики? Но им рано. Да и выходят они из земли основательно: сначала появляется большой раскидистый куст с резными листьями, и

потом уже из его сердцевины – стебель
с бутонном.

Приглядевшись, узнаю мать-и-мачеху
– наш первый весенний городской цветок,
всегда неожиданный и прекрасный!

Весна. Торопливая
мать-и-мачеха
выскочила из земли нагишом...

Нужны ли нам такие победы?

Казань – древний город с тысячелетней историей.

На извилистых улочках старой Казани
каждый дом, каждый двор со своей тайной,
затерявшейся в листве могучих вековых
исполинов.

К тысячелетнему юбилею Казань
решили омолодить. Под ковши экскаваторов
пошли старые постройки, на месте кото-
рых, как грибы после дождя, стали по-
являться торговые центры, гранд-отели –
чужеродная небыль среди сказки родного
города.

И низкорослые дома стали казаться
ниже.

«Молодость» одержала верх над «ста-
ростью».

Но нужны ли нам такие победы?

Ссутулилась
старая Казань,
соседствуя с новоделом...

Авиакатастрофа

В тот ноябрьский воскресный день ни-
что не предвещало беды. Выходной под-
ходил к концу, люди готовились к новой
рабочей неделе.

И вдруг, как гром среди ясного неба,
сообщение в «Новостях»: при заходе на
посадку разбился самолёт...

Рейс был обычным, рядовым: кто-то
летел в командировку, кто-то возвращался
домой...

Упал самолёт.
Разлетелись по полю
обломки судеб...

ХАЙКУ

* * *

Ремни дорог
крепко опоясывают город.
Трудно дышать...

* * *

Молчаливый шифоньер
надёжно хранит
крик моды...

* * *

Бежим по жизни...
А что серьёзного
можно создать на бегу?..

* * *

Снегири, синицы –
яркие мазки
на белом полотне зимы...

* * *

Подснежник
шубку не снимает:
холодно на проталинке...

* * *

Румянами зари
красят свои щёки
облака...

* * *

За окном застрекотала
сорока.
Репортаж из леса...

* * *

Июньский день,
а улицы замело...
тополиным пухом.

* * *

Золотые волны полей.
Синие глаза васильков.
Русь...



Натан Солодухо

Философ, поэт, прозаик. Член Союза писателей XXI века. Автор произведений, опубликованных в поэтических альманахах и сборниках Москвы («Российские поэты», «Современная поэзия», «Наследие» и др.) и Казани («От бытия до небытия: Стихи и философские эссе», «Пушкиноты», «Хочу летать!..», «Галерея»). Печатался в литературных журналах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Заведует кафедрой философии Казанского научного исследовательского технического университета. Доктор философских наук, профессор. Действительный член Российской академии естествознания и Российской экологической академии. Автор и соавтор около 250 научных и философских работ, в том числе десяти монографий. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Ряд его произведений переведён на английский, французский, греческий, польский и другие языки. Лауреат и номинант художественных выставок, поэтических конкурсов, национальных литературных премий.

ВЕСНА ВЕРШИТ

Мне кажется, что вот
заутренним фальцетом
незримый соловей
на ветках запоёт,
и станет цвет ясней,
ведь с розовым рассветом
весна встаёт,
весна живёт,
весна звенит.

Куст вечный зацветёт
сиреневым угаром,
и с яблонь разметёт
белила лепестков,
и станем верить мы —
и думать, что недаром
весна бурлит,
весна бодрит,
весна зовёт.

Весною у грозы
не может быть нотаций,
когда вбирает сад
полнеба бирюзы,
и зелень заблестит
у пенистых акаций:
весна не ждёт,
весна идёт,
весна спешит.

Значенья величин
извечных наших судеб

в гармонии листвы
едва ли различим.
Так будем мы любить,
не веря, что осудят,—
весна спалит,
весна простит.
Весна вершит.

В ПРОХЛАДНЫЙ АВГУСТ УХОЖУ

По рельсам цокает трамвай —
хрустальный звук поутру чист.
И чувство — словно я сорвал
последний тёплый летний лист.

Но мне тепла его не жаль —
в прохладный август ухожу.
Казалось, надо бы бежать,
а я нарочно не спешу.

Шофёр маршрутки подождёт
мой неспешающий мерный шаг;
и от движенья не спадёт
с прохожей дамы лёгкий шарф.

И ярок свет, и тёмна тень —
так разделяет бритвы сталь
единый августовский день
на то, что жаль и что не жаль.

И мне, что в прошлом, то не жаль —
в прохладный август ухожу.
Слова могли бы нас сблизжать,
но слов таких не нахожу.

У барбариса блёклый цвет —
под коркой ягод зреет сладь;
она и есть и, вроде, нет —
оранжеватой масти страсть.

Сменив футболку на пиджак,
ни боль, ни злобу не держу.
Что было, то теперь не жаль,—
в прохладный август ухожу.

ПОЛЫНЬЮ ПАХНЕТ И КРАПИВОЙ

Очень люблю запах полыни.

Он у меня с детством ассоциируется.

За городом — в поле, в лесу, на берегу реки — всегда обязательно нагнусь к кусту полыни, отломлю зеленовато-серебристую гроздочку с мелкими мягкими шариками, сожму крепко в ладони или разотру пальцами, и поднесу к лицу, вдыхая терпкий, неимоверно душистый запах.

Глаза закрываются на этот запах. Словно проваливаюсь в прошлое, в те годы, когда в коротких штанишках мы с деревенскими и дачными мальчишками ползали в густых кустах полыни и крапивы за заборами огородов, играя в войну. Прячась в зелёных зарослях от «противников» из соседних домов, прижимаясь всем телом к траве и закрывая глаза, — так и со стороны ты менее заметён — запыхавшись, стараясь не сопеть, чтоб не выдать себя, часто-часто вдыхал я воздух и вместе с ним заглатывал этот особый природный аромат трав. Оттуда, из детства он вошёл в меня и пребывает в моём подсознании, требуя через многие годы всякий возможный раз оживляться.

К нему примешивается привкус крапивы. Жарким днём или утром на разогреваемой солнцем поляне после ночного дождя, когда блестит мокрая трава, двигаясь вдоль извилистой дороги, вдруг попадаешь в густое ароматное облако запаха — озираешься: по сторонам заросли крапивы. Как боялся тогда, ползая и перескакивая в кустах за околицей, влезть, впрыгнуть с размаху в крапиву, высотой почти что в рост! Потом, ужаленный ею, выскакивал, охая и растирая покрасневшие, в мелких волды-

рях руки и ноги. И вновь бросался в густое, высоченное разнотравье, уткнувшись носом в деревянный автомат — оружие. От него исходил очень запоминающийся основной запах. Ведь он был срублен из смолянистого дерева, и на стволе этого автомата, на его полувисокой коже руками отца перочинным ножом были вырезаны змейка и ромбики в шахматном порядке.

Мы — дети фронтовиков — тогда, в детстве, играли в войну, были «нашими» и «били врага», строчили из деревянных самодельных автоматов, отстреливались из деревянных пистолетов и забрасывали противника еловыми «гранатами», не зная настоящего запаха реальной войны, через которую прошли наши родители. Но с возрастом, со старостью родителей, а особенно после их смерти, как-то более и более проникались чувством причастности к той войне, на которой они были. И гордость за них, получивших контузии и ранения в первые годы отступления, но выживших, и щемящее чувство от недавнего ухода уже совсем состарившихся людей, делали эту нашу причастность всё более непосредственной. Словно мы сами были участниками той войны, о которой так мало и неохотно нам рассказывали родители.

Я никогда не спрашивал у отца и мамы, запомнился ли им запах полыни и крапивы, когда они на большой войне в летнее цветение прижимались к земле под ударами противника...

ВЕЧНОЕ

Столетние сосны над лесом встают,
над ящером с кожей замшелой.
Здесь пращуров наши искали приют —
меж сосен в траве порыжелой.

Так ныне и присно веками... Что в том?
На небе и синем, и алом
сосновые ветви с павлиньим хвостом
качают резным опахалом.

Пройдут сотни лет, и почтенный старик,
текущее время осилив,
отыщет в лесу этом ящериц лик
и сосны на алом и синем.



Людмила Уфимцева

родилась в Казани. Окончила Казанский государственный университет, по образованию — химик. Член «Союза писателей XXI века» и Союза российских писателей.

Рассказы и повести печатались в газетах «Казанские ведомости», «Республика Татарстан», журнале «Идель», «Журнале Поэтов» (Москва), стихи и переводы — в журналах «Идель», «Казань», «Казанский альманах», «Дети Ра» (Москва) и коллективных сборниках.

Первая книга стихов автора «Впадает в ночь родившийся ручей» вышла в 1998 году, следующие сборники: «Кони шальные» — в 2003 году, «Я с куполами говорю на Вы» — в 2006 году, «Фиолетовых яблок паденье» — в 2008 году, первая книга прозы «Здание из красного кирпича» — в 2006 году, вторая — «Зимородок» — в 2014 году.

ШАНСОН

Зелёною шторой подросшая мальва
моё затеняет окно.
В нём свет, пробиваясь сквозь частые
стебли,
немое рисует кино.
Я в зрительном зале с единственным
креслом
пржектора кадры ловлю,
А память листает картинку в сознание,
меня убеждая — люблю!
Мигнёт напоследок экран и ослепнет,
покатится вдовья луна
Светить в планетарии поднебесном, где я
на скамейке одна.

Наутро проснётся притихший гербарий,
цветочный издаст аромат,
И вновь отсканируют профиль знакомый
лучи, обойдя циферблат.
Высокую вазу наполню водою,
четыре пиона сорву —
Вот сколько прошло! Без тебя в этом
мире
с привычною болью живу.
Я кресло второе поставлю в простенок,
рисунок теней обведу.
Зелёною шторой цветущая мальва
мою занавесит беду.
Теперь мы вдвоём...



Светлана Мингазова

родилась в 1946 году в селе Сурское Ульяновской области. Имеет высшее строительное образование, трудится в научно-производственном предприятии «Газовые Комплексные Системы» в должности инженера проектно-сметного отдела. Рифмовала с юношеского возраста. Серьёзно стихами занялась в 2009 году, вступив в литературное объединение имени В. Мустафина и М. Зарецкого. Печтается в ряде журналов Казани и других городов России. Член СП «21-й Век». Автор двух поэтических сборников.

* * *

Меж облаков — глазастая луна.
В дурмане сонно травы.
Кузнечика навязчивый мотив
Затихшую округу оглашает.
На дальней улице залает вдруг собака,
Откликнувшись на поздние шаги.
Соседский дом напротив,

Днём — нарядный,
Узорный, красно-бело-золотой,
Сейчас в сиянии лунном колдовском
На домик пряничный похож из сказки.
Ментоловый дымок от сигарет
Мазком белесым — на палитре ночи...
С крыльца высокого свидетелем неволь-
ным

Смотрю в чужое светлое окно.
 Сквозь лёгкий занавес — девичий силуэт
 В движении замедленного танца.
 Ещё мгновение — окно погасло,
 И распахнулись створки в темноту...
 Посёлок спит.
 В тиши ночной застыла
 Бездонная над миром высота.
 Небесной тверди
 Кобальтовый свод
 Люминесцентным грифелем расчерчен...

ЧИТАЯ ЛАО ЦЗЫ

Там неба свод смыкается с водой
 Широкой лентой тёмного индиго,
 Но ближе к берегу меняет море цвет,
 Переходя в густой ультрамаринный,
 В зелёной растворяясь бирюзе;

И у буйков прозрачно-изумрудным
 Холмом вздымает жаркие тела.
 И в россыпь гальки розово-лиловой
 Упругую волной — когтистой лапой,
 Как хищница, накатывая, бьёт.

И тут же растекается, слабеет,
 Ласкается и льнёт к моим ногам,
 Из-под ступней легонько выбирая
 Песок. Теряю равновесье...

Переступаю на другое место,
 Игру волны невольно принимая,
 И вновь переступаю, вновь пытаюсь
 Нашупать ускользящую твердь...

Та сила беспрестанного движенья
 Воды, что придаёт округлость камням,
 Раздробленным на мелкие частицы,
 В зернистый перетёртые песок,

Влечёт меня, всецело поглощает,
 С микрочастицами песка и моря
 Соединяет. И неразрушимо
 Великое единство Предначал...

И нет уже ни времени, ни места...
 Ни форм, ни очертаний и ни звуков...
 И небо, и вода — всеобщий хаос,

В безмолвии струящаяся мгла...

Переплетаясь в космическом пространстве
 Эфир небесный и земной эфир,
 Плывут, клубясь, в безбрежном занебесье,
 Внутри себя гармонию тая...

СТРАСТИ ПО КАЗАНИ

Вновь побелела Казань: переулки, дворы,
 магистрали...
 Розовый столбик термометра падает вниз.
 Всё потепленьем грозили синоптики.

Врали! -
 Непредсказуем коварной погоды каприз.

.....
 Здесь, на Гоа, с аравийской играя волною,
 Вдруг затоскуешь: как сладок «отечества дым»!
 Крыш бирюзовых мой город!

От снега седым
 Облаком звёздным растаял вдали.
 Ты повсюду пребудешь со мною!..

Всё включено в пятизвёздном помпезном
 отеле.

Эта печаль — первобытного пращура зов.
 Только проверено: ром или «сотка»

мартеля
 Дома, у телека, вовсе не хуже, всамделе,
 И без экзотики этих индийских даров.

Водная пыль Дудхсагара*, чаёв аромат
 всевозможный,

Только притихла в груди моей певчая
 птица-скворец.

Что-то бормочет индус, завлекающий
 связкой колец...

Я — далеко(а) от него. На Жуковского,
 в лавке пирожных.

ВЕСЕННЕЕ

Лучик солнца на газон прилёт.
 Из земли, поднакопив силёнок,
 Одуванчик, охристый цыплёнок
 Выпростал упругий стебелёк.

* Дудхсагар — название одного из красивейших водопадов Индии.

Чистит пёрышки к теплу моя столица.
 У меня в кармане — ни гроша,
 Но легка, невесть куда стремится,
 Отзываясь на весну, душа.
 Вытаявший сор и пыль дороги
 Смоет дворник — благодатный дождь.
 Заведу выдавший виды «Додж»,
 По весне проедусь. Так немного
 Надо мне, чтоб было хорошо!

(И тебе, поверь, не больше надо!)
 Вот и ливень-чистильщик прошёл
 По деревьям и скамейкам сада.
 Семь цветов в себе соединив,
 Яркое, как в мультике, повисло
 Над Петром и Павлом коромысло,
 Над мечетью белой Кул Шариф.



Наиль Сиразетдинов

родился 2 июля 1966 года в Москве. После окончания средней школы поступил в Куйбышевский авиационный институт. Работал на металлургическом комбинате имени В.И. Ленина в Куйбышеве (ныне Самара). В данное время живёт и работает в Казани. Посещает литобъединения имени В.С. Мустафина и М. Зарецкого с 2011 года.

НОЧНОЙ ТРАМВАЙ

Как странник, призраком надежды
 Ночной трамвай прорезал тьму.
 Я где-то видел это прежде-
 Во сне иль в детстве — не пойму.

Там в навигации маршрутов
 Необычная страна.
 Своею властью ночь укутав,
 Восходит строгая луна.

Блуждает в полночи, как сталкер.
 Фантом? Трамвай? Иль звездолёт?
 Сквозь галактический фарватер,
 Как астероид, унесёт.

И если ты вдруг припозднился,
 Ночной трамвай тебе шепнёт:
 — Я лишь к тебе, поверь, стремился!
 Чтоб взять тебя с собой в полёт!

Ты посмотри, ведь сердце верит,
 Что звёзды скажут иногда!
 Но пассажир устало дремлет,
 Трамвай исчез вдруг навсегда.

БАБЬЕ ЛЕТО

Утонула янтарная осень
 В глубине твоих призрачных глаз.
 Безмятежная стылая просинь
 На свидании сблизила нас.
 Вдруг дохнула осенняя сырость
 Листопадом нечаянных фраз.
 Может, впал я сегодня в немилость,
 Словно старый шульженковский вальс?
 Тихий вечер. Тепло и уютно,
 Паутинка легла на плечо.
 То ли радостно мне, то ли грустно...
 Бабье лето, скажи, отчего?



Татьяна Сушенцова

родилась в Казани, работает в Центре восстановительного лечения детей-инвалидов. Стихи пишет с детства. В 2007 году по инициативе Казанской епархии при участии художников Зилантова Свято-Успенского монастыря вышел подарочный вариант сборника «В печали светлой покаянья». Пишет также стихи о природе и басни.

ЛЮБОВЬ

(на послание апостола)

Любовь не завидует, не превозносится,
Не ведает зла, никого не винит,
Из тихого сердца молитвою просится,
В душе негасимой лампадой горит.

Любовь не гордится, не мстит,
не бесчинствует,
Не ждёт воздаянья и славы людской -
Она терпелива, она не воинствует,
А светит, и греет, и дарит покой;

На помощь придёт в бескорыстном усердии
И в час испытания будет близка,
Не знают ей равных в трудах милосердия,
И нет на земле, кто б её не искал.

И бремя скорбей утрясённую мерою
Она принимает безропотно вновь...
Живём мы, конечно, надеждой и верою,
Но всё же главенствует в мире любовь.

ВОКЗАЛ

Наша жизнь – это старый вокзал,
Где тревожно гудят поезда,
Где толпой переполненный зал
И перроны – туда и сюда.

Расставанья привычная грусть,
И грядущего зыбкий мираж,
Каждый ищет назначенный путь
И несёт свой тяжёлый багаж.

Мир вокзальный всегда многолик,
И людской суеты не сдержатъ,
Кто-то прибыл сюда в этот миг,
А кому-то пора уезжать.

В беспорядке куда-то спешим.
Час, другой – и от нас ни следа.
Почему же так страстно хотим
Здесь остаться порой навсегда?

Разместившись в уютном углу,
Чемоданы свои разложить,
Кто повыше, а кто на полу,
И что это вокзал, позабыть.

Где-то ждёт нас конечная цель,
И «на выход» просили не раз,
Но, страшась, закрываем мы дверь,
Что ведёт в неизвестное нас.

Но суров и бездушен вокзал,
Всё давно предусмотрено им,
И в тоске покидаем мы зал
С багажом неизменным своим.

Тянет руку громоздкая кладь,
Не вместить её в тесный вагон,
Может, заново всё перебрать
И ненужное выбросить вон.

Чтобы ехать вот так – налегке,
Тяжкой ноши с собой не забрав.
Слышишь – где-то стучит вдалеке
Твой давно запоздавший состав?..



Андрей Горизонтов

родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет. Посещает литобъединения имени В.С. Мустафина с 2013 года. Живёт в селе Алексеевское.

ДЕТСТВО

Есть две страны былинных: Лукоморье
И диловатый сумрачный Кырлай.
Одна из них раскинулась на взморье,
Другую поглотил угрюмый край.

Картины детства чаще вспоминай:
Враги, как тучи, обложили взгорья;
И грозен дуб на острове у моря...
На нём — сундук... Что в нём?!
Скорей узнай!

Как все герои этих сказов схожи:
Кошей и Дэв, и Год тому назад,
Который защебил на пальцах кожу
У Шурале; его могучий брат,

Десницей усмиривший Черномора...
Да, детство, ты промчалось слишком скоро!

ХРАМ ВСЕХ РЕЛИГИЙ

Памяти Ильдара Ханова

В родном краю — на стыке двух культур —
Возникло вдруг волшебное строенье.
Его — веками — славил трубадур,
Как некое чудесное знаменье.

Как небывалый сказочный росток,
Дворец пророс — с рутиной в перебранке.
Он не похож на терем-теремок,
На «логово Кощея» на Казанке,

На Пирамиду, полную страстей,
Вместилище несбыточных желаний...
Он — Храм религий; и своих детей,
Разбросанных в пучине мироздания,

В урочный час он снова соберёт
И братству мира славу воспоёт!



ДИАНА КАН: ЛЕТАТЬ ВЫСОКО.



ДИАНА КАН «Звёзды окликают». Самара, издательство «Русское эхо», 2015.

— Диана Елисеевна, сердечно поздравляем Вас с выходом новой книги! И, надо сказать, прекрасно оформленной! Замечательно, что у Вас, наконец, появилась возможность издать её, благодаря помощи КПРФ и лично депутата Зюганова. Не сочтите вопрос шуткой, но если бы на выпуск сборника Вам передал средства не Геннадий Андреевич, а, скажем, Владимир Вольфович, использовали бы этот шанс?

— Сейчас многие партии велеречиво рассуждают-радеют о русском духе, русской литературе, русской культуре, но, как правило, рассуждениями и ограничиваются, до конкретной помощи редко доходит. А

в моём случае радение оказалось не риторическим, за что я, конечно, благодарна коммунистам России. Есть хорошая фраза: «Если мы не будем кормить свою армию, придётся кормить чужую». А я это выражение перевожу в литературную плоскость: «Если мы не будем любить своих русских поэтов, придётся любить чужих». Так что, если говорить о партиях, то всем им надо помнить, что, помогая русским поэтам, они укрепляют национальный дух и тем самым служат России. Фактически ведь поэт издаёт книгу не для себя, а для читателей. Книги — как дети, и детей мы рожаем и воспитываем не для себя, а для служения Родине!

— Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как возникли имена авторов статей, предварающих и заключающих Ваш поэтический сборник? Размышления Марины Струковой и Вячеслава Лютого — примеры глубокого прочтения поэтического текста, и потому естественно приходит мысль о том, что эти фигуры выросли рядом с Вашими стихами неслучайно.

— Без преувеличений скажу, что и Марина Струкова, и Вячеслав Лютый — одни из лучших современных писателей России. Это моё мнение, я его никому не навязываю, но озвучиваю и, как говорится, полностью разделяю! С Мариной Струковой я лично не знакома — только по стихам и по весьма фрагментарной переписке. Она тот редкий поэт, который способен меня удивить, а удивить меня сложно, я отравленный стихами человек. Марина удивляет, в первую очередь, своей безоглядностью, столь редкой в современной поэзии.

А Вячеслав Лютый, на мой взгляд, едва ли не самый глубокий и пронизательный современный литературный критик. С ним и его супругой Риммой дружу многие годы, ещё с тех времён, когда ни Лютый, ни я не были известны так, как сейчас. Мы параллельно росли, крепили, как писатели, набирали силу и высоту, горевали, радовались, набивали шишки, разочаровывались... Лютый один из самых близких мне по пониманию литературы людей. С его дружеской и профессиональной помощью я пережила не один творческий кризис.

— Согласны ли Вы с высказыванием Марины Струковой о том, что восточное начало в Ваших стихах уступило казачьей теме? Почему эти темы начали соперничать?

— Марина цепким взглядом поэта верно подметила восточную составляющую моих стихов. Я и начала-то писать стихи после того, как покинула-потеряла свою восточную родину. Парадоксально, но утрата Востока стала своего рода точкой отсчёта для меня как русской поэтессы. Хотя кто-то называет меня поэтессой евразийской, и это, в общем, тоже правильно. Во мне кипит такой этнический котёл, что мама не балуй! Ну, а казачество, на самом деле, не соперничает

с Востоком, но дополняет его. Казаки всегда жили на границе с Востоком — что в Туркестане, что на Кавказе. Казачество — это такая российско-евразийская «подушка безопасности»...

На самом деле дух казачества и дух самурайства «не столь различны меж собой». Я родилась и выросла на мусульманском Востоке. Генетически связана с Дальним Востоком (корейские и японско-самурайские корни по линии отца). От мамы у меня казачьи корни. Бабушка и в свои девяносто семь лет гордилась, что она природная казачка, то есть без примеси «мужицкой» крови. А вот дед мой, её муж, с которым они прожили всю жизнь и воспитали шестерых детей, был наполовину казак, наполовину «мужик». Об этом, как ни забавно, бабушка никогда не забывала, хотя всю жизнь прожила с дедом в любви, но помнила, что он казак «только наполовину». Словосно-этническое начало всё-таки сильно в нашем народе.

— В пространственно ориентированном исследовании Вячеслава Лютого в заглавие вынесен несколько максималистский образ мать-и-мачехи — целиком ли Вы принимаете эту смысловую точку, от которой отталкивался критик?

— У Мизнера, по-моему, есть мысль, что критик — это человек, объясняющий писателю его самого. Я очень противоречивый человек, меня всю жизнь раздирают разные — и каждая очень сильна! — крови, и из этой противоречивости, наверное, и сотканы мои стихи. Я человек полярный. Потому мне по жизни так близки лермонтовские «антитезы»: «И ненавидим мы, и любим мы случайно, // Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, // И царствует в душе какой-то холод тайный, // Когда огонь кипит в крови».

Лютый очень точно почувствовал и передал эту противоречивость в образе мать-и-мачехи. И, кстати, он был одним из первых, кто сказал мне, что именно противоречия движут творчество вперёд, что противоречивость — это не гибель, а творческое спасение поэта. Я стараюсь по возможности жить и писать так, чтобы то, что помогает мне в творчестве, не мешало в жизни. Но при этом могу быть очень заботливой «матерью», каковой стала многим поэтам России, причём порой мои «дети» были намного старше меня. Могу терпеливо помогать шлифовать строку, публиковаться, вступать в Союз писателей. Но я могу быть и очень стервозной «мачехой», когда пойму, что люди творчески и человечески не оправдали моих ожиданий. Такая вот я «широкоформатная» дама!

— Диана Елисеевна, история появления заглавия книги — «Звёзды оклика...» — не менее интересна, ведь звёздная романтика всегда была привлекательна для творцов. Почему выбор пал именно на эти строки? И каковы Ваши путеводные звёзды?

— Изначально название планировалось другое. И обложка практически уже была готова. Но на издательской «переправе» книга вдруг «поменяла лошадей». У древних славян был такой весенний обряд — они закликали звёзды, чтобы урожай был хорошим. Этот обряд проводил пастух, пастырь. А поэт — это ведь тот же пастырь! У меня вообще такое ощущение, что книга сама себя выбрала и издала, — настолько неожиданным было предложение от коммунистов её профинансировать...

— «Писатель должен быть мужествен», — писал в своём знаменитом эссе Юрий Казаков. Мне кажется, что «мужество писателя» — черта в полной мере Вам присущая. Не тяжёло ли этот груз для хрупких женских плеч?

— Женщине, чтобы быть писателем без скидок на «прекрасный пол», нужно вдвойне больше мужества и таланта, нежели мужчине. Я только на вид такая тонкая и воздушная. На самом деле я стальная самурайская дама, иначе бы меня давно сожрала «стая товарищей». Литература — мужская территория, с жёсткими мужскими правилами. Да и то сказать: нечасто сегодня встретишь мужчину, рядом с которым можешь позволить себе роскошь быть слабой. Я пока так и не встретила, но надежды не теряю...

— Есть ли в книге так называемые ключевые — для Вас — стихотворения, которые задают вектор всем остальным и которые следует воспринимать как творческое кредо поэтессы Дианы Кан?

— Я стала известной в России как «подданная русских захолустий». Горжусь тем, что в «лихие девяностые» и нулевые годы России я была с моей страной. Не по столицам ошивалась, а находилась в гуще народа, о котором написаны мои лучшие стихи. Так, видимо, решил Бог. Если в первой моей книге «Високосная весна» все стихи были о любви к мужчине, то в последующих главной любовью стала Россия — обманутая, оболганная, оклеветанная, да ещё и активно хороненная мужчинами-поэтами. Я любила и воспевала Россию, не примыкая к сонму патристических плакальчиков и погребальщиков, чьи надрывные стоны неплохо оплачивались всевозможными литсообществами. Бог меня миловал от похоронного плача по России и от премий, связанных с этими крокодиловыми слезами.

Сегодня любить Россию становится мейнстримом, а мне неинтересно любить то, что принято и выгодно любить. Да, власть вспомнила о патриотизме, но та же власть поневоле будет учить писателей, как *правильно* любить Родину, чего она, между прочим, не делала в девяностые и нулевые. А я не люблю, когда меня учат, как мне любить и как ненавидеть. В любви человек должен быть свободен.

— *Давайте помечтаем: как бы воспринял выход Вашего сборника Юрий Поликарпович Кузнецов?*

— Я даже примерно догадываюсь, какие стихи ему бы понравились!.. Помнится, он мне как-то сказал в октябре 1995 года: «Диана, пора становиться мастером, всё для этого у Вас есть!». И что в сухом остатке? Могу, положа руку на сердце, сказать, что, с одной стороны, я, конечно, научилась летать высоко, рискованно и изысканно. Могу если не научить другого поэта писать стихи (научить нельзя, можно только научиться!), то, по крайней мере, дать ему полезный совет, могу практически любое, даже самое дохленькое стихотворение с «недорусского» перевести на хороший русский язык... Всё это так! Но вместе с тем у меня почему-то чем дальше, тем больше крепнет ощущение, что не я пишу стихи, а они пишут меня. Потому что последнее время я «включила мозги» и поняла — практически всё мной написанное сбылось воистину с буквальной точностью. Признаюсь, мне стало на какой-то миг жутко! И появилась «боязнь высоты», которая, говорят, иногда появляется у лётчиков-асов. Я даже формулу для себя вывела такую: стихотворец пишет о том, что было, а поэт о том, что будет. А если так, о каком мастерстве можно говорить! Не мы пишем стихи, они пишут нас.

Как бы хотелось узнать, что думает по этому поводу Юрий Кузнецов! Но что сейчас об этом?.. Если Мастер, начиная стихотворение, знает, чем оно закончится, то я так и не стала Мастером. Хотя, думаю, Кузнецову не было бы стыдно сегодня сказать, что Диана Кан — его ученица. Редко говорю на эту тему, но сейчас столько откровенно слабых поэтов говорят, что были учениками Кузнецова... Однако гениальность Учителя не компенсирует слабость ученика, а лишь подчёркивает её!

— *Книга вышла, сделано большое дело. Есть ли у Вас чувство удовлетворения и полностью реализации замысла? Зреют ли новые поэтические зёрна для следующих сборников?*

— Книга вышла с опозданием на год, юбилей-то у меня был год назад. И хотя я активно пишу и публикуюсь, книги у меня не выходили с 2008 года. И я, видимо, «перегорела» уже до такой степени, что на авторскую читку этого своего детища меня просто не хватило. Спасибо коллегам в разных регионах России — от Калининграда до Владивостока: узнав, что у меня наконец-то выходит сборник, они стали просить прислать PDF-версию, чтобы помочь с поиском опечаток...

Милые мои друзья, как и обещала, — всем вам, помогавшим мне читать книгу, — я пришло её в подарок! И, конечно, я благодарна коммунистам России — Геннадию Зюганову, Валентину Романову, Алексею Лескину за финансовую поддержку издания. Поскольку, видать, и самарская региональная власть, и муниципальная новокуйбышевская настолько обнищали, что денег на выпуск моей книги так и не нашли! Но, слава Богу, есть книги, которые сами себя издают, и стихи, которые нас пишут. Без чиновного на то соизволения!

Беседовала Ирина Калус

ВЕТЛУЖСКИЙ МАГНИТ

ОЛЕГ РЯБОВ. «Убегая — оглянись, или возвращение к Ветлуге».
 Нижний Новгород, издательство «Деком», 2015.



Олег Рябов — человек удивительный. Радиофизик, библиофил, антиквар, поэт, прозаик, издатель, организатор литературной жизни регионального масштаба (это далеко не все его ипостаси!) издал в этом году новый роман, моментально попавший в лонг-лист «Нацбеста». Шут с ним, с «Нацбестом», дело вовсе не в том, что попадают туда не всегда «best»ы, не в пресловутых «лонгах» и «шортах» (а это всего лишь короткие детские штанишки), а в том, что роман Рябова явно достоин того, чтобы уставший от обилия издаваемого бумажного продукта вдумчивый читатель обратил на него внимание. В центре повествования — три школьных товарища, судьбы которых неразрывно связаны с судьбами нашей многострадальной родины. Само понятие «родина» для Олега Рябова ключевое.

Как радиофизик, он даёт ему точное и оригинальное определение: «Когда обрезается ребёнку пуповина, и он делает первый самостоятельный вдох, в определённых участках его организма фиксируются напряжённости и векторы всех геофизических полей, существующих на Земле: гравитационного, магнитного, электромагнитного, космического излучения и ещё массы параметров, присущих данной точке Земли и никакой другой. И эта точка Земли — его Родина, и будет ему хорошо только здесь».

У каждого свой вектор развития, но такая важная физическая категория, как время, вполне способна изменить направление этого вектора. Потому мы, наверно, и говорим: «пройти испытание временем». К тому же, как известно, астрофизики доказали, что и само время — величина векторная, поскольку не постоянно, а имеет направление.

Действие романа начинается в семидесятые годы, когда происходит становление героев (нетрудно вычислить, что все они родились в первые послевоенные годы). История жизни Андрея Ворошилова (одним из прототипов которого, без сомнения, является известный нижегородец, бизнесмен и политический деятель, тёзка героя), переданная с подробностью протокола допроса, с детальной точностью и убедительностью раскрывает историю загадочного русского бизнеса, того причудливого явления, которое так ярко заявило о себе в девяностые годы.

Очень часто в нашей псевдопатриотической прессе появляется такое мнение, что великую державу развалили три пьяных мужика в Беловежской пуще. Никогда бы пьяные мужики не посмели так сделать (кишка тонка!), если бы не было у Беловежской пущи своих исторических предпосылок, о которых не знали разве что молчаливые пучеглазые зубры. Автор романа, может быть, впервые в истории русской литературы даёт понять, что беды девяностых годов появились не как Минерва из головы Юпитера, что их корни надо искать не в пронизывающем до дрожи западном атлантическом циклоне, а в насквозь прогнившей советской избе. Именно в советских хозяйственных учреждениях, в студенческих строительных отрядах, в букинистических отделах государственных книжных магазинов появились зачатки того причудливого явления, известного на весь мир как «русский бизнес» или *bespredel*, и аналога которому нет и не будет нигде и никогда.

Девяностые годы — время особенное. Это не только трагическая и позорная гибель огромной державы, полная и безоговорочная капитуляция нашей родины в холодной войне с Западом, расстрел первого русского парламента, фантазмагорические финансовые пирамиды Мавроди, государственная авантюра с ваучерами и приватизацией, моментальное обогащение одних и обнищание других. Это ещё и проверка прочности вектора развития конкретного человека. Проходит ли эту проверку Андрей Ворошилов? И да, и нет. Становясь предпринимателем и советником нижегородского губернатора (здесь вновь узнаётся одно из самых печальных лиц нашей современной истории), устроившим Андрею побег за

границу после того, как о его финансовых махинациях узнаёт ФСБ, Ворошилов не теряет человеческого лица. Его слабость внезапно становится силой, а сила — слабостью. Материальное обогащение не приносит герою счастья, и он тайно возвращается под чужим именем на родину, на берег Ветлуги. Автор романа не ставит никаких диагнозов, он просто описывает жизнь такой, какая она есть, без всяких прикрас. Из правды жизни возникает то, что называется художественной правдой. Андрей Ворошилов, обычный советский спекулянт и удачливый бизнесмен девяностых годов, вовсе не выступает как герой отрицательный (чего бы так хотели псевдопатриоты), но ещё в большей степени он и не герой наших прикормленных властями либералов — настолько сильно и неординарно его человеческое начало.

Судьба второго героя романа, Льва Бородича, талантливого радиофизика, волею судеб погрузившегося в увлекательный мир букинистики, не менее интересна и поучительна. Если Андрей Ворошилов предприниматель по призванию, то Бородич становится таковым в силу определённым образом сложившихся обстоятельств. И здесь автор блестяще показывает — у бизнеса, также как у любого другого дела, нет стереотипов, на этой стезе, как и на многих других, успеха достигает самый настойчивый и мужественный, не боящийся жизненных невзгод, умеющий в любой момент начать всё с нуля. Так вот и Лев Бородич после нескольких жизненных крушений находит себя как человек, реализуется как личность и, хотя и покидает родину волею судеб, вновь возвращается на любимую Ветлугу.

Третий герой, Борис Иванов, физик и «лирик» по совместительству, наверное, самый загадочный герой произведения. Его научная карьера внешне складывается вполне успешно, но трагическая смерть единственной дочери полностью меняет Бориса, он впадает в депрессию, от которой его неожиданно спасают всё те же друзья — Ворошилов и Бородич, вернувшиеся из чужих краёв на берега любимой реки.

Что больше всего привлекает в романе Рябова? Я бы сказал так — достоверность. Автор описывает конкретных людей, подчас под своими именами (так, в романе фигурируют нижегородский писатель Борис Пильник, в кружок которого ходит Борис Иванов, поэт Борис Бейненсон, широко известный среди литераторов Нижнего в шестидесятые и семидесятые годы, композитор Александр Перфильев), улочки, переулки и дворы Нижнего Новгорода. С особой любовью описана Ветлуга, которую автор знает досконально — а точнее, тот её участок от Воскресенска до Красных Баков, куда в результате всех жизненных коллизий возвращается каждый из его героев.

А самое главное, наверное, всё же то, что книгу просто интересно читать.

Евгений Эрстов

РОМАН О ЛЮБВИ

ОЛЬГА КУЗЬМИЧЕВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ. «Всё — ничто! — без любви». Издательство «Идель-пресс», 2015.

Имя О.В. Кузьмичевой-Дробышевской хорошо известно читателям. Она активно публикуется во всероссийских и республиканских литературных журналах и альманахах: «День и ночь» (Красноярск, Москва), «Идель» (Казань), «Аргамак» (Казань, Татарстан), «Слово Отчее» (Москва), «Точки» (Москва), «Путь мастерства» (Москва), «Енисейский литератор» (Красноярск), «Дагестан» (Махачкала), антология поэзии «Под небом высоким» (Казань). Творческий диапазон О.В. Кузьмичевой-Дробышевской очень широк: он охватывает лирику (два поэтических сборника), художественно-документальную прозу (две книги), сочинение и исполнение романсов на свои стихи и произведения российских поэтов (три



песенных сборника). О.В. Кузьмичева-Дробышевская получила признание как профессиональный писатель: член Союза российских писателей, лауреат Республиканского конкурса Республики Татарстан «Хрустальное перо» (2010), дипломант международного Тютчевского конкурса (2013).

Новая книга О.В. Кузьмичевой-Дробышевской «Все – ничто! – без любви» (2015) находится в русле современных тенденций развития литературы, обратившейся от постмодернистских экспериментов к документально-художественной прозе. Жанр книги автор определяет как роман, несмотря на документальную часть повествования.

Название романа сначала кажется сложно воспринимаемым, однако, как сильная позиция текста, нацеливает на идею произведения: главный движущий механизм человеческой жизни – ЛЮБОВЬ. В романе это слово постепенно наполняется множеством смыслов: это любовь к жизни, любовь родителей к детям, любовь как главное чувство в семейных взаимоотношениях, любовь учителя к своим ученикам, любовь к Богу. Каждый из названных оттенков чувства полно и всесторонне раскрывается в романе.

Казалось бы, что роман с положительным героем в центре повествования устарел, он ведёт к беспроблемности в повествовании. Однако в романе О.В.Кузьмичевой-Дробышевской герой находится в постоянном движении, в поиске себя, своего места в жизни, методов воздействия на учеников, естественным образом заканчивается один этап повествования, чтобы приоткрыть завесу второго, в котором главный герой предстаёт уже в ином, даже неожиданном свете.

Избрав главными героями учителей Евгения Андреевича Черепова и его жену Татьяну Корнеевну, автор невольно включается в контекст произведений В. Железникова, А. Алексина, А. Лиханова, В. Крапивина, В. Тендрякова, Ю. Полякова, Ю. Вяземского, А. Жвалевского, Е. Пастернак и других, поднимающих «школьную» тему в отечественной литературе. Автор нового романа сумела найти свой оригинальный путь для её раскрытия.

Евгений Андреевич Черепов – учитель-исследователь, стремящийся внедрить в условия современной школы гуманистическое педагогическое наследие В.В. Сухомлинского, привить учащимся любовь к географии, а через свой предмет и к природе родного края, воспитать патриотов своей страны и гармонично развитых людей. И это ему удаётся сделать в школе № 20 города Набережные Челны. Однако в романе тема педагогического поиска получает неожиданный поворот, связанный с духовными исканиями героя, который в свете онкологического заболевания приходит к религиозному самосознанию. Открытие воскресной школы при Свято-Тихоновском храме становится естественным воплощением в жизнь нового мировоззрения героя. Эта тема также актуальна в современной литературе и ещё только начинает осваиваться современными писателями (В. Крупин, например).

Тема любви во всех своих воплощениях связана с любимой женой Черепова – Татьяной Корнеевной. С самого начала – с истории знакомства и развития отношений молодых влюблённых – мы видим бескорыстную, беззаветную и бережную любовь героев, тем более удивительно для читателя, что Евгений Андреевич укоряет себя в эгоизме, в том, что он недостаточно времени и любви дарил своей жене и семье. Однако это звучит убедительно и не кажется искусственным, натянутым, потому что на протяжении всего романа показано развитие отношений героев, их нравственные поиски, радости и огорчения, что помогает избежать монотонности повествования, ощущения бесконфликтности. Герои постоянно находятся в ситуации выбора пути, автор сумел сжать повествование так, чтобы только самые яркие, драматичные эпизоды жизни героев были показаны подробно, в диалогах, которые затем сменяются авторским повествованием. О.В. Кузьмичева-Дробышевская сумела избежать нравоучительной интонации, в то же время показала редкую во все времена мужскую немногословную любовь к своей единственной жене, которая страдает хроническим пороком сердца. В романе выбор героя представляется естественным, а жизненные обстоятельства преодолеваются возлюбленными, благодаря их искренним и крепким чувствам.

В то же время автор затрагивает тему сиротства и судеб детей, воспитывающихся в детских домах. Всего несколько эпизодов, которые могут служить не только характеристике главного героя, но и позволяют снова обратиться к этой социальной проблеме. В данном случае судьба одного такого ребёнка Вити благополучно разрешается в романе. Автору легко было пойти по пути идеализации главного героя, однако О.В. Кузьмичевой-Дробышевской удалось избежать этого. Так, в отношениях Е. Черепова с приёмным сыном показаны и трудности в общении, в воспитании подростка, раненого сиротской судьбой.

Обращаясь к судьбе современника, писатель должен так или иначе отразить и эпоху, на фоне которой жил герой и его семья. История нашей страны в XX веке неоднозначна, ещё ждёт объективного художественного осмысления. К несомненным достоинствам романа можно отнести и умение автора представить достаточные, но не избыточные фоновые сведения об эпохе. Здесь есть и военные сцены, расстрел фашистами харковчан в годы Великой Отечественной войны, рассказ о репрессированных немцах, о годах застоя и перестройке, которые позволяют автору полнее раскрыть характер и мировидение образов, но и не уйти от основного повествования.

Удачным, на наш взгляд, является и жизненная география семьи Череповых, позволяющая показать и Кубань, и Север, и «нутрянную» Россию, и новый строящийся город Набережные Челны с красотой и необъятностью нашей страны, а также и с её проблемами.

Привлекает и манера письма О.В. Кузьмичевой-Дробышевской, которая избрала лёгкий, неперегруженный сложными синтаксическими конструкциями стиль повествования. В то же время главные герои – учителя, представители интеллигенции, а Татьяна Корнеевна – учитель литературы, поэтому органично в текст романа включаются изречения Л.Н. Толстого, В.В. Сухомлинского, М.Ф. Достоевского, Н.В. Гоголя, поэтические строчки В. Хлебникова, М. Лермонтова, Н. Заболоцкого, античные мифы, пословицы, расширяя интертекстуальное пространство повествования.

О.В. Кузьмичева-Дробышевская, обладая прекрасным поэтическим талантом, представила и запоминающиеся, одухотворённые пейзажи северных белых ночей, знойного южного города, звёздного неба, лесных просторов.

Альфия Галимуллина.





БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ СЕРЁЖЕНЬКА

Самый молодой солдат Великой Отечественной войны!

Серёже Алешкову было шесть лет, когда немцы казнили его маму и старшего брата за связь с партизанами. Произошло это в Калужской области.

Серёжу спасла соседка. Она выбросила ребёнка из окна хаты и крикнула, чтобы он бежал что было сил. Мальчик бросился в лес. Дело было осенью 1942 года. Трудно сказать, сколько времени бродил ребёнок, голодный, измученный, замёрзший в калужских лесах. На него натолкнулись разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал майор Воробьёв. Они перенесли мальчика на руках через линию фронта. И оставили в полку.

Трудней всего было подобрать одежду для маленького солдата: ну где найдёшь сапоги тридцатого размера? Однако со временем отыскалась и обувь, и форма – всё как полагается. Молодой неженатый майор Михаил Воробьёв стал для Серёжи вторым отцом. Кстати, позднее он официально усыновил мальчика.

– Вот только мамы у тебя нет, Серёженька, – как-то грустно сказал майор, глядя по коротко стриженным волосам мальчика.

– Нет, так будет, – ответил тот. – Мне нравится медсестра тётя Нина, она добрая и красивая.

Так с лёгкой руки ребёнка майор нашёл своё счастье и прожил с Ниной Андреевной Бедовой, старшиной медицинской службы, всю свою жизнь.

Серёжа помогал старшим товарищам, как мог: носил бойцам почту и патроны, в перерывах между боями пел песни. У Серёженьки оказался замечательный характер – весёлый, спокойный, он никогда не ныл и не жаловался по пустякам. А для солдат этот мальчик стал напоминанием о мирной жизни, у каждого из них остался дома кто-то, кто их любил и ждал. Все старались приласкать ребёнка. Но своё сердце Серёжа раз и навсегда отдал Воробьёву.

Медаль «За боевые заслуги» Серёжа получил за то, что спас жизнь своему названному отцу. Однажды во время фашистского налёта бомба разворотила блиндаж командира полка. Никто, кроме мальчика, не видел, что под завалом из брёвен находится майор Воробьёв.

– Папка! – не своим голосом закричал Серёжа, подскочил к блиндажу и прижался ухом к брёвнам. Снизу раздавался глухой стон.

Глотая слёзы, мальчик попытался сдвинуть брёвна в сторону, но только разодрал руки в кровь. Несмотря на продолжающиеся взрывы, Серёжа побежал за подмогой. Он привёл к заваленному блиндажу солдат, и те вытащили своего командира. А гвардии



рядовой Серёжа стоял рядом и рыдал в голос, размазывая грязь по лицу, как самый обыкновенный маленький мальчик, которым он, собственно, и был.

Командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков, узнав о юном герое, наградил Серёжу боевым оружием — трофейным пистолетом «вальтер». Позднее мальчик был ранен, отправлен в госпиталь и на передовую больше не вернулся. Известно, что Сергей Алешков окончил Суворовское училище и Харьковский юридический институт. Много лет проработал юристом в Челябинске, поближе к своей семье — Михаилу и Нине Воробьёвым. В последние годы работал прокурором. Умер рано, в 1990 году. Сказались годы войны.

История сына полка Алешкова кажется легендой, если бы не старая чёрно-белая фотография, с которой доверчиво смотрит на нас улыбающийся круглолицый мальчик с лихо надвинутой на одно ухо пилоткой. Гвардии

рядовой Серёженька. Ребёнок, попавший в жернова войны, переживший много бед и ставший настоящим человеком. А для этого, как известно, нужна не только сила характера, но и доброе сердце.

От главного редактора. «Гвоздь номера» мы приберегли напоследок. Особенно он взволновал лично меня потрясающим совпадением. Дело не только в том, что мы с «гвардии рядовым Серёженькой» однофамильцы, но и у моего сына имя — Сергей, Серёжа. Ему 23 года.

Это не легенда, придуманная ради престижа. Текст заметки прислала из Воркуты поэтесса Ольга Хмара, добрый друг и автор журнала «Аргамак. Татарстан». А она скопала информацию на сайте <http://ekklezia.ru/blogi/5711-ukazhite-nazvanie-blogagvardii-ryadovoy-seryozhenka-samyiy-molodoy-soldat-velikoy-otechestvennoy-voynyi.html> (неверующие могут убедиться).

Мне остаётся сожалеть, что мы не познакомились с Сергеем Алешковым, пока он был жив — Челябинск от Татарстана не так уж далеко.

А главное — пусть нынешние враги России знают, что у нас, счастливо родившихся в 1945 году, а также у наших детей, внуков и правнуков, как и у всех патриотов России, великая Победа — «одна на всех, мы за ценой не постоим!» Своему сыну Сергею Алешкову я посвятил и такие строки: «Нельзя менять ни Родину, ни веру! Я это знал. И ты на этом стой!»

Николай Алешков



НЕБО БЫЛО ЕЁ ЛЮБОВЬЮ



СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Литературная общественность Татарстана понесла невосполнимую утрату. 20 апреля 2015 года на 82-м году жизни скоропостижно скончалась писатель, журналист, член Союза писателей СССР с 1969 года, лауреат литературных премий имени Г. Державина и имени М. Горького, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Нонна Николаевна Орешина.

Эта женщина — живая легенда нашей авиации — сорок лет она писала очерки и книги о жизни авиаторов. Желая глубже узнать жизнь лётчиков, сама, сдав зачёты и получив допуски, поднималась в небо. Летала с лётчиками на пилотаж и боевое применение. В Лётной книжке Нонны Николаевны зафиксировано более восьмисот полётов на 42 типах летательных аппаратов: планерах, поршневых спортивных, сверхлёгких и реактивных учебных самолётах, на сверхзвуковых истребителях, самолёте вертикального взлёта и посадки Як-38У (с палубы корабля и наземных площадок), на бомбардировщиках, боевых вертолётах и самолёте-амфибии.

Нонну Николаевну знают и любят боевые лётчики и испытатели, космонавты и авиаконструкторы.

Нонна Орешина родилась в Москве 30 июня 1933 года. С 1939 года жила в Казани. Окончила Казанский химико-технологический институт.

Первый рассказ Нонна Орешина написала в день полёта Юрия Гагарина. В 1967 году увидел свет её сборник «Тебе семнадцать». В 80-е годы она возглавляла секцию русской литературы Союза писателей ТАССР.

Нонна Орешина была хорошо известна и как журналист. Почти пятнадцать лет она была внештатным специальным корреспондентом газеты «Правда». С 1973 по 1987 год было опубликовано около двадцати её очерков, посвящённых лётчикам.

В Москве и Казани было издано четырнадцать документальных и художественных книг писательницы: сборники очерков, повестей и рассказов «Время сжатых секунд», «А небо — рядом...», «Шаг по земле», «Такое огромное небо», «Высокого неба глоток», «Сотвори себе крылья», «Хочу как птица!..», романы «Мина замедленного действия», «Небо земных надежд», «Полёт души», книга воспоминаний «В режиме вертикального взлёта».

Нонна Орешина стала для многих поэтов и писателей, а также читателей человеком, на которого равняются. Особую любовь она снискала среди молодёжи. Она была открытым, доброжелательным человеком, всегда готовым прийти на помощь, человеком высочайших нравственных качеств. Не жалела времени для своих младших коллег, изучала их произведения, подсказывала пути творческого решения.

Нонна Орешина отмечена многими наградами — знаком «Отличник культурного шефства над Вооружёнными силами СССР», «Золотым пером Руси», медалями «К 100-летию М.А. Шолохова» («За гуманность и служение России»), «В память 1000-летия Казани», нагрудным знаком «За достижение в культуре», почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, газеты «Правда», Президиума Верховного Совета Татарской АССР, Татарского обкома КПСС и Совета Министров ТАССР.

Память о Нонне Николаевне Орешиною навсегда останется в наших сердцах.

*Союз писателей Республики Татарстан,
Татарстанское отделение Союза российских писателей.
Редакция литературного журнала «Аргмак. Татарстан».*

Наши авторы

стр. 205 АКУРИНА Дельфина Фаридовна (Анна Акчурина) — художник, поэт, автор статей по искусству для разных изданий России. Родилась в 1970 году в Казани. Окончила педагогическое отделение Казанского художественного училища им. Н. Фешина. Преподавала в Малой Академии искусств, в школе Акварели. Неоднократно участвовала в районных и городских выставках в Подмоскovie, в Казани. Печаталась в изданиях Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Архангельской области, Ростова-на-Дону, г. Шахты. Сотрудничает с журналами «Талант», «Казань», «Бег» (Санкт-Петербург), с литературно-художественным альманахом «Эхо Шахтинских прогулок». Печаталась в газетах «Казанские Ведомости», «Вечерняя Казань». Автор 34 статей по изобразительному искусству, театру, истории моды. В 2014 году выпустила книгу стихов «Страж» с авторскими иллюстрациями. Автор иллюстраций к роману Валерия Хацкина «Белое золото» (о последних днях адмирала Колчака (2012)), иллюстраций к книге стихов Ирины Мудриченко «Судьба Винограда» (2013), рисунков к поэтическому трёхтомнику Леонида Колчинского «Рифмованный дневник» (Казань, издательство Сергея Бузукина, 2014 г.). Работает над книгой по актуальным проблемам искусства.

стр. 154 АЛЕШКОВ Николай Петрович родился в селе Орловка Челнинского района ТАССР 26 июня 1945 года. Работал монтером связи, электриком, кровельщиком, диспетчером домостроительного комбината. Но основная трудовая деятельность связана с журналистикой. Газетчик. Был редактором набережночелнинской городской газеты «Время», а также редактором межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В настоящее время — председатель Татарстанского отделения Союза российских писателей, главный редактор литературного журнала «Аргамак. Татарстан». В 1982 году закончил заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького (семинар Н. Н. Сидоренко). В 1984 году принят в Союз писателей СССР. Автор одиннадцати книг стихов, изданных в Казани, Набережных Челнах и в Москве. Живёт в Набережных Челнах. Лауреат литературной премии имени Г. Р. Державина, Всероссийской литературной премии «Ладога» имени А. Прокофьева.

стр. 210 ВОРОНИН Александр Геннадьевич родился 29 декабря 1958 года в Куйбышеве (ныне — Самара). Учился в Казанском театральном училище, играл в спектаклях театра юного зрителя. Выпускник Литературного института имени Горького 1986 года (семинар драматургии В. С. Розова). В 1987 году в Казанском тюзэ поставлена его пьеса-фантазия «Четыре вечера и одно утро». Участник Всесоюзных семинаров драматургов в Рузе, Дубултах, Ленин-

граде. С исчезновением СССР подался в журналистику. В газете «Молодёжь Татарстана» опубликовал роман с продолжением «Ясновидящая». С 1998 по 2001 год работал в журнале «Казань», опубликовал в нём три повести. В 2005 году в Казанском тюзэ к 60-летию Великой Победы поставили пьесу Александра Воронина «Прикосновение к войне» — по автобиографической прозе Виктора Розова. Там же через год сыграли премьеру комедии «Полёты в параллельных мирах». Более двадцати лет Александр Воронин преподаёт историю театра в Казанском театральном училище. В 2008 году вышли его книги «Драма диасизма» (к 70-летию Диаса Валеева) и «Монарх — монах» (сборник пьес). Под его редакцией издано несколько альманахов «Галерея», последний (2015 год) посвящён 80-летию казанского поэта Виля Мустафина. Председатель Казанской городской организации Татарстанского отделения Союза российских писателей. Член бюро Правления Союза театральных деятелей Татарстана.

стр. 191 ИВАНОВ Андрей Николаевич родился 28 февраля 1974 года в Магадане. Школу, училище культуры (режиссёрское отделение) и институт (историко-филологическое отделение) окончил в Елабуге, где и живёт в настоящее время. С 1991 года занимается краеведческой деятельностью; с 2003 года еженедельно в газете «Вечер Елабуги» публикует краеведческие материалы. С 2007 года работает в Елабужском государственном музее-заповеднике. В настоящее время — директор Библиотеки Серебряного века. Автор книг «Притчи и истории для тренера и консультанта» (Санкт-Петербург, «Речь», 2007), «Николай Пинегин: очарованный Севером» (Елабуга, 2010). Награждён орденом «Общественное признание» (2014). Автор проекта «Документальный театр МИФ: Музей. История. Факты», получившего в 2014 году грант Фонда Тимченко в рамках Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Этот проект был успешно реализован на базе Елабужского государственного музея-заповедника.

стр. 91 КЕРДАН Александр Борисович родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Автор 52 книг стихов и прозы. Двадцать семь лет прослужил в Вооружённых Силах. Полковник запаса. Награждён орденом Дружбы и 22 медалями. Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Лауреат Большой литературной премии России, международных и всероссийских литературных премий. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Екатеринбурге.

стр. 63 ЛАВРОВ Виктор Михайлович родился 28 февраля 1925 года. Его дед — священник

Алексий Лавров из села Орловка Мензелинского уезда Уфимской губернии, родители – сельские учителя. Отец, Михаил Алексеевич Лавров, преподавал в школе села Лекарева Елабужского района ТАССР и в самом начале войны был мобилизован на войну с фашистами. А в 1943 году, в возрасте восемнадцати лет, уже и Виктор Михайлович был призван в Красную Армию. Ему довелось служить и воевать в разведротте знаменитой 100-й гвардейской Свирской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии. Молодому бойцу, рядовому автоматчику Виктору Лаврову выпало освободить от фашистских захватчиков Венгрию, Австрию и Словакию. Он был награждён боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены» и другими, был удостоен награды чешского правительства. После окончания войны Виктор Михайлович с отличием окончил военный факультет Московской финансово-экономической академии, дослужился до звания полковника. Был уволен в запас в 1978 году в должности начальника финансового отдела полуправления войск ПВО страны. Последние годы В.М. Лавров работал военным ревизором. Он был понастоящему яркой, глубокой личностью, человеком большой души, эрудиции и порядочности, отличным семьянином, обладал, как и все Лавровы, тонким чувством юмора. Проживал постоянно в г. Балашихе Московской области, где и скончался в 2000 году. В этом военном городке под Москвой и по сей день живут три его дочери – старшая Татьяна и двойняшки Надежда и Вера.

стр. 161 ЛЮТЫЙ Вячеслав Дмитриевич родился в 1954 году в городе Легница Польской народной республики. Окончил Воронежский политехнический институт, Литературный институт им. А.М. Горького. Служил в армии, работал радиоинженером, звукооператором и заведующим литературной частью театра, инкассатором, менеджером коммерческого банка. В настоящее время – ответственный секретарь журнала «Подъём». Лауреат премии Общественной Палаты Воронежской области «Живые сокровища славянской культуры», премии журналов «Подъём», «Русская речь», «Аргмак. Татарстан». Член Союза писателей России. Живёт в Воронеже.

стр. 82 МАТВЕЕВ Николай Михайлович родился в 1941 году в деревне Иванаевка Альметьевского района ТАССР. С десяти лет живёт без родителей. Окончил среднюю школу в селе Кузайкино с золотой медалью, с отличием – механико-математический факультет КГУ, имеет учёную степень кандидата педагогических наук и учёное звание доцента. Два года преподавал русский язык и литературу в восьмилетней школе и 33 года – высшую математику в НХТИ. С 1968 года живёт в Нижнекамске. Пишет стихи и прозу. Проза и стихи публикуются в газетах города Нижнекамска, а также в журнале «Аргмак. Татарстан».

стр. 4 МУРАТОВ Пётр Юрьевич родился в 1962 году в Казани. После окончания средней школы поступил в Казанский Государственный университет на биолого-почвенный

факультет, кафедра микробиологии. В 1984 году по окончании университета был распределён в НИИ молекулярной биологии НПО «Вектор» под Новосибирском. Кандидат биологических наук. С начала девяностых и до сих пор – предприниматель. Женат, имеет двух детей, внучку.

стр. 173 МУРАТОВА (Калиничева) Людмила Петровна родилась 14 августа 1931 года в Белоруссии. Отец Калининцев Пётр Михайлович – лётчик, кадровый офицер РККА, погиб в августе 1941 года. В 1942–1943 годах оказалась в немецкой оккупации в г. Краснодаре. С октября 1943 по весну 1947 года обучалась в специальном ремесленном училище связи г. Пятигорска. В 1951–1956 годах – учёба в Ленинградском электротехническом институте связи имени Бонч-Бруевича. В 1956 году получила распределение на завод «Радиоприбор» г. Казани, где проработала 35 лет. С 1991 года на пенсии. Носит звания «Труженик тыла» и «Ветеран труда», награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями: в честь Дня Победы, «В память 1000-летия Казани». Ныне проживает в г. Новосибирске. Замужем, имеет сына, внуков, правнучку.

стр. 223 МУСТАФИН Виль Салахович (1935–2009 гг.) родился в Казани в семье видного татарского языковеда и журналиста Салаха Атнагулова. В 1936–37 годах родители были репрессированы. Воспитывался тёткой по матери Хадичой Мустафиной. По образованию – математик, окончил Казанский университет. Работал по специальности в различных казанских вузах и НИИ. Стихами увлёкся в начале шестидесятых. Посещал литературное объединение при Союзе писателей. Публиковаться начал в начале «перестроечного периода» – в конце восьмидесятых: подборка стихотворений в газетах «Советская Татария» («Республика Татарстан»), «Вечерняя Казань», «Звезда полей», «День литературы», в журналах «Панорама», «Идель», «Казань» «День и ночь». Выпустил три книги стихотворений. Лауреат республиканской литературной премии имени А.М. Горького. Член Союза российских писателей.

стр. 23 НОСОВ Евгений Иванович родился 15 января 1925 в селе Толмачово Курской области в семье потомственного мастерового, кузнеца. Шестнадцатилетним юношей пережил фашистскую оккупацию. Закончил восьмой класс и после Курского сражения (5 июля – 23 августа 1943 года) ушёл на фронт в артиллерийские войска, став наводчиком орудия. Участвовал в операции «Багратион», в боях на Рогачёвском плацдарме за Днепром. Воевал в Польше. В боях под Кёнигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и День Победы встречал в госпитале в Серпухове, о чём позже написал рассказ «Красное вино победы». Выйдя из госпиталя, получил пособие по инвалидности. После войны окончил среднюю школу. Уехал в Казахстан, Среднюю Азию, работал художником, оформителем, литературным сотрудником. Начал писать прозу. В 1957 году – первая публикация: рассказ «Радуга» опубликован

в курском альманахе. В 1958 году выходит его первая книга рассказов и повестей «На рыбацкой тропе». В 1961 году вернулся в Курск, стал профессиональным писателем. В 1962 году начал учиться на Высших литературных курсах в Москве. В 1980-х гг. был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Много печатался в журналах «Наш современник», «Новый мир», где вышли лучшие его рассказы и повести, занимающая достойное место в русской литературе. Большой успех имела повесть «Усвятские шлемоносцы» (1980); в 1986 году под этим названием вышел сборник его повестей и рассказов; в том же году – книга очерков «На дальней станции сойду»; в 1989 году – книга рассказов для младших школьников «Где просыпается солнце»; в 1990 году – повести и рассказы «В чистом поле»; в 1992 году – книга рассказов для старших школьников «Красное вино победы». Евгения Носова можно отнести к представителям «деревенской прозы» и к не менее значимой в литературе XX века «окопной правде». Важнейшие его темы – военная и деревенская. Премии и награды: Герой Социалистического Труда (1990), два ордена Ленина (1984, 1990), орден Отечественной войны I степени (1985), орден Отечественной войны II степени, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден «Знак Почёта», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1975) за повесть «Шумит луговая овсяница», премии журнала «Наш современник» (1973), премия «Литературной газеты» (1988), премия газеты «Правда» (1990), Международная премия имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства (1996), премия журнала «Юность» (1997), премия «Москва – Пенне» (1998 год), премия имени А.П. Платонова «Умное сердце» (2000), премия Александра Солженицына (2001), пенсия Президента РФ (с 1995 года). Почётный гражданин Курска. Е.И. Носов умер 13 июня 2002 года. Похоронен в Курске.

стр. 103 РАХИМ Гарай (Григорий Васильевич Родионов) родился 15 июля 1941 года в селе Федотовка Лениногорского района ТАССР. В 1959 году окончил среднюю школу в родной деревне. До 1962 года работал разнорабочим в колхозе. С 1962-го по 1965 год – заведующим библиотекой. В то же время в районной газете «Ильич васятыльэре» публикуется его первые стихи «Язгы ныр» («Весенние песни»). В 1967 году окончил факультет татарского языка и литературы Казанского университета. Гарай Рахим активно участвовал в литературном кружке «Аллуки», чуть позже стал его руководителем. До 1979 года работал корреспондентом газеты «Татарстан яшьлэре», редактором Таткнигоиздата, консультантом Союза писателей Татарстана, заведующим отделом прозы журнала «Казан утлары». В 1980 году окончил Высшие литературные курсы Литературного института имени А.М. Горького в Москве. В 1980–1987 годах работал старшим консультантом и секретарём совета по переводу правления Союза писателей Республики Татарстан. В 1987–1992 годах Гарай Рахим – заместитель председателя Союза писателей РТ. Творческая деятельность Гарая

Рахима многогранна: 35 книг стихотворений, прозы, детской литературы на татарском, русском, башкирском языках, пьесы и либретто для казанских театров. В 1984 году писатель удостоен Государственной премии имени Габдуллы Тукая. Гарай Рахим является составителем Антологии татарской поэзии.

стр. 94 РАЧКОВ Николай Борисович родился 23 сентября 1941 года в селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области. В 1964 году окончил историко-филологический факультет Горьковского педагогического института. Секретарь правления Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России «АЛРОСа», литературных премий им. А. Твардовского и «Ладога» им. А. Прокофьева. Он победитель 2-го Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо» в номинации «Лучшее стихотворение года», награждён главным призом «За верность теме» Всероссийского патриотического фестиваля «Мы едины – мы Россия» (2007 г.). Действительный член Петровской академии наук и искусств. Живёт в г. Тосно Ленинградской области.

стр. 219 САРЧИН Рамиль Шафкетович – поэт, автор-исполнитель, литературный критик, литературовед. Кандидат филологических наук. Член Союза российских писателей, Союза писателей Республики Татарстан, Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Редактор международной литературной сети «Общелит.ру». Член редколлегии журнала «Аргамак-Татарстан». Автор поэтических сборников «Стихотворения» (1998), «Возвращение» (2009), «Цветоповал» (2011); монографий «Поэтический мир Н.Н. Благова» (Казань, 2008), «Николай Благов» (Ульяновск, 2008), «Традиции русской поэзии в лирике Инны Лиснянской» (Казань, 2009), «Лирика Роберта Миннуллина» (Казань, 2012); сборника статей «Лики казанской поэзии» (Казань, 2013). Обладатель гранта губернатора и правительства Ульяновской области (2007), премии Объединения русскоязычных литераторов Финляндии (Хельсинки, 2011), республиканского гранта «Учитель-исследователь» (Казань, 2012). Лауреат I степени II Международного песенно-поэтического конкурса «Журавли над Россией» (номинация «Авторская песня о Родине»; Москва, 2011). Финалист Литературной премии им. О. Бешенковской Международной гильдии писателей (Германия, 2013).

стр. 3 СЕМИЧЕВ Евгений Николаевич – российский поэт, секретарь правления Союза писателей России, автор поэтических книг «Соколики русской земли», «Великий Верх», «Аргуван» и др.. Лауреат всероссийских и международных литературных премий: Большая литературная премия России, Православная литературная премия имени святого благоверного князя Александра Невского, международная премия имени Расула Гамзатова и др.. Живёт в городе Новокуйбышевск Самарской области.

стр. 187 СИВКО Любовь Юрьевна родилась 5 августа 1963 года в городе Елабуга. Имеет педагогическое образование. Преподвала в школе; в начале нулевых пришла в журналисти-

стику: работала корреспондентом газеты «КАМАЗ-Металлургия», главным редактором Службы новостей на радиостанциях «Русское радио», «Ретро FM» и «Европа плюс» (Набережные Челны). Художник, участвует в выставках с 2004 года, дипломант городского конкурса «Художник года-2013». Работы находятся в фондах картинной галереи г. Набережные Челны, в частных коллекциях России, Украины, Туркменистана, Германии. Живёт в Набережных Челнах.

стр. 168 СКИФ Владимир (Смирнов Владимир Петрович), поэт, родился в 1945 году в посёлке Куйтун Иркутской области. Автор 23 книг. Член Союза писателей России. Секретарь правления Союза писателей России. Член Приёмной коллегии Союза писателей России. Член редколлегии журнала «Подъём» (Воронеж). Заведующий отделом поэзии журнала «Сибирь». Лауреат Международных премий им. П.П. Ершова (2009), «Имперская культура» им. Э.Ф. Володина (2014), Международной премии «Югра». Лауреат Всероссийских литературных премий «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова (2013), им. Николая Клюева (2014). Лауреат премии журнала «Наш современник» (2014), премии «Российский писатель» за перевод «Слова о полку Игореве» (2014), дважды лауреат Губернаторской премии Иркутской области (2010, 2011). Живёт в Иркутске.

стр. 19 СТАНЦЕВ Венедикт Тимофеевич — русский поэт, участник Великой Отечественной войны — родился в 1922 году в деревне Родионовка Саратовской области. В 1929 его семья, в которой было трое детей, переехала в Балашов. В 1941 году окончил физико-математический факультет Балашовского учительского института. В первые же дни войны записался добровольцем на фронт. С сентября 1944 года работал в дивизионной газете. После войны служил в армейских газетах. Подполковник в отставке. Член СП СССР с 1965 года. Почётный гражданин города Балашова Саратовской области. В 2011 году Ассоциацией писателей Урала, Уральским отделением Литературного Фонда России и дочерью поэта Еленой Венедиктовной Григорьевой учреждена при поддержке администрации города Екатеринбурга Всероссийская литературная премия имени поэта-фронтовика В.Т. Станцева, вручаемая ежегодно в канун дня Победы. В 2012 году на здании Дома писателей в Екатеринбурге (ул. Пушкина, 12) торжественно открыта мемориальная доска поэта.

стр. 88 ТУХВАТУЛЛИН Рустам Рафаилович родился в 1952 году в селе Новый Кинер Арского р-на ТАССР в семье известного писателя Рафаила Тухватуллина. В 1959 году семья Тухватуллиных переехала в город Альметьевск. В 1976 году закончил радиотехнический факультет Казанского авиационного института, после чего был распределён на Альметьевский

завод «Радиоприбор», где проработал 21 год с перерывом на службу в рядах Советской армии в г. Енисейске лейтенантом-двухгодичником, обслуживал космические аппараты. На заводе работал инженером-технологом, инженером-конструктором, начальником испытательной лаборатории, заместителем главного контролёра, последние девять лет — заместителем директора по качеству. В 1997 году перешёл работать в ОАО «Татнефть» Принимал активное участие в разработках нового нефтепромышленного оборудования, является соавтором 20 патентов на изобретения. В 2013 году Рустам Тухватуллин стал лауреатом литературной премии им. Рафаила Тухватуллина. Женат, трое детей, внучка и внук.

стр. 51 УСМАНОВ Хатип Усманович родился 21 мая 1908 года в селе Сульмаш Рябовской волости Осинского уезда Пермской губернии (ныне Чернушинский район Пермского края) в семье мусульманского священнослужителя (муэдзина). Окончив русскую семилетнюю школу, поступил на рабфак Казанского университета, однако через год был отчислен по идеологическим причинам. В 1931–1935 гг. сотрудничал с татарскими газетами Москвы, Свердловска (Екатеринбурга) и Астрахани. В 1939 году окончил отделение татарского языка и литературы Казанского государственного педагогического института, после чего работал в Елабужском учительском институте, а затем был приглашён профессором Г.Ф. Линцером в качестве ассистента на кафедру западных литератур КГПИ. В конце 1930-х годов являлся научным сотрудником дома-музея М. Горького в Казани. Участник Великой Отечественной войны. В 1951 году защитил кандидатскую, в 1962 году — докторскую диссертацию. Один из организаторов кафедры татарской литературы Казанского университета. Автор литературоведческих трудов, а также лирических сборников и прозаических произведений. При его непосредственном участии были изданы рукописные тексты средневековых тюрко-татарских поэтов. С 1939 года — член татарского отделения Союза писателей СССР. Умер 12 февраля 1992 года в Казани.

стр. 99 ШАЕХ Ленар (Шаехов Ленар Миннемухитович) — татарский писатель, поэт, журналист — родился в 1982 году в деревне Такталачук Актанышского района Республики Татарстан. Окончил Мензелинский педагогический колледж, Казанский государственный университет — факультет татарской филологии и истории, аспирантуру. Автор поэтических книг на татарском языке «Этажи», «Хочется согреть этот мир!..»; для детей — «Подушка из деревни», «Как ёжик стал колючим?», «Я не лгу!» и др.. Кандидат филологических наук, лауреат Республиканской премии им. М. Джалалия, руководитель секции детской литературы Союза писателей Татарстана, главный редактор Татарского книжного издательства.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОБЕДА-70**ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ**

ЛИТЕРНЫЙ ЭШЕЛОН 3

ПЁТР МУРАТОВ

ПРО ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ..... 4

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ**ДАРЬЯ ТУРЦЕВА**

ПЯТЬ ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТСТВА..... 8

ВАСИЛЯ ШИРШОВА

НЕРАВНОДУШНЫЕ К ИСТОРИИ 11

ИРИНА СЕРГЕЕВА

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» ТАТАРСТАНА 13

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ**ВЕНЕДИКТ СТАНЦЕВ**

АПРЕЛЬСКАЯ БАЛЛАДА 19

ЕВГЕНИЙ НОСОВ

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 23

ХАТИП УСМАНОВ

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ 51

ВИКТОР ЛАВРОВ

ПАРНИ ИЗ 100-Й СВИРСКОЙ 63

ДА БУДУТ СВЯТЫ ВАШИ ИМЕНА**НИКОЛАЙ МАТВЕЕВ**

ШЁЛ ОТЕЦ..... 82

РУСТАМ ТУХВАТУЛЛИН

ПОСЛЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ..... 88

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ**АЛЕКСАНДР КЕРДАН**

ПОЕДИНОК 91

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

ПО РУССКИМ ТРОПАМ 94

ЛЕНАР ШАЕХ

У НАШИХ ДУШ ПОХОЖИ ГОЛОСА..... 99

ГАРАЙ РАХИМ

ДНИ СКЛОНЯЮТСЯ К ВЕСНЕ 103

РОВЕСНИКИ ПОБЕДЫ**НИКОЛАЙ АЛЕШКОВ**

ГОД РОЖДЕНИЯ 154

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ

МЕДЛЕННЫЕ ПТИЦЫ 161

ВЛАДИМИР СКИФ

ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 168

ДЕТИ ВОЙНЫ**ЛЮДМИЛА МУРАТОВА**

ИСПОВЕДЬ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 173

ПОИСК**ЛЮБОВЬ СИВКО**

ДОЛИНА ПАМЯТИ187

ПИСАТЕЛИ В ЭВАКУАЦИИ**АНДРЕЙ ИВАНОВ**

ЕСЛИ БЫ НЕ ЕЛАБУГА...191

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ**АНАТОЛИЙ БОГДАНОВИЧ**

СВЯТОЕ МИЛОСЕРДИЕ ЛЮБВИ.....199

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ**АННА АКЧУРИНА**

ТЯЖЕСТЬ КРЕСТА.....205

ПОЭТЫ УХОДЯТ – СТИХИ ОСТАЮТСЯ**СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ**

В МУЗЕЕ КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВА ПРОШЛИ МУСТАФИНСКИЕ ЧТЕНИЯ209

АЛЕКСАНДР ВОРОНИН

ТРИ ПЛЮС ТРИ – КАК ДВАЖДЫ ДВА210

РАМИЛЬ САРЧИН

БУКОВКА ЗА БУКОВКОЙ219

ВИЛЬ МУСТАФИН

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ОТЧИЗНЫ223

ДЕБЮТ В АРГАМАКЕ**ВАЛЕНТИНА ЗИКЕЕВА, СВЕТЛАНА ГРУНИС, НАТАН СОЛОДУХО,****ЛЮДМИЛА УФИМЦЕВА, СВЕТЛАНА МИНГАЗОВА, НАИЛЬ СИРАЗЕТДИНОВ,****ТАТЬЯНА СУШЕНЦОВА, АНДРЕЙ ГОРИЗОНТОВ**

ВНУТРИ СЕБЯ ГАРМОНИЮ ТАЯ230

КНИГИ НАШИХ ДРУЗЕЙ**ИРИНА КАЛУС**

ДИАНА КАН: ЛЕТАТЬ ВЫСОКО.240

ЕВГЕНИЙ ЭРАСТОВ

ВЕТЛУЖСКИЙ МАГНИТ.....243

АЛЬФИЯ ГАЛИМУЛЛИНА.

РОМАН О ЛЮБВИ244

БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ СЕРЁЖЕНЬКА247

НЕБО БЫЛО ЕЁ ЛЮБОВЬЮ

СЛОВО ПРОЩАНИЯ249

НАШИ АВТОРЫ

НАШИ АВТОРЫ.....250

ВТОРАЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ: ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ.**ФОТОВЕРНИСАЖ НИКОЛАЯ ТУГАНОВА.****ПЕРВАЯ ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА: ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ.****ФОТОВЕРНИСАЖ НИКОЛАЯ ТУГАНОВА.****ВТОРАЯ ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА: ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ... ХУДОЖНИК ВИКТОР ПОПКОВ****ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ: ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ... ХУДОЖНИК ВИКТОР ПОПКОВ**

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Аргамак

ТАТАРСТАН

Выходит ежеквартально
(1 раз в 3 месяца)

Учредитель

ОАО «Татмедиа»

420016, г. Казань, ул. Декабристов,
д. 2. Тел.: (8-843) 222-09-84



Адрес редакции:

423812, г. Набережные Челны,
Московский проспект, 95, офис 253, 254;
тел. (8-8552) 58-13-71.

Издатель:

**Татарстанское отделение
Союза российских писателей**

423812, г. Набережные Челны,
Московский проспект, 95, офис 253, 254;
тел. (8-8552) 58-13-71.

Представительство в Москве:

8-966-380-04-00

Ларина Ксения Владимировна

Подписано в печать 16.05.2015 г.

Формат 70x100^{1/16};

Печать офсетная. Бумага ВХИ.

Усл. печ. л. 18,15 . Тираж 2000 экз.

Заказ О-1404

Цена свободная

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета
в типографии филиала
ОАО «ТАТМЕДИА»
«ПИК «Идел-Пресс»

420066, Казань, ул. Декабристов, 2

Следующий номер журнала
«Аргамак. Татарстан» выйдет
в марте 2016 года.

Со всеми номерами литературного журнала «Аргамак. Татарстан» можно познакомиться на сайте Татарстанского отделения Союза российских писателей www.srpkn.ru.

Рукописи принимаются по адресу:
**423809, Татарстан, г. Набережные Челны,
а/я 126** или e-mail: anp45@mail.ru. Желателен диск с набором, фотография, краткая биографическая справка.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Читательские письма и предложения могут быть опубликованы в альманахе. Ответственность за достоверность информации несут авторы материалов. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аргамак. Татарстан» обязательна.

Для приобретения номера и размещения рекламы социальной направленности обращайтесь: e-mail: anp45@mail.ru, тел.: (8-8552) 58-13-71; 8-927-241-01-19.



В. Попков. Шинель отца. 1970–1972. Холст, масло. 178 x 119

